
**НОВЫЙ
ЖУРНАЛ**

XVIII

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW

Под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XVIII

6-й год издания

НЬЮ-ИОРК

1 9 4 8

О Г Л А В Л Е Н И Е :

А. Н. Толстой. — Никита Шубин	5
Г. Газданов. —Призрак Александра Вольфа	29
Н. Яблоновская. —Кролик Сивэ	70
В. Яновский. — Американский опыт	86

С Т И Х И :

М. Ильина, Г. Кузнецовой, Г. Струве, Е. Шуваловой, С. Яблоновского, Г. Яковлева	142
--	-----

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ :

М. Карпович. — Разрушение иллюзий	149
А. Зак. — Возможна ли депрессия в Соединенных Штатах?..	163

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО :

В. Вейдле. — Последняя любовь Тютчева	181
Н. Авьерино. — Из воспоминаний о С. В. Рахманинове.....	201

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ :

Б. Николаевский. — Пораженческое движение 1941-1945 голов и ген. А. А. Власов	209
М. Коряков. — Вне закона	235
Ю. Марголин. — История одного разочарования. (Советизация Западной Белоруссии)	253
Н. Арсеньев. — Потемкин-Таврический	266
В. Оболенский. — Под итальянской оккупацией	276
Б. И. В. — Граница зла	289
В. Зензинов. — Памяти И. И. Фондаминского-Бунакова	299
Г. Федотов. — И. И. Фондаминский в эмиграции	317

БИБЛИОГРАФИЯ :

Г. Аронсон. — «Парижский Вестник»	330
Г. Струве. — «Русская литература» И. Тхоржевского	342
М. Вишняк. — Книга И. Шехтмана о трансферах населения	346
И. Тимашев. — "Soviet Russia Since the War" by Hewlett Johnson	349

Продолжение «Коня рыжего» Р. Гуля будет напечатано в следующей книге «Нового Журнала».

НИКИТА ШУБИН*)

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

У меня есть сын, его тоже зовут Никита, ему четыре года, у него льняные волосы и темные глаза, и он бы совсем походил на рафаэлевского ангела, если бы не пристрастие рисовать карандашом на стенах. Тем не менее, он правдив, смел, проныцателен и необыкновенно тверд духом.

Когда я задумал писать эту историю, я купил стопу бумаги и пол-литра чернил; Никита, увидав на столе такое большое количество писчей бумаги и чернил, спросил меня — что я намерен с ними делать? Я ответил, что думаю написать историю одного русского мальчика. Тогда Никита с необыкновенной твердостью духа взглянул на меня и сказал:

— Послушайте, послушайте (у него есть привычка по два раза повторять некоторые слова), это же, в самом деле, глупо, — вы мне не позволяете рисовать на стенах, а сами хотите испортить столько хорошей бумаги. Отдайте мне бумагу, а сами пишите, пишите, пишите коротенькую историю.

ПРОЛОГ

В просторной, светлой комнате у письменного стола сидел человек в очках и с бородой, расчесанной на две стороны. Ногтем мизинца он старательно отбирал на лежащем перед ним листе бумаги зерна пшеницы от зернышек сорных трав.

*) Настоящий рассказ покойного писателя был написан им в эмиграции, до возвращения в Россию. Насколько мы знаем, в печати он до сих пор не появлялся. Рукопись, полученная нами из Англии, напечатана на машинке, но в ней есть собственноручные поправки автора и подпись «Гр. Алексей Н. Толстой». Ред.

Глаз его был сощурен, потому что в углу рта его торчал камышевый мундштук с дымящейся, толстой папиросой.

Второй человек, очень маленького роста, лежал на животе на полу и глядел под буфетный шкаф. А из под буфетного шкафа глядело на него, в свою очередь, блестящими, черными глазками поросячье рыльцо старого, умного ежа. Человек у стола сказал, не оборачиваясь:

— Привяжи на нитку кусочек сала, положи ему под нос и потихоньку тяни, — он вылезет.

— Я лучше привяжу кусочек сахару. — ответил мальчик. Мальчик этот, лежавший на полу, был никто иной, как Никита Шубин; бородатый человек, сидевший у стола, — его отец, Алексей Алексеевич Шубин, а еж под шкафом был диким и упрямым животным, не желавшим, ни под каким видом, вылезать из под буфетного шкафа, иначе, как ночью, когда он, стуча ногтями, бегал по комнатам и фыркал свинячьим носом в мышиные норы.

Никита привязал на нитку кусочек сахара, затем, по настоянию отца, привязал кусочек сала, но еж с презрением смотрел на эти уловки. Он так и не вылез из под буфета.

Он не вылез ни на следующий, ни еще через день. На усадьбе Сосновка, в старом доме, стоявшем среди густо разросшегося сада, кроме неприятности с ежом — ничего особенного не случилось за все лето. В саду свистали зеленые иволги, пересмешничали скворцы, по утрам в осыпанных росой листьях медвяным голосом ворковал дикий голубь, на вечерней заре в пруду под плакучими ивами плескалась рыба и так охали, ухали и стонали лягушки, что казалось, будто в пруду случилось большое горе.

И горе, действительно, случилось, но не с обитателями пруда, а с Никитой: осенью отец объявил ему, что переезжает в Москву, в дом к тетке, к той самой тетке, которая ходит в мужской шляпе и не дает никому спуску. Никита будет отдан в школу, потому что ему уже девять лет и пора подумать о более серьезных вещах, чем ежи и лягушки.

Прости, прости счастливое детство!

БОЛЬШИЕ НЕПРИЯТНОСТИ

Я не стану упоминать о всех неприятностях, которыми, отныне, была полна жизнь Никиты Шубина, — упомяну лишь о существенных. Тетка, не дававшая никому спуска, Варвара Ивановна, заставляла Никиту мыться, ежедневно, с ног до головы, стричь ногти, чистить платье, целый час молча сидеть за завтраком и целый час молча сидеть за обедом. Кроме того, за окнами лил мелкий дождь, гроыхали телеги и брызгали грязью экипажи с поднятыми верхами. В доме было чисто, пустынно и темновато, и в любом месте, в любой час, появлялась тетушка и не давала спуску. Никита учил арифметику, географию, историю, Закон Божий, два заграничных языка и русскую грамматику. А русская грамматика была замечательна тем, что в ней все состояло из исключений, все глаголы были неправильные, а спряжения, наклонения, рода и виды этих сумасшедших глаголов закручивались в такую темную пучину, что в ней с головой тонула даже тетушка, когда к ней обращались за помощью.

Никите было запрещено свистать в согнутый палец, стрелять из стеклянной трубочки жеванной бумагой в старого тетушкиного кота, который, при этом, лежа на своем месте на диване, мигал ушами; запрещено было приносить с улицы всевозможных животных, запрещено с разбега кататься на подошвах по паркету залы, — словом, под давлением всех неприятностей Никита начал было обдумывать план побега из дома и соединения с одним из кочующих племен. Но этому плану помешала революция.

РЕВОЛЮЦИЯ

Революция началась в тот день, когда за завтраком была подана вареная свинина, которую не брал ножик. Вместо сладкого подали такую необыкновенную, без сахара, рисовую кашу, что ее нельзя было стащить с ложки, а, когда ее спихивали вилкой, то она прилипла и к вилке. Тетушка сказала отцу:

«Вот, Алексей, можешь радоваться на твою революцию, кушай на здоровье это собачье месиво».

Тетушка поднялась, затрясла подбородком, взглянула в упор лакею Петру в лоб, смерила взглядом все его два аршина, двенадцать вершков роста, после чего Петр должен был, как понимал это Никита, — уменьшиться, сморщиться и, к удивлению и радости всех домашних, расплыться жирным пятном на паркете, но этого не случилось, и Петр даже, как-то, сам собою, подмигнул одним глазом, у тетушки задрожали лиловые губы и она выплыла из комнаты. Отец остался сидеть у стола, захватывая горстью бороду и кусая ее, — глаза его радостно блестели.

Следующим шагом революции было появление в городе необыкновенного количества мальчишек, которые пронзительно свистали в согнутый палец. Когда взрослые огромными толпами с флагами и надписями двигались посреди улиц, мальчишки эти, чтобы увеличить общий беспорядок, залезали на крыши и фонари, свистели оттуда и всем кричали «долой». Когда же взрослые начали, днем и ночью, разговаривать, собираясь кучами на перекрестках и под памятниками, мальчишкам запрещено было свистать, — их щелкали по затылкам и вытаскивали за уши из толпы, но зато им никто уже не мог запрещать висеть сзади на трамваях, прицепляться к автомобилям и извозчикам, лазить на все башни и колокольни, по тридцати штук сиживать верхом на пушках в Кремле и купаться прямо с набережных в Москва-реке. От этой непрерывной деятельности мальчишки за лето пообносились и одичали. Тетушка уже более не пыталась не давать Никите спуска, она только говорила, что все записывает в своем сердце и за все сразу, когда придет время, даст спуск. Отец носил бороду теперь прямо, клином наперед, приезжал домой худой и веселый, и шумно разговаривал.

Но всему бывает конец. Осенью взрослые, выяснив в разговорах на перекрестках все вопросы, начали — одни стрелять из винтовок вдоль улиц, другие — заваливать окна в домах тюфяками и книгами. Мальчишки, по причине изношенной

одежды и худых башмаков, тоже попрятались по домам, — было холодно.

Вот тут-то тетушка от всего записанного у нее в сердце и сказала отцу: «Ты не слушал, Алексей, меня во-время, — теперь — поди, кусай себе локоть». Никита пошел за отцом посмотреть, как он будет кусать локоть, но отец, вместо этого, намылил себе щеки и сбрил бороду. Это было самое страшное, что видел Никита за все время революции: у отца оказались несерьезные, большие губы и крошечный подбородок; относиться по-прежнему к этому человеку было невозможно, — что-бы он ни говорил — губы его сами собой усмехались, как у мальчика, которого поймали врасплох. С этого дня между Никитой и отцом установились более взрослые отношения: отец точно стал моложе, Никита — постарше. На следующий вечер отец и Никита на извозчике поехали на вокзал. На коленях у отца лежал маленький чемодан, — все их имущество. Так они бежали из Москвы на юг.

НОВЫЙ ДРУГ

Ехать было не совсем удобно, но весело. В купе вагона, кроме отца, сидело еще пятнадцать бородатых мужиков с винтовками, — возвращались они с фронта по домам. У одного, рыжего, имелся даже небольшой пулемет, и он, не спуская, держал его на коленях.

— Я его на огороде поставлю, — говорил рыжий, — я эту штуку давно собирался завести.

Никита помещался наверху в сетке из под чемоданов. Мужики кормили его солдатскими сухарями; один, всю дорогу певший тонким голосом одну и ту же песню: «Ночка темная, боюсь, — проводи меня, Маруся», — до того зажалел Никиту наверху в сетке, что подарил ему ручную гранату: — С ней нужно аккуратно обращаться, не дай Господи, лопнет, ничего от тебя, мальчуган, не останется.

— Ты его не слушай, — говорил другой солдат, лысый, с бородой по пояс, — он тебя добру не научит. Поедем-ка,

лучше, ко мне, я тебя на пчельник пристрою, мне грамотный мальчишка страсть как нужен.

Дорога была долгая; в вагоне духота, ни лечь, ни пройти. Мужики притомились, стали друг к другу придирааться. Рыжего с пулеметом выбили из купе, потому что занимал много места. Алексей Алексеевич сидел все время молча, у окна; мужики, наконец, обратили на него внимание, — стали добиваться, кто он такой, может быть он — переодетый? И к удивлению Никиты, Алексей Алексеевич сказал им, поджав губы, что они с сыном едут на Кавказ, на усмирение, поэтому их по закону невозможно даже пальцем тронуть.

В конце пути в вагоне стало попросторнее, можно было выходить в коридор и там-то Никита и встретил будущего своего друга Ваську Тыркина.

Этот замечательный мальчик, лет четырнадцати, спал в коридоре, прямо на полу, засунув голову в жестяное ведро, очевидно, для того, чтобы проходящие не наступали ему на щеки.

Он был одет в солдатскую шинель, с подвернутыми рукавами, и весь, — крест на крест и поперек туловища, — обмотан пулеметными лентами. К поясу его были привязаны шесть ручных гранат, обмотанных тряпками, под рукою лежала винтовка с примкнутым штыком. Кроме того, на нем были огромные рваные сапоги и шпоры на цепочках.

Никита с уважением разглядывал столь сильно вооруженного мальчика. Он не удержался и потрогал колесики на шпорах. Тогда мальчик вытащил голову из ведра, взялся за гранаты, поддерживая их с громом и звоном, сел на полу, зевнул, сплюнул и сказал Никите лениво:

— Вот, я тебя вышвырну в окошко, — будешь на меня пялиться.

После этого он полез в карман за табаком, но табаку не нашел, сдвинул папаху на затылок и опять поднял курносый нос на Никиту, — прищурил рыжие глазки:

— Угости папирасой.

— У меня только шеколад с собой, — сказал Никита,

сильно краснея от того, что из за этого шеколада вооруженный мальчик будет его презирать всю жизнь. Но мальчик, не презирая, взял шоколадную плитку и необыкновенно быстро ее съел.

— Знаешь, кто я такой? — спросил он как можно более хрипло, — вот то-то, что не знаешь, а съешься со мной разговаривать. Я Василий Тыркин, из ударного батальона. Слышал?

— Еще бы, — поспешно ответил Никита.

— Дай-ка мне другую плитку, — сказал Василий Тыркин, — этот самый шоколад у нас в батальоне мы нипочём считали.

— А где теперь ваш батальон?

— Наш батальон погиб геройской смертью в Москве, в бою на Никитской площади. Я один ушел. Ну, уж зато, сколько я этого народу переколотил, — ужасно подумать. Гляди — у меня вся шинель дырявая, ты сунь палец в дыру, — это все пули, штыковые удары.

— А что же вы теперь станете делать?

— Тебя это не касается, что я стану делать. Я сейчас план обдумую. Я, вот, погляжу, погляжу, — соберу молодых человек пятнадцать, да и возьмем с боем город какой-нибудь. Какие у нас города на пути?

— Скоро Лозовая будет.

— Лозовая, так Лозовая... Хочешь ко мне под начало? Бить я тебя не стану, но строгости будут большие.

Мурашки пошли у Никиты по спине. Проглотив слюну, с видимой бодростью, он согласился идти под начало. Но Василий Тыркин, покончив с третьей плиткой, раздумал брать Лозовую:

— Одна беда, — возни потом полон рот: республику надо объявлять, властей ставить на места, а я этого не люблю, — я человек военный.

У Никиты отлегло от сердца: предприятие — брать с боем Лозовую — миновало, — военное счастье ненадежно и переменчиво. Повертевшись еще некоторое время около Василия Тыркина, он пробрался в купе к отцу и сидел тихо. Но скоро послышался гром и звон оружия, в купе вошел Василий Тыр-

кин, сел рядом с Никитой и спросил:

— А ты сам то куда едешь?

— Мы с папой едем на Кавказ.

— Ну, в таком случае, и я с вами на Кавказ поеду. Мне все равно деваться некуда. И вам спокойнее будет с военным человеком и мне спокойнее. Дай-ка еще шоколаду. Я, признаться тебе, третий день еще не ел. Это кто же, — твой отец сидит? А у меня, братец, ни отца, ни матери, царство им небесное.

С этого дня Василий Тыркин, вместе со своими бомбами, пулеметными лентами, шпорами и винтовкой, более не отставал от Шубиных, и к Никите относился хотя с некоторым презрением, но дружески, даже горячо.

На двадцатые сутки все трое приехали в город N., где Алексей Алексеевич взял лошадей и отправился вместе с мальчиками в горы, в имение одного из своих друзей, называвшееся — «Кизилы».

СТРАШНОЕ МЕСТО

Имение было необитаемое. Дом прошлым летом сожгли местные разбойники. Сторож, — одна живая душа в «Кизилах», — старичек, вывезенный из Тульской губернии, по фамилии Заверткин, до того боялся этих разбойников, что, когда на дороге показывались какие нибудь всадники, он выходил на порог сакли, снимал шапку и низко кланялся, говоря:

— Счастливый путь, красавцы. Дай Господи вам удачи, добрые люди . . .

Завидев подъезжающих Алексея Алексеевича с мальчиками, Заверткин точно так же вышел кланяться; когда же из арбы вылез Василий Тыркин, громыхая оружием, старичек совсем испугался и начал креститься, но его успокоили, и он с удовольствием принялся хлопотать, устраивая приезжих. Алексей Алексеевич и мальчики поместились в низкой, белой сакле, с земляным полом и с маленькими в толстых стенах окошечками. Заверткин принес сена и сухих листьев и устроил три постели на полу. Привезенную из города провизию

сложили в небольшой клетки при сакле. В закопченном, большом очаге разожгли сухие ветви, повесили чайник под огнем, на шипящую сковородку выпустили яйца, поджарили колбасу, — и ужин на низком, досчатом столе, при свете свечки, воткнутой в бутылку, был неописуемо вкусен и сладок. Василий Тыркин, наевшись, разоружился, даже снял шинель. Никита с отцом вышли посидеть на бревне, лежавшем за порогом сакли. Ночной воздух был влажен и мягок. Внизу сонно шумел поток. Никите тоже хотелось спать, но, преодолевая себя, он таращил глаза на большие звезды, переливающиеся чистым светом над смутным очертанием гор.

Заверткин, присев у бревна на пятки, посапывал в трубке пахучей махорочкой и рассказывал про свое житье-бытье в «Кизилах».

— Живому человеку здесь жить невозможно, — говорил он деликатным голосом, — столько горя наберешься, слез одних прольешь, — и-и-и, батюшка Алексей Алексеевич. Первое дело — медведи, — кровожадные, кругом бегают, лес ломают, ни страха у них, ни чего, так и смотрят — кого задрать. Второй ужас — шакалы. Слышите, как он заливается? . .

Никита прислушался, — действительно, в тишине, далеко в лесу, тьякал кто-то, подвывал, начинал рыдать сдавленным воплем. Никита поджал ноги и прижался к отцу.

— Так он и заладит вечить, скулить на всю ночь, — продолжал Заверткин, — а что ему надо, о чем тоскует? — видно — так Господь его сотворил уродом . . . Третье дело — змея, желтобрух, ужасная — длинная, — сколько я от них бегал. У нас в Тульской губернии — змейка маленькая. аккуратная, а этот, злодей, сам из пещеры на баранов кидается . . . Отвратительная здесь природа . . . Одно, — пчела хорошо водится и в потоке рыбы, — хоть руками лови . . . И еще забота — разбойники очень одолевают. Это, ведь, самое воровское место — Кавказ. Пятнадцать лет здесь живу — не могу привыкнуть. Нет, это место страшное, здесь жить нельзя . .

Звезды, на которые смотрел Никита, становились все больше над горой, все пушистее, и, вдруг, погасли. Чей-то

родной голос проговорил над ухом: «Э, братец мой, да ты спишь». Чьи-то руки взяли и понесли, и положили на что-то удивительно мягкое, пахнущее листьями. Потом это мягкое провалилось... Потом из очага вылез медведь, сел за стол, подпер лапой щеку и сказал: «Да, братец мой, это место страшное».

ЯШКА

Никита проснулся от голосов на дворе. Сакля была пуста. В синем пролете двери, где летали мухи, стоял низкорослый козел с бородой до земли и глядел на Никиту белыми, стеклянными глазами. Когда Никита протянул руку и сказал: «бьяшка» — козел яростно топнул. Никита бросил в него подушкой — козел исчез.

Утро было тихое и теплое. Василий Тыркин мастерил сачек из своей рубашки, которую надевать было уже бесполезно, но для рыбной ловли она годилась, как нельзя лучше. Заверткин колот чурки, — растапливал помятый самоварчик.

— Я уж как просил разбойников, — говорил он Алексей Алексеевичу, сидевшему с папироской на бревне, на солнышке, — все берите, грабьте, благодетели, самовар мой не грабьте. Атаман мне говорит, — счастье твое, старый чорт, что на хороших людей напал, революция не нуждается в твоём самоваре, — и пхнул в него ножкой. Вот самоварчик с тех пор и течет.

Никита сел рядом с отцом. Горы, казавшиеся вчера ночью далекими и огромными, были совсем близко и не так высоки. Зеленая лужайка неподалеку от сакли круто падала вниз, и там, в тумане, шумел, громыхал камнями поток и неясными очертаниями проступали деревья, с еще не совсем облетевшей листвой. Направо, на холме, среди куч мусора торчали обгоревшие столбы. Налево, из за угла сакли, высывалась рогатая голова козла, и он опять уставился загадочными глазами на Никиту.

— Сказать трудно — сколько я от него горя хлебнул, — сказал Заверткин, кивнув на козла, — и бил я его и в лес

водил, чтобы его там звери задрали, — он все свое: только и думает — кого ему забодать. Яшка, Яшка, поди сюда, — позвал Заверткин. Козел подошел. — Видите, как он на мальчика смотрит. Ему, значит, интересно — напугать, с ног сбить. Когда у нас разбойники были, он так на атамана накинудся, — тот от него кругом сакли без памяти бегал. Ну, пошел, пошел, Яшка! . .

После чая Алексей Алексеевич ушел за двенадцать верст в город — «выяснить, — как он сказал Никите, — политическую обстановку», а мальчики отправились ловить пеструшку.

К потоку нужно было спускаться по крутым скалам. Внизу, в ущельи, пахло прелыми листьями, было сумеречно, повсюду вились сгнившие и зеленые ползучие растения. Шумно, между мшистых камней крутилась, прыгала, брызгала пеной темная вода, стекала со скал ручейками.

Мальчики пробрались по скользким камням до середины потока. Василий Тыркин, сказал: «Господи благослови», начал заводить сачек, и на третьем заводе попалась фунтовая, перламутрово-голубая пеструшка. Тыркин крикнул: «есть!», а сзади Никиты кто-то сейчас же ответил: «бо». Никита быстро обернулся. На камне за его спиной стоял козел. И как только Никита обернулся, Яшка ударил его в спину рогами. Никита полетел в сильно несущуюся воду. Но поток был мелок. Никиту протащило по каменистому дну, и сейчас же он схватился за камень, вылез и, отплеываясь, стал искать булыжник, чтобы запустить в козла.

Но Яшка уже успел за это время вскарабкаться наверх, на скалы и глядел оттуда белыми глазами.

Рыбную ловлю пришлось оставить. Мальчики пошли домой и в сакле перед зажженным очагом развесили никитину одежду. Заверткин же, в это время, привязав Яшку на веревку, бил его хворостиной, приговаривая: «Будешь бодаться, будешь у меня бодаться, иродова образина!» Козел молчал.

З И М А

Теплые дни стояли с неделю, потом подул резкий ветер, сорвал вялые листья с деревьев, потемнели голые леса, и мрачный шум их заглушал ворчание потока. По вершинам гор клубились серые облака, ветер срывал их, но набирались новые, цеплялись за лесистые склоны, и, наконец, заволокли все небо. Выпала крупа, потом шли дожди со снегом. Почти весь день приходилось сидеть в сакле. Василий Тыркин вырезывал деревянные ложки, — этому его научили в ударном батальоне, — и рассказывал Никите про свои военные подвиги. Алексей Алексеевич задавал Никите, — чтобы он не отбивался от учения, — арифметические задачи и длинные колонки скучнейших французских и немецких слов. Сам-же он почти ежедневно ездил на кривом, купленном за большие деньги, мерине, «Ветерке», в город на заседания «Комитета восстановления государственного порядка». Ложились спать, обычно, рано; вставали с восходом солнца. В сакле было хорошо и тепло, покуда горел очаг, завелись даже сверчки и мыши, но за ночь сильно выдувало.

Однажды, на рассвете, Никита проснулся от холода. На столе горела свеча. Отец, уже одетый, сидел на корточках перед очагом и дул под кучу хвороста в угли. Никите стало очень жалко отца, сидящего на корточках, и он сказал, чтобы сказать что-нибудь:

— Папочка, очень холодно.

— А вот, я сейчас огонь раздую, — ответил отец негромко, поднялся, взял свечу и вышел в сенцы, и оттуда уже громко проговорил:

— Никита, снегу-то сколько выпало за ночь!

Никита накинул пальто и побежал в сенцы. В раскрытую дверь была видна поляна, покрытая белым, чуть голубоватым снегом. Рассвет едва брезжил. Пахло чистым и острым холодком. За горами в мутном небе проступали кораллово-красные полосы зари. Отец обнял Никиту за плечи, притянул к себе и сказал странным голосом:

— А что у нас теперь в Москве-то делается, а?

Этот снег держался долго, хотя дни были мягкие, с чуть задернутым мглою солнцем. Никита хотел было наладить салазки — кататься с гор, но Василий Тыркин сказал, — «время, парень, не такое, чтобы баловаться, а ты смотри, как бы себя пропитать», смастерил Никите трещетку, и мальчики каждый день стали ходить в лес в поисках за зверем, — какой попадется.

Однажды они забрели довольно далеко и шли по обеим сторонам неглубокого оврага, где по расчетам должен был лежать медведь. Василий Тыркин посвистывал иногда саженьх в ста по той стороне оврага. Никита шел с опаской, прислушивался, приглядывался. Лес был пустынен и тих, только падали хлопья снега с задетых на ходу ветвей.

Вдруг, неподалеку, в овраге послышался хруст дерева. Никита остановился и ясно услышал, как кто-то ломает сухую ветку. У него похолодело под сердцем, но, вспомнив военный завет Василия Тыркина: «забоялся — завизжи что ни на есть страшнее, визжать нельзя — зубами заскрипи что есть мочи, — страх рукой снимет», — он сжал зубы, что ни на есть, и осторожно, придерживаясь за ветви, полез в овраг на разведку.

Через несколько шагов он заметил чьи-то следы, обогнул снежный куст и сейчас же увидел трех людей, сидевших с поджатыми ногами на снегу, вокруг кучи хвороста, приготовленного для костра; все трое были в папахах и бурках, усатые и черные, и мрачно глядели на кучу хвороста. Так продолжалось с минуту, но вот ближайший медленно стал поворачивать голову и вдруг впился в Никиту черными, круглыми глазами, и сейчас же вскочил на ноги, выхватил из под бурки кинжал. Вскочили и его товарищи, вытащили кинжалы. Затем, тот, кто вскочил первым, подошел к Никите, взял его, как филин, жесткими пальцами за руки и дернул вниз, поставив около костра.

— Ты кто такой? Ты зачем здесь? — спросил он хриплым, отрывистым голосом. Его товарищ схватил Никиту за под-

бородок и сказал: «Ва!» Другой щелкнул, очень больно, Никиту в нос и сказал: «Ха, ха!»

— Пожалуйста, не щелкайте меня, — проговорил Никита, неожиданно, шопотом, и, поняв, что это — с перепугу, и что он выказывает себя трусом, он изо всей силы рванул руку и ударил в живот того, кто сказал — ха-ха. Человек этот подскочил, хлопнул в ладоши и сел на корточки, осклабленная рожа его была, как медная, с желтыми белками выпученных глаз.

— Я вас не трогаю и вы не смейте меня трогать, а то, смотрите, мы с вами расправимся, — насупившись, приборотал Никита. Тогда первый опять взял его за руку и прохрипел:

— Спички у тебя есть?

Никита подал ему коробку спичек. Все трое закричали: «Га! Ва! Ха-ха!» — и подожгли костер, повалил белый дым, затрещали сучья. Тогда Никита сказал, что ему нужно идти. Ему на это ответили:

— Мы тебе шашлык дадим, мы тебе руки свяжем, уведем в горы. За тебя нам денег дадут.

— Вы разбойники? — спросил Никита, кусая ноготь.

— Кто, — мы? Да, мы разбойники. Мы дома жжем, людей режем, деньги, платье себе берем. Мы — джигиты.

Разбойники опять вынули кинжалы и каждый начал резать мелкими кусками кусок мяса, вытасченный из под бурки, насаживать кусочки на хворостинку.

Бах! — Вдруг раскатился по лесу выстрел. Разбойники, как на пружинах, вскочили, оглядываясь, ощерясь. — Бах! Бах! Бах! — Один за другим хлестнули и прокатились три выстрела. Никита увидел шагах в пятидесяти Василия Тыркина, стрелявшего с колена по разбойникам. Никита сейчас же бросился в гору и лег за куст. — Бах! Бах! — Затем, все стихло. Только вдалеке трещали сучья, — улепетывали разбойники. И через минуту послышался тревожный голос Василия Тыркина:

— Никита, а Никита? Куда ты провалился?

— Здесь я, — ответил Никита, размазывая ладонью вдруг полившие слезы.

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

В феврале опять подул ветер, хлынули дожди, вздулся и сердито заревел поток, и уже по весеннему зашумели влажные леса. А когда проглянуло солнце, полезли из под прелой листвы зеленые тычки трав, и лиловыми цветами запылали жесткие кусты рододендрона. На коньке сакли свистнул протяжно скворец и, задирая к солнцу черную головку, залился на разные, чудесные голоса. Заверткин стал выносить колоды с пчелами, — ставил их на деревья. На север через эти места полетели из-за моря птицы. Но радость весны прервалась неожиданным событием. Однажды, ночью все в сакле проснулись от грохота, похожего на гром издалека. Шум этот всем теперь был хорошо знаком: это стреляли пушки. Василий Тыркин нацепил две гранаты на пояс под шинель и, озабоченно пошмыгивая, ушел на разведку. Алексей Алексеевич то выходил из сакли и слушал порывистые раскаты канонады, то присаживался к столу и хрустел пальцами. Никита сидел на полу, на тюфяке, — у него ослабели ноги и было тоскливо. Заверткин тыркался без толку по хозяйству.

В конце дня шум пушек стал затихать, и опять запел нежным голосом скворец на коньке сакли. Явился, наконец, Василий Тыркин с исцарапанной щекой, бросил картуз на пол и сказал:

— Наши все пропали.

Алексей Алексеевич опустил на табуретку у стола и закрыл лицо руками. Потом он подозвал Никиту, поставил его между колен и, глядя серьезно и грустно ему в лицо, сказал:

— Нам нужно бежать, Никитушка.

— Куда?

— Не знаю. Подумаю.

Он отстранил Никиту, подошел к двери и, прислонившись, после долгого молчания, сказал:

— Вот, нам уже и нет больше места на родине.

Весь этот вечер Алексей Алексеевич и Василий Тыркин совещались у стола при свечке. Было решено пробраться в Гагры, — на мерина навьючить багаж, самим же идти пешком. Отъезд назначили на послезавтра. Рано утром Никита проснулся от тоски, будто червяк сосал ему под сердцем. Отец просматривал и бросал в огонь какие то письма:

— Поди в лес и нарежь побольше хворостин, — сказал он, — нам нужно сплести корзины для вьюка.

На дворе Василий Тыркин уже мастерил вьюк: — Ты добеги до оврага, где мы в шакала стреляли, — сказал он Никите, — там хворостины хороши. Никита пошел в лес. Утро было теплое, в низких местах еще стоял туман. Нежно зеленели деревья, на иных коричневой смолой набухали почки. В лесу было весело от свиста птиц; трещали, летали между ветвей сивоворонки. Запахом весеннего сока был насыщен влажный воздух. Нельзя было понять, почему на родине нет больше места жить.

В шакальем овраге, заросшем орешником, Никита услышал такой треск и густое сопение, что сейчас же счел за нужное влезть на дерево. Было похоже, будто по кустам изо всей силы таскают какую-то тушу. С дерева было видно, как гнулся и валился во все стороны орешник. И, наконец, Никита увидел животное, ростом с человека, покрытое драной, серой, в клочках шерстью. Оно ехало на заду, забирая под себя что попало передними лапами, терлось боками, валялось и, недовольно поревывая, поматывало широколобой мордой, раззевало маленький, свинячий рот. Это был только-что поднявшийся из берлоги медведь, — он линял и выкидывал пробку.

Никита сунул в рот согнутый палец и свистнул что было мочи. Медведь ахнул по человечьи и тотчас косматым шаром выкатился из орешника. Когда вдалеке затих треск, Никита прыгнул на землю и принялся резать орешины, драть с них легко сходящую, сладкую кору. К полудню он нарезал большую вязанку, взвалил ее на плечи и понес домой. Идти было жарко. Ломило плечи. Никита несколько раз присаживался на

мшистые камни, — видел дятла, который со страха поднял красный гребень и пестреньким платочком пролетел сквозь листву, видел, как по столбовой своей дороге муравьи тащили всякое добро в муравейник, запустил сосновой шишкой в белочку, прильнувшую на растопыренных ножках к стволу еще голого клена, спугнул красно-золотого фазана, и, наконец, приплелся домой.

Еще подходя к сакле он заметил неладное, — у порога валялся разодранный тюфяк. Никита вошел в саклю, — там все было перевернуто, на полу разбросаны белье, книги, листья и сено из распоротых тюфяков. Никита выбежал на двор, зовя отца. Но никто не ответил. Не было ни отца, ни Василия Тыркина, ни Заверткина, — исчез даже Яшка — козел.

П О И С К И

Никита обежал весь двор, заглядывал повсюду, спустился к потоку, кричал, свистал, и в сумерки вернулся к опустевшей сакле, сел у порога на бревно, подперся и сидел неподвижно, покуда над очертанием гор не проступили дрожащие от влажности и чистоты большие звезды.

Никита вспомнил, как в день приезда он так же глядел на эти звезды, но тогда рядом сидел отец и говорил: «В древности, Никита, люди думали, что у каждого человека есть своя звезда. Теперь не верят этому. Но если хочешь — я могу тебе подарить вон ту, которая переливается».

Как и тогда, звезды начали расплываться в глазах Никиты, он коротко, несколько раз, подышал носом, покусал губы и сдержался: плакать было нельзя. Над лужайкой беззвучно летали две мышки, ясно различимые в звездном небе. Трещала деревянным язычком древесница. От тихого дуновения шелестели листья на тополе.

Вдруг, из темноты, из под склона лужайки поднялась рогатая голова. Никита сжался, перестал дышать. Голова росла, приближалась, протянула нос и подребезжала: бэ-э-э! Это был Яшка. За ним осторожно появился Заверткин, держа в

руках самовар. Никита кинулся к нему, спросил, где отец. Заверткин поставил самовар на землю и рукавом рубахи вытер глаза:

— Увели его, и Ваську увели.

И он рассказал, как из города приходили двенадцать человек, схватили Алексея Алексеевича и Василия Тыркина, хотели было тут же их и расстрелять, но они отругались, — шум и ругань была великая. Тюфяки все распороли, вещи разворачивали, покидали, порвали, искали писем каких-то и денег.

Никита хотел сейчас же бежать в город, но Заверткин уговорил его подождать утра, поставил самовар, и, так как чай и сахар был украден, то он принес из чулана пучечки сухой травы, положил их прямо в самовар и напоил Никиту горьковатым и пахучим настоем шалфея. Никита уснул, не раздеваясь. На рассвете Заверткин разбудил его, сунул в карман ломоть хлеба и две луковицы и вывел на городскую дорогу, выходящую белой полоской. Через час поднялось из-за гор бледное солнце. Никита остановился — перевести дух и увидел внизу, в тумане и дыму догоравшего пожарища вылинявшие кровли города.

Навстречу шли две загорелые, рослые бабы, тяжело ступая под тяжестью узлов. Одна баба с усмешкой оглянула Никиту, остановилась и спросила:

— Куда, барчук, идешь?

— В город.

— Не ходи, милый, зарежут.

И бабы пошли дальше, переговариваясь и смеясь о чем-то. Никита со злобой глядел им вслед: — хотели напугать, — очень он боится... Зарежут, так зарежут...

Он упрямо мотнул головой и побежал по пыльному шоссе к городу. На встречу еще попались бабы и мужики с узлами и вещами, у одного, вместо шапки, была надета граммофонная труба. Наконец, сбоку дороги Никита увидел остатки пожарища, — обугленные столбы и дымящиеся кучи мусора. Дальше шоссе было изрыто взрывами снарядов; заборы повалены и разбиты; на телеграфных столбах — обрывки проволок;

мостовая усыпана битыми стеклами; посреди улицы лежала убитая лошадь с задранной задней ногой. Наконец, стали попадаться солдаты, в расстегнутых шинелях, с заломленными картузами, с винтовками, перекинутыми дулом вниз через плечо. С треском, в облаке пыли, промчался мотоциклет, от которого на стороны отскакивали пешеходы. На площади, на перекладине трамвайного столба высоко над землей покручивался какой-то человек в белье. Никита поспешно отвернулся; через несколько шагов скуластый, молодой солдат штыком преградил ему дорогу и крикнул свирепо:

— Назад! Проходу нет!

— Я ищу моего отца, — сказал Никита, — я хотел спросить . . .

— Назад, тебе говорю, — скуластый замахнулся прикладом, Никита отскочил, и в это время другой солдат, пахнущий хлебом и овчиной, положил руку сзади ему на шею:

— Кого ищешь, парень?

Никита, слегка задыхаясь, рассказал ему о пропаже отца. Солдат, пахнущий хлебом и овчиной, проговорил:

— Ах ты, таракан запечный, плохо твое дело . . . Ну, пойдем, я уж тебе покажу — где твой отец содержится.

Он привел Никиту к низкому, каменному дому, где у крыльца стояли два пулемета и расхаживали солдаты с винтовками — дулом вниз. Никита хотел войти в дом, но его отогнали. Солдат, пахнущий овчиной, затерялся. Никита стал смотреть в окна, но на них висели шторы. Время от времени к крыльцу подкатывали мотоциклетки, с них слезали молодые люди в кожаных куртках и входили в дом. Затем солдаты провели человек десять очень бледных людей, полураздетых и без шапок, — и за ними захлопнулась дверь низкого дома с занавешанными окнами.

У Никиты кружилась голова от усталости и голода, но он упрямо стоял и ждал. Вдруг кто-то, проходя за спиной, проговорил шопотом:

— Не оборачивайся, иди за мной.

И сейчас же, мимо Никиты прошел в заломленном картузе,

с руками, засунутыми в карманы шинели, Василий Тыркин, протискался сквозь солдат и свернул в переулок. Там только он обернулся:

— Плохо дело, Никита, надо отца выручать.

— Папа жив?

— До утра будет жив. — И Василий Тыркин рассказал, как их привезли на двор низкого дома, где было уже человек двести арестованных, как люди, которые привезли их, ушли, — и он тогда начал ближе держаться к воротам, лихо выпустил из под картуза вихор, потом — видит около отхожего места стоит винтовка, он сейчас же перекинул ее дулом вниз через плечо, потолкался еще немного, для вида, по двору и, посвятившая, вышел через ворота на улицу.

— У них там такая бестолочь, — сказал Василий Тыркин, — что хочешь делай . . . Слушай, вот что я придумал . . .

ПОБЕГ

Никита и Василий Тыркин пошли на место, где вчера был уличный бой. Одноэтажные домики здесь стояли с выбитыми стеклами, дырявые от пуль, с отскочившей штукатуркой. На шоссе мостовой виднелись темные пятна, убитые были уже убраны, но по дворам еще много валялось винтовок, шапок и патронных сумок. Василий Тыркин подыскал Никите простреленный картуз по голове, сумку и ружье; свою же винтовку, взятую им давеча на дворе, он переменял на небольшой, кавалерийский карабин. Затем мальчики начали обходить опустевшие и разграбленные дома, покуда в одном из них не нашли то, что им было нужно: в углу на божнице пузырек с чернилами и перо.

Василий Тыркин велел Никите пристроиться для письма на подоконнике, вынул из-за обшлага шинели бланк «Удельного Ведомства Виноделия», — найденный им в другом доме среди мусора, — и сказал:

— Пиши: «Российская Федеративная Республика» . . .

— Тут напечатано — «Виноделие», это зачеркнуть? — спросил Никита.

— Не надо, не зачеркивай, — они с этим виноделием хуже спутаются. Пиши: «Спешно, совершенно секретно. Во исполнение приказа товарища Главревкомброд...

— Это что же значит?

— А черт его знает, — пиши непонятнее: «Приказано: главного агента гидры контрреволюции, кровавого буржуя, Алексея Шубина, перевести в городскую тюрьму под строжайшей охраной. Поручение исполнить товарищам Василию Тыркину и... Как тебя прописать?

— Какнибудь пострашнее.

— Пиши: «И знаменитому юноше-молодцу, грозе мировой буржуазии, Никите Выпусти-Кишки»...

Когда замечательная эта бумага была написана, мальчики пошли на базар, купили молока и вяленой рыбы и поели. Никиту пригрело солнце, он лег ничком на чахлой травке, растущей вокруг городского собора, и сквозь сон слышал то людские голоса, то грохот колес, то острый свист стрижей, летающих, как ни в чем не бывало, над куполом колокольни.

В сумерки Василий Тыркин растолкал Никиту, мальчики подтянули пояса, зарядили винтовки и пошли к низкому дому. Переходя площадь они встретили рослого парня — солдата, — хмуρο опустив голову он брел, загребал пыль огромными сапожищами. Василий Тыркин остановился и крикнул:

— Какого полка?

— Ударного, советского, — лениво ответил парень.

— Иди за нами.

— Это почему я должен за вами идти?

— Молчать, товарищ, — крикнул Василий Тыркин, задирая к нему нос, — читай приказ, — и он сунул в лицо ему бумагой. Солдат поглядел, поправил винтовку на плече и сказал уже смирно:

— Ладно, идемте, товарищи.

У ворот низкого дома суматоха была сильнее, чем днем. Более сотни солдат и людей всякого сброда орало и ругалось, лезло на крыльцо и шарахалось в темноту. Два автомобильных прожектора ползли светом по темным окнам домов на пло-

щади, по возбужденным лицам толпы, выхватывали из мрака отдельные бегущие фигуры. Резко трещали мотоциклетки.

Василий Тыркин протолкался к воротам, где стоял часовой, — усатый, мрачный человек в широкополой, очевидно, дамской, фетровой шляпе, и крикнул ему:

— Отворяй ворота!

— По чьему приказу?

— Ведомства виноделия, российская федеративная республика, спешно, совершенно секретно, — заорал Василий Тыркин, размахивая бумагой . . .

Мрачный усач в дамской шляпе отворил калитку в воротах и Василий Тыркин, Никита и их сонный спутник вошли во двор.

— Что за беспорядок! — кричал Василий Тыркин, — где у вас дневальный?

— Здесь, — откликнулся из темноты бодрый голос.

— Выдать по ордеру Алексея Шубина, буржуя . . . Живо, товарищ, не теряйте революционного времени.

— Шубин . . . Алексей Шубин . . . — пошли голоса в глубине двора. Никита, вглядываясь, различал лежащие и сидевшие на земле унылые фигуры. Вдруг, точно иглой прокололо ему сердце, он начал дрожать мелкой дрожью, — от стены отделился и подходил отец, в накинутом на плечи пальто. Голова его была забинтована тряпкой.

— Я здесь, — проговорил он тихо и глухо, — расстреливать пришли за мной?

— Молчать, кровавая гидра! — хрипло закричал Василий Тыркин, замахиваясь на него прикладом. Алексей Алексеевич вздрогнул, всмотрелся и прикрыл низ лица воротником пальто:

— Ведите, — отрывисто сказал он.

Василий Тыркин и ленивый парень подхватили его под руки, поволокли к воротам. Никита шел сзади с ружьем на изготовку, — с каким бы восторгом он умер сейчас за отца! В воротах вышла заминка. Усач в дамской шляпе, приотворив после сильного стука калитку, сказал, что сейчас было распоряжение никого со двора не выпускать. Василий Тыркин опять

показал бумагу. Часовой замотал усами, — не могу. К спорящим подошли любопытные, раздался голоса:

— Кого это уводят?.. По какому праву?.. Кто им дал разрешение?.. Покажи пропуск... Да это мальчишки какие-то... Товарищ, беги за комиссаром...

Во время крика и толкотни Никита отыскал страшно задрожавшую, холодную, как лед, руку отца и прижался к ней губами. Василий Тыркин пытался читать бумагу, но его перебивали, от толчка с него слетел картуз. Тогда, словно оцетинясь от злости, он сорвал с плеча карабин, подскочил к калитке, прикладом ударил усатого по дамской шляпе, и выскочил за ворота. Ленивый парень толкнул туда же Алексея Алексеевича, и, размахивая винтовкой, закричал: расступись! Толпа раздалась, и в это время Никита увидел, как дверь дома распахнулась, на крыльце появился человек в кожаной куртке, без шапки, с узкой бородкой, с дергающимся лицом, и закричал что-то, тыча указательным пальцем по направлению Алексея Алексеевича.

Никита всей своей кожей почувствовал, что это появилась смерть. Он поднял ружье и оно сейчас же толкнуло его в плечо, оглушительно вылетело пламя, человек в кожаной куртке покатился с крыльца, толпа шарахнулась, зазвякали затворы винтовок и Никита, точно подхваченный ветром, побежал рядом с отцом по темной площади. Позади раздался выстрелы, все чаще, все шире... Вдруг, шумно дыша, впереди бегущих появился Василий Тыркин:

— Налево, в переулок, к реке! — крикнул он, и набегу выстрелил через плечо.

НА РЕКЕ

Прошло часа два. Алексей Алексеевич греб, осторожно опуская весла в темную воду. Никита лежал на дне лодки, завернувшись в отцовское пальто. Василий Тыркин сидел на руле и всматривался в смутно темнеющие очертания низких берегов реки.

По зарослям камыша, в плавнях, кричали бесчисленные горластые лягушки, иногда в прибрежных кустах начинал пощелкивать соловей. Журчала вода о борта лодки.

— Никита, помнишь, как у нас в Сосновке лягушки кричали?, — негромко проговорил Алексей Алексеевич. Никита отогнул полу пальто и взглянул, — над темной рекой, над плавнями, полными лягушек, над низкими берегами, уходящими в мглистые степи, сияли звезды, беззлобно, покойно и прекрасно. С жалобным писком на щеку сел комар. Никита шлепнул его и опять завернулся с головой в пальто.

Э П И Л О Г

Беглецы плыли вниз по течению трое суток. Затем, они бросили лодку и пошли пешком от деревни к деревне, питаюсь тем, что им подавали добрые люди. А так как добрых людей было, все же, не мало, то беглецы добрались до портового города, некоторое время прятались на окраине его в кирпичных сараях и, однажды, ночью, выехали на лодке в открытый порт, где стоял корабль под французским флагом. Капитан корабля взял всех троих на борт.

На этом рассказ мой кончается: у меня вышла вся бумага, и, кроме того, Никита, Алексей Алексеевич и Василий Тыркин живут сейчас где-то на Балканах и пишут мне скучные письма о том, что у них ничего нет, ни денег, ни книг, ни одежды, ни родины . . .

Гр. Алексей Н. Толстой

ПРИЗРАК АЛЕКСАНДРА ВОЛЬФА*)

Однажды, проработав со мной полдня, она сказала мне, что приглашена вечером в театр, и что мы увидимся с ней только на следующее утро. — Я разбужу тебя чуть свет, — сказала она, уходя. Я знал, что она идет в театр со своей давней подругой, которую случайно встретила в Париже. Я видел ее два или три раза, это была пышная женщина, довольно красивая; но при взгляде на нее у меня почему то каждый раз появлялся аппетит, независимо от того, когда это происходило. И если это случалось даже непосредственно после сытного завтрака, все-таки ее вид неизменно вызывал представление об еде, и когда я закрывал глаза, передо мной смутно возникали неясные окорока, осетрина, семга, омары; эта женщина носила с собой, не зная этого, целый мир гастрономических видений, которых она была возбудительницей. Я никогда не мог дойти до конца в анализе того, почему получалось именно так; и оттого, что у нас не было общих знакомых, то я даже не узнал, разделяли ли другие люди это представление или это был результат моего личного и тем более непонятного извращения. Она была замужем за французом, очень милым и безличным человеком.

— Если хочешь, приходи, Анни тебя накормит — сказала Елена Николаевна.

Но я отказался — и в половине десятого вечера пошел в русский ресторан. Приближаясь к нему, я вспомнил о цыганских романах и о Вознесенском. Я вошел и сразу увидел его. Он был не один: за его столиком, спиной ко мне сидел человек в светло-сером костюме; белокурые волосы не совсем прикрывали начинавшуюся лысину. Вознесенский замахал мне рукой

*) См. 16-ю и 17-ю книги «Нового Журнала».

и поднялся со своего места, приглашая меня подойти. Когда я приблизился, он сказал:

— Искренно рад вас видеть, милый друг. Вот, разрешите вас познакомить: Саша Вольф собственной персоной, Александр Андреевич, только что приехавший из Лондона. Еще, пожалуйста, графинчик, красавица, — сказал он, обращаясь к кельнерше, которая подошла к столику одновременно со мной, — вы уж, миленькая, нас не обижайте.

Александр Вольф повернул голову и я увидел его лицо. Он был еще красив, на вид ему было лет сорок. Может быть, если бы я не знал, что это он, я не обратил бы на него особенного внимания. Но оттого, что я это знал, мне показалось несомненным, что я вижу перед собой именно то, давно и страшно знакомое лицо, воспоминание о котором столько лет преследовало меня. У него была очень белая кожа и неподвижные серые глаза.

— Я ему говорил о вас — сказал Вознесенский. — Ведь если бы не он, Саша, я бы так и не узнал, что ты написал в твоей книге. Садитесь, милый друг, выпьем рюмочку, мы, слава Богу, люди православные.

Я не находил слов, чтобы заговорить с Вольфом. Я столько времени думал о встрече с ним, я хотел ему сказать столько вещей, что я не знал, с чего начать. Кроме того, присутствие Вознесенского, ресторанный обстановка и выпитая водка не подходили для того разговора, о котором я думал столько раз. Александр Вольф говорил мало и ограничивался короткими репликами. Зато Вознесенский не умолкал. Как только я сел за стол, он выпил очередную рюмку и с пьяной пристальностью посмотрел на Вольфа.

— Саша, друг мой, — сказал он с необыкновенной выразительностью — ведь ты подумай только, какой ты для меня человек, у меня нет большего друга. Ведь мы тебя, сукиного сына, мертвого было подняли, доктор тебя в больнице выходил, верно это или нет? А если верно, так к кому от меня Марина ушла? А? А какая была девочка, Саша! Ты лучше знал когданибудь?

— Знал — с неожиданной твердостью сказал Вольф.

— Врешь, не может быть, Саша. А я не знал и не узнаю. Почему ты о ней не напишешь, хотя бы даже по английски? Она на всех языках хороша. Напиши, Саша, будь другом.

Вольф, не улыбаясь, взглянул на него, потом перевел взгляд на меня.

— Меня заинтересовал ваш рассказ “The Adventure in the Steppe”, — сказал я, — по некоторым причинам, которые я вам изложу, если вы позволите, в более подходящей обстановке. Мне бы вообще хотелось поговорить с вами о некоторых важных — с моей точки зрения — вещах.

— Я к вашим услугам — ответил он. — Если хотите, встретимся здесь же послезавтра, часов в пять. Мне Владимир Петрович рассказывал о своих разговорах с вами.

— Очень хорошо, — сказал я — тогда, значит, послезавтра, в пять часов, здесь же.

Я ушел не сразу. Каждый раз, когда это было возможно, я смотрел на Вольфа с той жадной и пристальной напряженностью, которая была характерна для всего моего отношения к нему и которая только в последнее время ослабела, потому что другие, более сильные чувства владели мной. Я делал над собой усилия, чтобы увидеть его таким, каким он казался бы мне, если бы я вообще ничего о нем не знал, я старался отстранить от себя те навязчивые представления, которые слишком долго преследовали мое воображение и которые мешали мне в эти минуты. Я не мог бы, однако, сказать с уверенностью, насколько мне это удалось. В лице Вольфа было, мне казалось, что то, резко отличавшее его от других лиц, которые я видел. Это было трудно определимое выражение, нечто похожее на мертвую значительность — выражение, казавшееся совершенно невероятным на лице живого человека. Для того, кто, как я, так внимательно читал его книгу, представлялось чрезвычайно странным, что именно этот человек, с неподвижным взглядом и этим непередаваемым выражением, мог писать такой быстрой и гибкой прозой и видеть этими же остановившимися глазами столько вещей.

“Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple,” — я вдруг вспомнил этот эпиграф к “The Adventure in the Steppes”. Вот что в нем было главным — он был действительно похож на призрак. Как я мог этого не понять с самого начала? Мне вдруг стало холодно на несколько секунд. И опять голос из грамофона пел любимый романс Вознесенского:

Не надо ничего,
Ни поздних сожалений . . .

И я вспомнил, что давно уже я представлял себе именно то, что было сейчас: ресторан, музыка, и — сквозь пьяную цыганскую печаль — это мертвое лицо неизвестного автора “I’ll Come Tomorrow”. Я закрыл глаза; передо мной клубилось невероятное соединение мыслей, воспоминаний, чувств и все это проходило через несколько мотивов и те воображаемые мелодии, о которых я думал, когда представлял себе пение Марины под аккомпанимент Саши Вольфа. Потом я увидел, с необыкновенной ясностью качающуюся, как во сне, черную мушку револьвера перед моим правым глазом. Мне стало казаться, что меня знобит, что у меня начинается бред.

Я, наконец, поднялся и ушел, несмотря на шумные протесты Вознесенского; он протягивал по направлению ко мне руку, из которой не выпускал рюмки с водкой, и уговаривал меня сначала посидеть еще немного здесь, а потом поехать куданибудь в другое место. Мне может быть, было бы очень трудно отказаться от его настойчивых приглашений, но я сослался на спешную работу. Все, что относилось к литературе или журналистике, носило для него чуть ли не священный характер и этого не могла изменить никакая степень его опьянения.

— После этого не смею удерживать, милый друг, — сказал он. — Желаю вам успешных трудов.

Я вышел из ресторана: мне не хотелось тотчас же возвращаться домой. Я пошел по rue de la Convention, направляясь к Сене. Было около половины двенадцатого вечера, было тепло, шелестели молодые листья на недавно распутившихся де-

ревьях, еще не успевших принять тот вялый и пыльный вид, который они имеют летом. Встреча с Вольфом не давала мне покоя, я в сотый раз восстанавливал в памяти все, что было связано с ним — от той минуты, когда он лежал поперек дороги до книги, которую он написал, и моего свидания с лондонским издателем, ненавидевшим его такой страшной ненавистью. Я думал о том, что Вольф стал для меня — и не столько он лично, сколько всякая мысль о нем, — невольным олицетворением всего мертвого и печального, что было в моей жизни. К этому прибавлялось еще сознание моей собственной вины: я чувствовал себя почти как убийца, потрясенный только что совершенным преступлением — у трупa своей жертвы. И хотя я не был убийцей и Вольф не был трупом, я не мог отделаться от этого представления. — В чем, собственно, моя вина перед ним? — спрашивал я себя. И несмотря на то, что всякий суд, я полагаю, оправдал бы меня, — военный потому, что убийство есть закон и смысл войны, гражданский потому, что я находился в состоянии самозащиты, — во всем этом оставалось нечто бесконечно тягостное. Я никогда не хотел убивать его, я увидел его за минуту до моего выстрела. Почему же мысль о нем заключала в себе такое непоправимое сожаление, такую непреодолимую печаль?

И с такой же неожиданностью, как полчаса тому назад, в ресторане, я понял, что делало Вольфа непохожим на других, именно, мое представление об его призрачности и случайное соответствие его внешности с этим представлением, — так сейчас мне стала ясна причина моего сознания несуществующей вины. Это была та самая идея убийства, которая столько раз с повелительной жадностью занимала мое воображение. Она была похожа, быть может, на последний отблеск потухающего огня, на минутный возврат к древнему инстинкту; это было — опять таки, быть может, — своеобразным проявлением закона наследственности и я знал, что у меня было много поколений предков, для которых убийство и месть были непреложной и обязательной традицией. И это соединение соблазна и отвращения, эта неподвижная готовность к пре-

ступлению, повидимому, существовала во мне всегда и, конечно, понимание этого было предметом тягостного сожаления, которое я сейчас испытывал. Мысль о Вольфе была сильнейшим напоминанием об этой особенной, теоретически преступной подробности моей душевной биографии. Если бы не существовало Вольфа, — она могла бы оставаться в области моего воображения и у меня могла бы быть утешительная иллюзия, что все это только результат моей фантазии, и что если бы это должно было произойти в действительности, я бы нашел в себе достаточно душевной силы, чтобы удержаться от последнего и безвозвратного движения: существование Вольфа лишало меня этой тщетной иллюзии. Кроме того, если мне этот выстрел стоил так дорого, то его последствия, вероятно, не могли не отразиться на всей жизни Вольфа. Сопоставляя еще раз все, что о нем рассказывал Вознесенский, с обликом автора "I'll Come Tomorrow", я думал, что быть может, если бы не это незаконченное убийство, Саше Вольфу предстояла бы счастливая жизнь и остались бы неизвестны те безотрадные вещи, о которых была написана книга Александра Вольфа. Я задумался над этим — в который раз? — и вспомнил слова лондонского любовника Елены Николаевны:

— Последовательность событий во всякой человеческой жизни чудесна.

Да, конечно; и если в эту сложную совокупность таких разных и одновременных явлений я начинал вводить, как объяснительный элемент, привычный закон причинности, то чудесность происходящего казалась еще более явной и получалось так, точно вот, из одного моего движения возникал целый мир. И если считать, что началом длинной серии событий была моя вытянутая рука с револьвером и пуля, пробившая грудь Вольфа, то из этого короткого, как выстрел, промежутка времени родилось сложное движение, которого не могли бы ни предвидеть, ни учесть никакой человеческий ум и никакое, самое могучее, самое чудовищное воображение. Кто мог знать, что в этом мгновенном, вращающемся полете пули был заключен, в сущности, город над Днепром, и непередавае-

мая прелесть Марины, и ее браслеты, и ее песни, и ее измена, и ее исчезновение, и жизнь Вознесенского, и трюм корабля, Константинополь, Лондон, Париж, и книга "It's Some Tomorrow", и эпиграф о трупe со стрелой в виске?

*
**

Уходя от Елены Николаевны следующей ночью, я сказал ей:

— Я не знаю, в котором часу я приду завтра и даже приду ли я вообще. Я позвоню тебе по телефону.

— Чтонибудь случилось?

— Нет, но у меня очень важное свидание.

— С мужчиной или с женщиной?

— С призраком — сказал я. — Я потом расскажу тебе это.

В ресторане не было никого, когда я пришел туда, кроме какого-то подвыпившего шофера такси, который беспрестанно целовал руку подававшей ему кельнерше и рассказывал ей о своих переживаниях. Я явился без десяти пять. Вольфа еще не было и поэтому я успел услышать, что именно говорил шофер. Это был очень галантный, именно галантный человек, бывший кавалерист, чрезвычайно любезный — по крайней мере, в пьяном виде, — и по уездному, обескураживающе великосветский.

Я сидел и пил кофе, до меня доходили его слова:

— И тогда я написал ей письмо. Я ей написал — что делать, моя дорогая, наши пути разошлись. Но я прибавил фразу, которую она, наверное, никогда не забудет.

— Какая же это фраза? — спросила кельнерша.

— Я написал буквально так: я тебя поставил на такой высокий пьедестал — и ты сама с него слезла.

И в это время в ресторан вошел Вольф. Он был в другом костюме, темно-синего цвета. Я пожал ему руку. Он заказал себе кофе и спокойно-выжидательно посмотрел на меня. Несмотря на то, что я много раз обдумывал, с чего я начну разговор и что я скажу потом, все выходило не так, как я предполагал. Но это, конечно, не имело значения.

— Несколько месяцев тому назад, — сказал я, — за этим самым столиком, Владимир Петрович рассказывал мне о своем знакомстве с вами. Это было после того, как моя первая попытка узнать что либо о вас — о ней я скажу позже, если позволите, — потерпела очень неожиданное фиаско.

— Что, собственно, вызвало с вашей стороны такой интерес к моей особе? — спросил он. Я опять не мог не обратить внимания на его голос, очень ровный, невыразительный, без резкого изменения интонаций.

Я вынул из своего портфеля его книгу, развернул ее на той странице, где начинался рассказ «Приключение в степи», и сказал:

— Как вы помните, ваш рассказ начинается с упоминания о белом жеребце апокалиптической красоты, на котором герой ехал навстречу смерти. После событий, которые потом описываются, герой спрашивает себя, что стало с человеком, стрелявшим в него, и который продолжал скачку к смерти на этом же коне, в то время, как он, герой, с пулей, застрявшей чуть выше сердца, умирал, лежа поперек дороги. Не так ли?

Вольф смотрел на меня с напряженным вниманием, чуть прищулив свои неподвижные глаза.

— Да. И что же?

— Я вам могу ответить на этот вопрос — сказал я.

Его лицо не изменилось, только глаза стали шире.

— Вы можете ответить на этот вопрос?

Мне было трудно дышать, я чувствовал необыкновенное стеснение в груди.

— Я помню это так, как будто это было вчера — сказал я. — Это я стрелял в вас.

Он вдруг встал со стула и секунду остался стоять, точно собираясь что то сделать. Мне показалось, что он сразу вырос на целую голову. И тогда я увидел его глаза, такие же расширенные и такие же неподвижные, в которых появилось и исчезло что то действительно страшное — и я понял в эту секунду, что в авторе "I'll Comme Tomorrow" все-таки оставалось нечто почти забытое, почти умершее, но именно то,

что хорошо знал в свое время Вознесенский и что я остановил тогда — только потому, что у меня был револьвер и только потому, что и я был способен стать убийцей. Но Вольф тотчас же сел опять и сказал:

— Извините меня, пожалуйста. Я слушаю.

— Это мое лицо вы видели над собой после того, как вы упали с лошади. Вы не ошиблись в вашем описании: мне было тогда шестнадцать лет. У меня, наверное, было сонное выражение, я не спал перед тем около тридцати часов. Это я уехал на вашем жеребце, потому что вы убили вашим первым выстрелом мою вороную кобылу. Это я стоял, наклонившись над вами. Я поспешил уехать потому, что ветер донес до меня далекий звук копыт. Как я выяснил недавно, в разговоре с Владимиром Петровичем, это был топот тех лошадей, на которых он и двое его товарищей ехали вас разыскивать.

Вольф молчал. Совершенно опьяневший шоффер опять рассказывал о своем письме, но уже другой кельнерше.

— . . . такой высокий пьедестал, — и ты сама с него слезла . . .

— Значит, это вы — сказал Вольф с утвердительной интонацией.

— К несчастью — ответил я. — Все эти годы воспоминание об этом никогда не покидало меня. Я очень дорого заплатил за свой выстрел. Во всех чувствах, даже самых лучших, которые я испытывал, всегда оставалось какое то темное и пустое пространство, в котором было неизменно одно и то же смертельное сожаление о том, что я вас убил. И я думаю, вы поймете, как я был рад, когда я прочел ваш рассказ и узнал, что вы остались живы. И вы извините теперь, я надеюсь, мою нескромность по отношению к автору "I'll Comme Tomorrow".

Я ждал его ответа. Он молчал. Потом он перевел дыхание и тогда я заметил, что он, повидимому, был взволнован не меньше, чем я — и сказал:

— Это так неожиданно, я настолько иначе представлял себе вас, и я настолько привык к мысли о том, что вас давно нет в живых . . .

В дверях показался Вознесенский. Вольф быстро сказал мне:

— Мы поговорим с вами об этом завтра здесь, в это же время. Хорошо?

Я кивнул головой.

Вознесенский был особенно благодушен в тот день. Он похлопал Вольфа по плечу, пожал мне руку и сел за стол. Когда кельнерша стала накрывать и поставила графин с водкой, он налил три рюмки и сказал:

— Ну, Саша, с Богом. И вы, милый друг. Кто знает, что нам готовит будущее?

Вольф был рассеян и молчалив.

— Англия, не Англия — сказал Вознесенский после четвертой рюмки, — говорят, там хорошо пьют. Охотно соглашюсь. Но вот, я скромный русский человек и вы меня никакой Англией не запугаете. Берусь пить с любым англичанином, — а там мы посмотрим.

Потом он укоризненно взглянул на меня.

— А вот наш друг, тот больше по части закуски. Конечно, с голоду в ресторане умирать не нужно. Но напитки все-таки главное.

Когда начал играть грамофон, Вознесенский, знавший все романсы, подпевал своим низким голосом. На шестой пластинке Вольф сказал:

— Неутомим ты, Володя, ты бы отдохнул.

— Милый друг, — Вознесенский пожал плечами, — от чего же тут отдыхать? Я, брат, своего происхождения не забываю, у меня столько поколений глотку драли, что это для меня пустяк.

Когда мы кончили обедать, у меня слегка шумело в голове, хотя я пил не очень много. Вознесенский предложил пройтись, как он выразился, но едва мы вышли на улицу, он остановил первое такси и мы поехали на Монмартр. Там начались странствия по разным местам и под конец все спуталось в моем представлении. Я вспомнил потом, что там были какие то голые мулатки, до моего слуха смутно доходила их гортанная бол-

товня, затем другие женщины, одетые и раздетые; смуглые молодые люди южного типа играли на гитарах, было негритянское пение и оглушительный джаз-банд. Огромная негритянка исполняла с необыкновенным искусством танец живота: я смотрел на нее и мне казалось, что она вся составлена из отдельных частей упругого черного мяса, которые двигаются независимо один от другого, как если бы это происходило в чудовищном и внезапно ожившем анатомическом театре. Затем опять была музыка, играли гавайские гитары и Вознесенский, держа в руке стакан с беловато-зеленой жидкостью, сказал:

— Тот, кто однажды побывал на Таити, непременно вернется туда, чтобы умереть именно там.

Он запел в тон музыки своим густым баритоном и прибавил:

— Что такое северная женщина? отблеск солнца на льду.

Его опьянение носило благодушно-эротический характер, он пил за здоровье всех своих кратковременных собеседниц и был, казалось, совершенно счастлив.

Потом все эти экзотические картины сменились более европейскими развлечениями — пели венгерские цыгане, выступали французские артисты и артистки. Когда мы вышли на улицу из кабарэ, где то возле Boulevard Rochechouart, там была драка между какими то подозрительными субъектами и в ней тут же приняли участие женщины, кричавшие свирепопронзительными голосами. Я стоял рядом с Вольфом; фонарь резко освещал его белое лицо с выражением, как мне показалось, спокойного отчаяния. Я чувствовал, что смотрю со стороны, далекими глазами на эту дикую и чуждую мне толпу, у меня даже было впечатление, что я слышу непонятные крики на незнакомом языке, хотя я, конечно, знал все оттенки и все слова этого аргю сутенеров и проституток. Я испытывал томительное отвращение, непостижимым образом соединявшееся с усиленным интересом к этой свалке. Она, впрочем, скоро была прекращена целым нарядом полицейских, которые посадили в три огромных грузовика два десятка окровавленных женщин и мужчин и быстро уехали. На тротуаре осталось несколько

полурастоптанных кепок и неизвестно как потерянный одной из участниц этого уличного боя розовый бюстгальтер. И хотя эти подробности придавали, казалось бы, особенную убедительность всему, чего я был свидетелем, я не мог избавиться от впечатления явной фантастичности этой ночной прогулки, как будто бы, в привычном безмолвии моего воображения, я шел по чужому и незнакомому городу, рядом с призраком моего длительного и непрерывающегося сна.

Уже начинался рассвет; мы возвращались домой пешком. Мы шли сквозь мутную смесь фонарей и рассвета по улицам, круто спускавшимся вниз, с Монмартра. После этой шумной и утомительной ночи мне было трудно следить за Вольфом в том, что он тогда говорил. Но некоторые вещи я запомнил. Он был интересным собеседником, много знал, видел все очень своеобразно — и я понял, почему именно этот человек мог написать такую книгу. В ту ночь у меня создалось впечатление, что он, в сущности, равнодушен ко всему на свете: он говорил обо всем так, точно его лично это не могло касаться, Его философия отличалась отсутствием иллюзий: личная участь неважна, мы всегда носим с собой нашу смерть, то есть прекращение привычного ритма, чаще всего мгновенное; каждый день рождаются десятки одних миров и умирают десятки других и мы проходим через эти незримые космические катастрофы, ошибочно полагая, что тот небольшой кусочек пространства, который мы видим, есть какое то воспроизведение мира вообще. Он верил все-таки в какую то трудно определимую систему общих законов, далекую, однако, от всякой идиллической гармоничности: то, что нам кажется слепой случайностью, есть чаще всего неизбежность. Он полагал, что логики не существует вне условных и произвольных построений, почти математических; что смерть и счастье суть понятия одного и того же порядка, так как и то и другое заключает в себе идею неподвижности.

— А тысячи счастливых существований?

— Да, людей, которые живут как слепые щенята.

— Не непременно, может быть иначе.

— Если у вас есть то свирепое и печальное мужество, которое заставляет человека жить с открытыми глазами, разве вы можете быть счастливы? Нельзя даже представить себе, чтобы те, кого мы считаем самыми замечательными людьми, были счастливы. Шекспир не мог быть счастлив. Микель Анджело не мог быть счастлив.

— А Франциск Ассизский?

Мы проходили по мосту через Сену. Над рекой стоял ранний туман, сквозь который возникал полупризрачный город.

— Он любил мир, как люди любят маленьких детей — сказал Вольф. Но я не уверен, что он был счастлив. Вспомните, что Христос был неизменно печален и вне этой печали христианство невысказано вообще.

Потом он прибавил другим тоном:

— Мне всегда казалось, что жизнь чем то похожа на путешествие в поезде, — эта медлительность личного существования, заключенная в стремительном внешнем движении, эта кажущаяся безопасность, эта иллюзия продолжительности. И потом, в одну неожиданную секунду — рухнувший мост или развинченная рельса и то самое прекращение ритма, которое мы называем смертью.

— Вы представляете себе ее именно так?

— А вы видите ее иначе?

— Не знаю. Но если нет этого насильственного прекращения ритма, как вы это называете, то это может быть по другому: медленный уход, постепенное охлаждение и почти незаметное, почти безболезненное скольжение туда, где слово ритм уже наверное не имеет смысла.

— Каждому человеку свойственна, конечно, его собственная, личная смерть, хотя его представление о ней может быть ошибочно. Я, например, уверен, что умру именно так — насильственно и мгновенно, почти так, как тогда, во время нашего первого знакомства. Я почти в этом убежден, хотя в мирных и благополучных условиях моей теперешней жизни это представляется, казалось бы, маловероятным.

Мы, наконец, расстались и я вернулся домой. В три часа дня я должен был с ним встретиться в ресторане — так как о главном, именно об этом «Приключении в степи» еще не было речи.

*
**

Во время этого свидания он мне показался несколько живее, чем раньше, его походка была более гибкой, в его глазах я не заметил на этот раз их обычного, далекого выражения. Только голос его был такой же ровный и невыразительный, как всегда.

Я рассказал ему историю моей неудачной попытки узнать о нем то, что меня интересовало, и, в частности, мой визит к директору лондонского издательства. Я не мог ему не сказать, что меня поразили последние слова этого человека.

— Я должен признать, — ответил Вольф, — что у него были некоторые основания так говорить. Он считал меня виновником одной очень трагической истории, которую он пережил. Я, к сожалению, не могу вас посвятить в ее подробности, я не имею права это делать. Его суждение обо мне было в общем ошибочно, но я его понимаю.

— Одна сторона этого вопроса не давала мне покоя — сказал я, — трудно объяснимая чисто психологически, если хотите. Я не сомневался, что то описание Саши Вольфа, которое сделал Владимир Петрович, соответствовало действительности. И вот, как этот же самый Саша Вольф, партизан и авантюрист, мог написать “I’ll Come Tomorrow” ?

Он очень невесело улыбнулся, одними губами.

— Саша Вольф, конечно, не написал бы “I’ll Come Tomorrow”, я думаю, что он вообще ничего бы не написал. Но его давно не существует, а книгу эту написал другой человек. Я полагаю, что следует верить в судьбу. И если так, то нужно считать, — с такой же классической наивностью, — что вы были ее орудием. Тогда совпадает все: случайность, выстрел, ваши шестнадцать лет, ваш юношеский глазомер и

вот эта самая — он тронул меня ниже плеча — недрогнувшая рука.

Я невольно подумал о том, как дико звучат его слова: мы сидели в русском ресторане, из кухни слышался шум посуды и раздраженный голос повара:

— Я ей говорил — шницеля главное, на шницеля упор.

— Вы говорите, что помните все, как будто это было вчера. Я тоже помню все. Я думал, когда вы поднялись после вашего падения и стояли так неподвижно, что вы оцепенели от страха. Вы не испугались тогда?

— Кажется, нет. Сперва я был оглушен, потом я вообще не очень отчетливо понимал то, что происходило, мне смертельно хотелось спать и все мои силы уходили на борьбу с этим желанием. Я, кроме того, вообще не боюсь смерти, вернее, жизнь никогда не казалась мне особенно ценной.

— Между тем, это единственная ценность, которую нам дано знать.

Я с удивлением посмотрел на него. В его устах такая фраза звучала особенно неожиданно.

— Я понял это, когда умирал, лежа на дороге. В те минуты это было ясно для меня, ясно до ослепительности. Но потом я никогда не мог восстановить этого чувства — и оттого, что я его не восстановил, я превратился в автора этой книги. Я всегда ждал, всю жизнь, что вдруг случится нечто совершенно непредвиденное, какое то невероятное потрясение, и я вновь увижу то, что я так любил раньше, этот теплый и чувственный мир, который я потерял. Почему я его потерял, я не знаю. Но это произошло именно тогда. Я не могу вам сказать, как это было страшно, это исчезновение всего, в чем я жил, — эта дорога, это солнце, и ваши сонные глаза надо мной. Я думал, что вы давно погибли. Мне было вас жаль, вы были моим спутником — и вот, вы провалились в какую то пропасть лет и расстояния и я был единственным человеком, видевшим ваш отъезд. Если бы я мог говорить тогда, я закричал бы вам, что надо остановиться, что она вас ждет, как она ждала меня, и что второй раз она не промахнется. И как видите, я бы

ошибся. Если бы вы знали, сколько раз я вспоминал о вас! Мне хотелось вернуть время назад. Мне хотелось, чтобы на моей совести не было вашей смерти, и чтобы я не сделал вас убийцей в свою очередь.

— И я тоже вспоминал об этом, — сказал я. — Я дорого дал бы за то, чтобы все эти годы меня не преследовал ваш призрак.

— Как все условно! — сказал Вольф. — Вы были убеждены, что убили меня, я был уверен, что вы погибли по моей вине и мы оба были неправы. Но какое это имеет значение, — я хочу сказать, правы или неправы — когда вы провели столько лет в напрасном сожалении и я — в ожидании возвратного чуда? Кто нам вернет это время и кто изменит вашу или мою судьбу? И как вы хотите, чтобы после этого можно было верить в какие то наивные иллюзии?

— Можно знать, что все иллюзии напрасны и что утешения, в конце концов, нет. Но во первых, это ничему не помогает, и во вторых, если мы не способны ни к одной, хотя бы самой незначительной иллюзии, то тогда нам остается только то, что вы называете прекращением ритма. И так как мы еще существуем, то может быть, не все потеряно.

Вольф молчал некоторое время, опустив голову и подперев ее обеими руками, как ученик над трудной задачей. Когда он поднял на меня свои глаза, в них опять стояло то почти страшное выражение, которое появилось в первый раз после того, как я ему сказал, что это я стрелял в него. Но то, как он обратился ко мне, странно не вязалось с ним.

— Милый друг — сказал — знаете, зачем я приехал в Париж?

Какое признание мог еще сделать этот человек?

— От моего пребывания здесь зависит решение одной сложной психологической проблемы, имеющей двойной интерес: личный, что важнее всего, и отвлеченный, что тоже не лишено значения.

— Извините меня за нескромность: в какой степени это решение зависит от вас лично?

— Всецело.

— Тогда это не проблема.

— Un cas de conscience, если хотите. Но нет большего соблазна, чем соблазн заставить события идти так, как вы хотите, не останавливаясь для этого ни перед чем.

— И если это оказывается невозможным? . . .

— Тогда остается уничтожить причину, которая вызывает эти события. Это одна из форм решения, правда, наименее желательная.

Я вышел из ресторана тотчас же вслед за ним. Я видел, как он остановил такси, видел, как он сел в автомобиль и слышал, как мягко, со всхлипывающим звуком, хлопнула дверца. Был теплый майский день, светило солнце; было около пяти часов пополудни.

Я вернулся домой и сел за письменный стол, но не мог работать. Я закрыл глаза — и передо мной появилось изменившееся лицо лондонского издателя. — Конечно, нужно принять во внимание исключительные обстоятельства и ваш тогдашний возраст. Но если бы ваш выстрел был более точен . . . “Beneath me lay my corpse with the arrow in my temple” . . . Я опять, с необыкновенной ясностью увидел эту дорогу и лес, это было здесь, в моей комнате, дойдя до меня через победенное пространство, отделявшее меня в данный момент от далекого юга России. Мне было искренно жаль Вольфа. «Тот мир, который я потерял, не знаю почему». Да, и потом эта утешительная философия: мы проходим каждый день через космические катастрофы, — но несчастье в том, что космические катастрофы оставляют нас равнодушными, а малейшее изменение в нашей собственной, такой незначительной, жизни вызывает боль или сожаление и с этим ничего нельзя поделать. «Кто нам вернет это время?» Никто, конечно, — но если бы это чудо случилось, то мы бы очутились в чьей то чужой и далекой жизни и неизвестно, была ли бы она лучше нашей. Впрочем, что значит лучше? Жизнь, которая нам суждена, не может быть другой, никакая сила не способна ее изменить, даже счастье, которое того же порядка, что представление о

смерти, так как заключает в себе идею неподвижности. Вне неподвижности нет счастья, — того самого, которого какой то восточный властелин не мог найти «ни в книгах премудрости, ни в хребте коня, ни на груди женщины». Леночка могла бы сказать: «потом, когда мы расстанемся с тобой и у меня будет другой любовник...». Может быть, она ничего не расскажет ему обо мне, может быть, лаконично заметит — «в это время у меня был роман с одним человеком» — и эта фраза будет заключать в себе все те ночи, когда она мне принадлежала, разгоряченное ее лицо, ее груди, сдавленные в моих объятиях, гримаса в последнюю минуту и все, что этому предшествовало — потом будут еще чьи то объятия и тот же голос с теми же интонациями, в сущности, почти безличными, потому что она так говорила со мной, а до этого с другими и это, наверное, звучало одинаково искренно всегда: какое богатство чувственных возможностей и какая бедность выражения! Да, конечно, самая прекрасная девушка не может дать больше, чем она имеет. И чаще всего она имеет столько, сколько у нас хватает душевной силы создать и представить себе — и поэтому Дульцинея была несравненна. Еще один обман — если считать, что действительность более права, чем воображение. И Леночка, может быть, не заслуживает моего порицания: что мне мешает думать, что она всегда будет принадлежать только мне, что она никого не любила кроме меня, а если думала, что любила или будет любить, то это чудовищная и совершенно явная ошибка, даже если она этого не понимает? И даже, если неизбежен уход и неизбежна измена, то вот, в какой то промежуток времени, все, что составляет ее сущность, принадлежит мне и это самое главное, потом будут только обрывки, которые достанутся другим, и эти другие никогда уже не будут знать того, что она дала мне, всего душевного и физического богатства, которое я получил от нее, как дар — и после этого что еще могло у нее остаться? Я вдруг почувствовал ее так близко от себя, что у меня появилось абсурдное желание повернуть голову и посмотреть, не здесь ли она; я так ясно ощущал запах ее духов, движение ее тела под пла-

тьем, мне казалось, что я вижу ее глаза и слышу эту внезапно падающую интонацию ее голоса, которую удержала навсегда моя благодарная память. Я любил ее больше, чем кого бы то ни было и, конечно, больше, чем себя, и вот, раз в жизни, в силу этого жадного чувства я приблизился бы к евангельскому идеалу, — если бы Евангелие говорило о такой любви. «Вспомните, что Христос был неизменно печален». И вот опять призрак Александра Вольфа. В авторе "I'll Come Tomorrow" было нечто, на чем мне не хотелось остановиться. Надо, однако, дойти до конца. Я чувствовал себя бесконечно виноватым перед ним. Да, несомненно. Но все-таки, я два раза заметил в его глазах это страшное выражение: сначала, когда он узнал, что это я стрелял в него, и поднялся из за стола и потом, когда он сказал мне «милый друг». В конце концов, тогда, в России, это он скакал за мной на своем белом жеребце и, собственно, я должен был оказаться жертвой, а не он. И затем недаром он все возвращался в своих разговорах к этому мгновенному и насильственному прекращению ритма, непременно мгновенному и насильственному.

Да, конечно. Именно он был носителем все той же, неистребимой и непобедимой идеи. Английский писатель, автор «той книги», призрак Александра Вольфа, этот всадник на апокалиптическом белом коне, человек, лежавший тогда, после моего выстрела, на дороге, — этот человек был убийцей. Он, может быть, этого не хотел, он был, казалось бы, слишком умен и слишком культурен, чтобы этого хотеть. Но он не мог не знать эту безличную притягательность убийства, которую так отдаленно и теоретически знал и я и с которой началась история мира — в тот день, когда Каин убил своего брата. Вот почему мое воображение так упорно возвращалось к нему все эти годы. Воспоминание о нем неизменно связывалось с представлением об убийстве, тем более трагическим, что от него нельзя было уйти, так как эта идея была облечена в форму двойной неизбежности: нести с собой смерть или идти ей навстречу, убить или быть убитым; ничем другим нельзя было остановить то слепое движение, которое олицетворял собой

Александр Вольф. И это вообще было одно из самых непреодолимых представлений, заключавших в себе одновременно вопрос и ответ, потому что во все времена люди отвечали на убийство убийством, будь это война или суд присяжных, столкновение чувств или интересов, возмездие или справедливость, нападение или защита.

В чем была соблазнительность именно этой формы преступления, — независимо от того, как это понималось или какие внешние причины или побуждения вызывали его? В этих нескольких секундах насильственного прекращения чьей то жизни заключалась идея невероятного, почти нечеловеческого могущества. Если каждая капля воды под микроскопом есть целый мир, то каждая человеческая жизнь содержит в себе, в своей временной и случайной оболочке, какую то огромную вселенную. Но даже если отказаться от этих преувеличенных — как под микроскопом — представлений, то все же остается другая очевидность. Всякое человеческое существование связано с другими человеческими существованиями, те в свою очередь связаны со следующими, и когда мы дойдем до логического конца этой последовательности взаимоотношений, то мы приблизимся к сумме людей, населяющих громадную площадь земного шара. Над каждым человеком, над каждой жизнью висит постоянная угроза смерти во всем ее бесконечном разнообразии: катастрофа, крушение поезда, землетрясение, буря, война, болезнь, несчастный случай — какие то проявления слепой и беспощадной силы, особенность которых заключается в том, что мы никогда не можем заранее определить минуты, когда это произойдет, этот мгновенный перерыв в истории мира. «Ибо не ведаете ни дня, ни часа» . . . И вот, тому из нас, у кого хватит душевной силы на преодоление страшного сопротивления этому, вдруг дается возможность стать на какое то короткое время сильнее судьбы и случая, землетрясения и бури, и точно знать, что в такую то секунду он остановит ту сложную и длительную эволюцию чувств, мыслей и существований, то движение многообразной жизни, которое должно было бы раздавить его в своем неудар-

жимом ходе вперед. Любовь, ненависть, страх, сожаление, раскаяние, воля, страсть — любое чувство и любая совокупность чувств, любой закон и любая совокупность законов — все бессильно перед этой минутной властью убийства. Мне принадлежит эта власть и я тоже могу стать ее жертвой и если я испытал ее притягательность, то все остальное, находящееся вне пределов этого представления, мне кажется призрачным, несущественным и неважным и я не могу уже разделять того интереса ко множеству незначительных вещей, которые составляют смысл жизни для миллионов людей. С той минуты, что я знаю это, мир для меня становится другим и я не могу жить как те, остальные, у которых нет ни этой власти, ни этого понимания, ни этого сознания необыкновенной хрупкости всего, ни этого ледяного и постоянного соседства смерти.

Это было простым логическим выводом из той своеобразной философии, отрывки которой мне излагал Вульф, проявление той идеи неподвижности, совершенно для меня неприемлемой, но против которой можно было бороться только ее же оружием; и применение этого способа борьбы невольно приближало ко мне зловещий и мертвый мир, призрак которого преследовал меня так давно. Что можно было еще противопоставить этой философии и почему каждое ее слово вызывало у меня внутренний и неизменный протест? Я тоже знал и чувствовал всю хрупкость так называемых положительных концепций и я тоже знал, что такое смерть, но я не испытывал ни страха перед ней, ни ее притяжения. Было нечто трудно определяемое, что не позволяло мне дойти до конца в этой тягостной области понимания последних истин. Я так напряженно думал об этом, что мне даже начало казаться, будто я слышу какой то приближающийся шум, так, точно он должен был, усиливаясь, дойти до меня. Мне казалось, что я знаю ответ на этот вопрос и знал его всегда, и он был настолько естественен и очевиден, что у меня никогда, — в последнюю минуту — не могло бы возникнуть сомнение в том, каким именно он должен был быть. Но сейчас, сегодня, в эту минуту — я не мог его найти.

Я вынул папиросу и зажег спичку, которая вспыхнула и моментально погасла, оставив после себя запах недогоревшего фосфора. И тогда я ясно увидел перед собой густые деревья сада в медном свете луны и седые волосы моего учителя гимназии, который сидел рядом со мной на изогнутой деревянной скамье. Была ранняя осень и ночь. Утром следующего дня начинались мои выпускные экзамены. Я работал весь вечер и потом вышел в сад. Когда я проходил по длинному гимназическому корридору, товарищи, которых я встретил, сказали мне, что час тому назад одна из наших учительниц, молодая женщина двадцати четырех лет, покончила с собой. В саду я увидел учителя, сидевшего на скамейке. Я сел рядом с ним, достал папиросу, зажег спичку, — и вот, тогда, как теперь, она сразу потухла и я почувствовал тот же самый запах.

Я спросил его, что он думает о смерти этой женщины и о жестокой несправедливости ее судьбы, если можно применить к таким понятиям, как судьба и смерть, наши привычные слова — жестокий, печальный, незаслуженный. Он был очень умный человек, быть может, самый умный из всех, кого я когда либо знал и замечательный собеседник. Даже люди замкнутые или озлобленные чувствовали по отношению к нему необыкновенное доверие. Он никогда не злоупотреблял ни в малейшей степени своим огромным — душевным и культурным — превосходством над другими и поэтому говорить с ним было особенно легко.

Он сказал мне тогда, между прочим:

— Нет, конечно, ни одной заповеди, справедливость которой можно было бы доказать неопровержимым образом, как нет ни одного нравственного закона, который был бы непогрешимо обязателен. И этика вообще существует лишь постольку, поскольку мы согласны ее принять. Вы спрашиваете меня о смерти. Я бы сказал — о смерти и всех ее бесчисленных проявлениях. Я беру смерть и жизнь условно, как два противоположных начала, охватывающих, в сущности, почти все, что мы видим, чувствуем и постигаем. Вы знаете, что закон такого

противопоставления есть нечто вроде категорического императива: вне обобщения и противопоставления мы почти не умеем мыслить.

Это было непохоже на то, что он говорил нам в классе. Я слушал его, не пропуская ни одного слова.

— Я устал сегодня — сказал он, — надо идти спать. А вы занимались, готовились к экзамену? Я бы хотел быть на вашем месте.

Он поднялся со скамейки; я встал тоже. Листья были неподвижны, в саду стояла тишина.

— У Диккенса где то есть одна замечательная фраза — сказал он. — Запомните ее, она стоит этого. Я не помню, как это сказано буквально, но смысл ее такой: нам дана жизнь с неперменным условием храбро защищать ее до последнего дыхания. Спокойной ночи.

И вот теперь я так же встал с кресла, как тогда со скамьи, на которой сидел рядом с ним и повторял эти слова, которые как то особенно значительно звучали сейчас:

— Нам дана жизнь: с неперменным условием храбро защищать ее до последнего дыхания.

*
**

И в эту минуту затрещал телефон. Я снял трубку. Голос Елены Николаевны спросил:

— Куда ты пропал? Я по тебе соскучилась. Что ты сейчас делаешь?

И после того, как я услышал первый звук этого голоса, привычно измененный телефоном, я сразу забыл все, о чем только что думал, — так мгновенно и глубоко, точно этого никогда не существовало.

— Я встаю с кресла — сказал я. — В левой руке я держу телефонную трубку. Правой рукой я кладу в карман пиджака папиросы и спички. Затем я смотрю на часы: теперь без пяти шесть. В четверть седьмого я буду у тебя.

Мы пообедали рано, часов в семь. Она была в легком летнем платье, мы сидели в ее комнате и пили чай с необычно-

венно вкусным шоколадным тортом, который приготовила Анни; он трещал и таял во рту и в нем был очень приятный оттенок какой то неуловимой пряности.

— Как ты находишь торт?

— Замечательный — сказал я. — В нем, однако, есть что то негритянское, но так сказать, приятно негритянское, вроде каких то отдаленных отзвуков их пения.

— Ты впадаешь в лиризм только при очень определенных обстоятельствах.

— Можно узнать, какие это обстоятельства?

— О, это очень несложно. Есть две вещи, к которым ты всегда неравнодушен: это во первых, еда, во вторых, женщины.

— Спасибо за лестное мнение. Можно тебе выразить в таком случае сочувствие по поводу твоего выбора?

— Я тебе не сказала, что нахожу эти черты отрицательными.

Я был пьян от ее присутствия и это, наверное, было в моих глазах, потому что она заметила мне:

— Какой ты нетерпеливый, какой ты жадный! Тебе необходимо держать меня именно так, обхватив рукой мое тело и сжимая мне ребра?

— Когда мне будет шестьдесят лет, Леночка, я буду думать о тщете всего земного и о неверности чувств. Я думаю об этом иногда даже теперь.

— Наверное тогда, когда отсутствуют именно те обстоятельства, при которых проявляется твоя склонность к лирике.

Я замечал в ней новую черту, которой не было в начале нашей с ней близости: она нередко дразнила меня, но всегда по товарищески, без какого бы то ни было желания сказать мне что нибудь действительно неприятное. Может быть, это происходило оттого, что ее заражало мое ироническое отношение ко многим вещам и она невольно впадала в этот тон. Кроме того, мне казалось несомненным, что она понемногу обретала ту душевную свободу и ту непосредственность, отсутствие которых было так очевидно раньше.

Я предложил ей поехать за город на несколько дней; она тотчас же согласилась. Утром следующего дня мы выехали на автомобиле из Парижа, и в течение целой недели, без определенного назначения, мы путешествовали на расстоянии ста или ста пятидесяти километров от города. Однажды, когда неожиданно оказалось, что в резервуаре больше не оставалось бензина, мы вынуждены были ночевать в лесу, в автомобиле. Была гроза с сильным дождем и при свете молнии я видел, сквозь забрызганные стекла машины, деревья, обступавшие нас со всех сторон. Елена Николаевна спала, скорчившись на сиденьи и положив мне на колени свою теплую и тяжелую голову. Я сидел и курил; и когда я опускал на секунду оконное стекло, чтобы стряхнуть пепел с папиросы, в мои уши врывался трепещущий звук бесчисленных капель по листьям; пахло землей и мокрыми стволами деревьев. Где то недалеко, с влажным хрустом, ломались маленькие ветки, потом дождь стихал на минуту, затем снова блестела молния, гремел гром и опять струи воды с прежней силой начинали стучать по крыше автомобиля. Я боялся двинуться, чтобы не разбудить Елену Николаевну, мои глаза слипались и голова откидывалась назад, и я думал, засыпая и тотчас же просыпаясь, о многих вещах одновременно и прежде всего о том, что как бы ни сложилась в дальнейшем моя жизнь и какие бы события ни случились, я запомню навсегда эту ночь, голову женщины на моих коленях, этот дождь и то состояние полусонного счастья, которое я ощущал тогда. По давней привычке задерживать каждое мое чувство и стараться его понять, я все искал, откуда и почему я так давно и так слепо знал, что однажды я испытаю это счастье и что в нем даже не будет ничего неожиданного, точно это законная естественная вещь, которая всегда была мне суждена. И тогда же мне пришла мысль, что если бы я захотел понять это все и найти где то в далеком пространстве ту воображаемую минуту, с которой это началось, если бы я захотел выяснить до конца, как это произошло и почему это стало возможно и как теперь я оказался летом, в лесу, ночью, под дождем, с женщиной, о существовании которой я ничего

не знал еще несколько месяцев тому назад, и вне которой, однако, сейчас я не мог бы представить себе свою жизнь, мне нужно было бы потратить годы труда и утомительных усилий памяти и я мог бы написать об этом, наверное, несколько книг. Этот ровный шум дождя, это ощущение головы, лежавшей на моих коленях — и мои мускулы уже начали привыкать к отпечатку этой круглой и нежной тяжести, которую они испытывали, — это лицо, на которое я смотрел в темноте, точно наклоняясь над своей собственной судьбой, и это незабываемое ощущение блаженной полноты, — как, в конце концов, это было возможно? За свою жизнь я видел столько трагического или отвратительного, я столько раз видел измену, трусость, отступничество, алчность, глупость и преступление, я был настолько отравлен всем этим, что, казалось, я не был уже способен почувствовать нечто, в чем было бы хотя бы отдаленное отражение хотя бы кратковременного совершенства. В эти часы я был далек от сомнений, которые обычно меня не покидали, от неизменного ощущения печали, от насмешки, — в общем от того, что составляло сущность моего постоянного отношения ко всему, что со мной происходило. Мне казалось, — если бы не было того, что было теперь, то жизнь моя была бы прожита даром, и это всегда будет так, что бы ни случилось потом.

Я никогда не ощущал этого с такой ясностью, как в ту ночь; я не мог не отдавать себе отчета в том, что этой особенной чистоты ощущений в моей жизни не было никогда. Все было сосредоточено — в этот промежуток времени — на одной единственной мысли; и хотя она заключала в себе все, что я знал и думал, и все, что предшествовало именно этому промежутку времени, в ней конечно был тот элемент неподвижности, о котором говорил Вольф. В конце концов, он, может быть, был прав: если бы мы не знали о смерти, мы не знали бы и о счастье, так как, если бы мы не знали о смерти, мы не имели бы представления о ценности лучших наших чувств, мы бы не знали, что некоторые из них никогда не повторятся и что только теперь мы можем их понять во всей их полноте.

До сих пор это не было нам суждено, потом будет слишком поздно.

Это, в частности, было одной из причин, которые побуждали меня не рассказывать Елене Николаевне историю Вольфа. Я вовсе не собирался ее скрывать, наоборот, я неоднократно думал, как именно я ее расскажу. Но в эти дни мне не хотелось, чтобы в тот мир, в котором мы жили, вошло нечто чуждое и враждебное ему. Я полагаю, что Елена Николаевна думала так же, как я, потому что за всю неделю она не вспомнила о «свидании с призраком», о котором я ей говорил.

Я неоднократно вспоминал о том, что если бы я записал за это время все мои разговоры с Еленой Николаевной, то получился бы какой-то непонятный вздор, обидный по отсутствию мысли. Он сопровождал те переливы чувств, которые были характерны для этого периода, и вне которых для нас ничто не существовало и все окружающее казалось забавным или смешными, — узоры обоев в гостиницах, где мы ночевали, лица горничных или хозяек или меню обедов, или костюмы наших соседей по столу или те совершенно незначительные вещи, которые их занимали, — потому что единственные вещи, имевшие действительно важное значение, знали только мы двое и больше никто.

Мы вернулись в Париж ровно через неделю. Меня ждала спешная работа, в которой Елена Николаевна, по обыкновению, приняла деятельное участие. Первый день прошел как всегда. Но когда она разбудила меня на следующее утро, меня поразило выражение тревоги, которое, как мне показалось, промелькнуло несколько раз в ее глазах. Затем она ответила мне невпопад — чего с ней никогда не случалось до сих пор.

— Что с тобой?

— Ничего — сказала она. — Это может быть глупо, но мне хотелось спросить тебя одну вещь.

— Да?

— Ты меня действительно любишь?

— Мне так казалось.

— Мне это хотелось выяснить.

— Сколько тебе лет?

— Нет, правда, это важно знать.

Я расстался с ней, как обычно, поздно ночью, она жаловалась, что устала, и сказала, что завтра придет ко мне только в четыре часа дня.

— Хорошо — сказал я, — тебе будет полезно отдохнуть.

*
**

Я сразу заснул крепким сном, но очень скоро проснулся. Затем я задремал опять — и через час снова открыл глаза. Я не мог понять, что со мной, я даже подумал, не отравился ли я чемнибудь. Я испытывал нечто похожее на беспричинную тревогу, тем более непонятную, что для нее действительно не было, казалось бы, никаких оснований. Но сон решительно бежал от меня, и в шестом часу утра я встал. Таких вещей со мной не случалось много лет.

Убедившись окончательно в том, что я больше не засну, я выпил чашку черного кофе, принял ванну и начал бриться. Из зеркала на меня смотрело мое лицо; и хотя я видел его каждое утро моей жизни, я все не мог привыкнуть к его резкой некрасивости, как я не мог привыкнуть к чужому и дикому взгляду моих собственных глаз. Когда я думал о себе, о чувствах, которые я испытывал, о вещах, которые, как мне казалось, я так хорошо понимал, я представлял себе самого себя чем то почти отвлеченным, так как иное, зрительное воспоминание мне было тягостно и неприятно. Самые лучшие, самые лирические или самые прекрасные видения тотчас же исчезали, едва я вспоминал о своем физическом облике, — настолько чудовищно было его несоответствие с тем условным и сверкающим миром, который возникал в моем воображении. Мне казалось, что не может быть большего контраста, чем тот, который существует между моей душевной жизнью и моей наружностью, и мне казалось иногда, что я воплощен в чьей то чужой и почти ненавистной оболочке. Я спокойно переносил вид своего голого тела, в сущности нормального, на котором

все мускулы двигались послушно и равномерно и были расположены именно так, как нужно; это было обыкновенное и невыразительное тело без излишней худобы и без лишнего жира. Но там, где начиналось лицо, это переходило в нечто настолько противоположное тому, каким оно должно было, казалось бы, быть, что я отводил от зеркала этот взгляд чужих глаз и старался об этом не думать. И теперь, после бессонной ночи, это неприятное ощущение было еще сильнее, чем обычно.

Я только что кончил одеваться и собирался сесть за работу, как вдруг в моей комнате раздался телефонный звонок. Я с удивлением посмотрел на часы: было без двадцати шесть. Я не понимал, кто мне мог звонить так рано. После некоторого колебания я снял трубку. Совершенно пьяный голос, в котором, однако, я уловил какие то знакомые интонации, сказал:

— Доброе утро, моя дорогая.

— Что это за история?

— Ты меня не узнаешь?

Это был мужчина, которому хотелось, чтобы его приняли за женщину — и тогда я, действительно, узнал этот голос. Он принадлежал одному из моих товарищей по газетной работе, очень милому и очень беспутному человеку. Время от времени он напивался буквально до потери рассудка и это почти всегда сопровождалось неправдоподобными историями: то он хотел ночью ехать с визитом к какому то сенатору, который будто бы его приглашал на днях, то отправлялся на Place de le Bourse посылать телеграмму своей тетке, жившей в Лионе, о том, что он совершенно здоров, «вопреки распространяемым о нем слухам».

— Как ты наверное догадался, — продолжал он более или менее связно — я встретил товарища, который меня пригласил... Одэт, не дергай меня, пожалуйста, я вполне трезв.

Одэт была его жена, очень спокойная и неглупая женщина. Через секунду я услышал ее голос, — она, повидимому, отобрала у него трубку.

— Здравствуйте, — сказала она — этот пьяный дурак звонил вам по делу.

— Скажи ему, что это замечательный матерьял.

— Это дело в том, что ваш протеже, курчавый Пьеро, будет вот-вот арестован. Филип на допросе сказал все, что мог. Андрей — это был ее муж — настолько пьян, что не способен ни к чему. Матерьял для статьи, действительно, замечательный. Я знаю, что вы не любите гангстерских историй и мелодрам. Вы говорите, что это плохая литература? Я бы вас не беспокоила, но речь идет о вашем хорошем знакомом. Поезжайте к Жану; я бы на вашем месте захватила револьвер. Да, на всякий случай.

— Спасибо, Одэт, — сказал я — считайте, что я перед вами в долгу. Я еду.

— Хорошо, — ответила она и аппарат щелкнул.

Жан, к которому я должен был ехать, был инспектор полиции, я его знал довольно давно и у меня с ним были хорошие отношения. Он обладал удивительным даром перевоплощения, — или, вернее, был жертвой своеобразного раздвоения личности. Когда он вел свою профессиональную работу и допрашивал, например, очередного клиента, его шляпа всегда была сдвинута на затылок, папироса была в углу рта и он говорил отрывисто, односложно и почти исключительно на арго. Но как только он обращался к следователю или журналисту, он мгновенно менялся и превращался в человека с явно светскими претензиями. — Если вы сообразовитесь дать себе труд предварительно, так сказать, проанализировать некоторые из тех данных . . . Надо было полагать, что это именно он допрашивал Филипа, который был правой рукой курчавого Пьеро. Судя по всему, через некоторое время полицейский автомобиль должен был выехать в Севр, где скрывался Пьеро, и на этот раз ему вряд ли удастся уйти. Я задумался на минуту — потом снял трубку и позвонил. Я помнил, что телефон стоял у постели Пьеро. Через секунду раздраженный женский голос спросил:

— В чем дело?

— Позовите Пьеро — ответил я. — Скажите ему, что звонят с улицы Лафайет.

Это было условное название.

— Его нет, он еще не вернулся. Филип пропал с позавчерашнего утра, я не знаю, что думать.

— Филип выдал все — сказал я. — Постарайтесь найти Пьеро где бы то ни было и во что бы то ни стало и предупредите его. Скажите ему, чтобы он не возвращался домой. Через час будет поздно.

Затем я повесил трубку, достал из письменного стола револьвер, проверил, заряжен ли он — он был заряжен — положил его в карман пиджака и вышел из дому. Потом я взял такси и поехал к Жану.

Все это отвлекло меня от той душевной тревоги, которую я испытывал, и сидя в автомобиле, я думал теперь об участии «курчавого Пьеро», "Pierrot le frisé", которого я хорошо знал и которого мне было жаль, хотя, с точки зрения классического правосудия, он, казалось бы, не заслуживал никакого сожаления: он был профессиональным грабителем и на его совести было несколько человеческих жизней. Я познакомился с ним лет шесть тому назад, после того как он застрелил первую свою жертву, бывшего боксера Альберта. Я тогда случайно попал в кафе — это было часа в четыре утра, — где находился его негласный штаб, о чем я не имел ни малейшего представления. Я сидел за столиком и писал. У стойки орали и ссорились пьяные люди, потом вдруг наступила мертвая тишина и кто то — я ничего тогда еще не знал о нем — сказал с необыкновенной выразительностью и с неожиданной, после этих ревуших голосов, которые напоминали рычание разъяренных зверей, человеческой интонацией:

— Ты хочешь, чтобы с тобой случилось то, что с Альбертом?

Ответа не последовало. Я продолжал писать, не поднимая головы. Кафе опустело.

— Они испугались — сказал тот же голос. — А это кто? Речь шла обо мне.

— Не знаю — ответил хозяин. — Первый раз вижу.

Я услышал шаги, приближавшиеся к моему столику, поднял глаза и увидел человека среднего роста, очень плотно сложенного, с бритым, мрачным лицом, он был в светло-сером костюме и синей рубашке с ярко желтым галстуком. Меня удивило жалобное выражение его глаз, объяснявшееся, повидимому, тем, что он был пьян. Он встретил мой взгляд и спросил без всякой подготовки:

— Что ты здесь делаешь?

— Пишу.

— А? Что же ты пишешь?

— Статью.

— Статью?

— Да.

Это его, казалось, удивило.

— Ты, значит, не из полиции?

— Нет, я журналист.

— Ты меня знаешь?

— Нет.

— Меня зовут «курчавый Пьеро».

Тогда я вспомнил, что несколько дней тому назад в двух газетах были заметки о смерти боксера Альберта, судившегося четырнадцать раз и многократно сидевшего в разных тюрьмах. Заметки были озаглавлены: «Драма среди преступников» и «Сведение счетов»; там упоминалось еще о какой то женщине, из за которой будто бы все это произошло. «Полиция почти не сомневается, что виновник этого преступления — Пьер Дьёдоннэ, по прозвищу «курчавый Пьеро», который сейчас усиленно разыскивается. По последним сведениям он успел покинуть Париж и находится, вероятнее всего, на Ривьере».

И вот, этот самый Пьеро стоял передо мной, в кафе на бульваре St-Denis.

— Ты, значит, не уехал на Ривьеру?

— Нет.

Потом он сел против меня и задумался. Через несколько минут он спросил:

— О чем ты, собственно говоря, пишешь вообще?

— О чем придется, о самых разных вещах.

— А романов ты не пишешь?

— До сих пор не писал, но может быть, когданибудь напишу. Почему это тебя интересует?

Мы разговаривали с ним так, точно нас давно связывали дружеские отношения. Он спросил, как моя фамилия и в каких газетах я работаю. Потом сказал, что при случае может мне рассказать много интересного, пригласил меня какнибудь зайти в это же кафе, и мы с ним расстались.

Потом я встречался с ним еще много раз и он, действительно, рассказал мне интересные вещи. Нередко случалось, что, благодаря его откровенности, я располагал сведениями, которыми не располагала полиция, так как его осведомленность в определенной области была исключительной. Он был, несомненно, человек незаурядный, у него был природный ум и этим он резко выделялся среди своих «коллег», которые чаще всего отличались столь же несомненной глупостью. Он так же, как большинство его товарищей по ремеслу, отчаянно играл на скачках и читал каждый день газету "Veine"; но кроме этого, он иногда читал книги и, в частности, романы Декобра, которые ему очень нравились.

— Вот это написано! — говорил он мне. — А? Что ты скажешь?

Мне всегда казалось, что он плохо кончит — не только потому, что его ремесло было само по себе чрезвычайно опасным, но и по иной причине: его все тянуло к каким то для него незаконным, в сущности, вещам и он понимал разницу между теми интересами, которыми он жил, и теми, которыми жили другие, бесконечно от него далекие люди.

Он как то приехал на Бюгати красного цвета; он был в новом светло-коричневом костюме, со своим любимым желтым галстуком и все те же кольца блестели на его пальцах.

— Как ты все это находишь? — спросил он меня. — В таком виде я могу ехать на прием в посольство, как те типы, о которых пишу в газетах. А? «Мы заметили» . . .

Я отрицательно покачал головой; это его удивило.

— Ты находишь, что я плохо одет?

— Да.

— Я? Ты знаешь, сколько я заплатил за костюм?

— Нет, но это неважно.

Я никогда не думал, что моя отрицательная оценка его манеры одеваться способна так его огорчить. Он сел против меня и сказал:

— Объясни мне, почему ты находишь, что я одет не так, как нужно?

Я объяснил ему, как мог. Он был очень озадачен. Я прибавил:

— Кроме того, только потому, как ты одет, тебя очень легко отличить. Какойнибудь тип, у которого есть известный опыт, ты понимаешь, — ему не нужно знать тебя в лицо или спрашивать у тебя бумаги. Только по твоему костюму, галстуку и кольцам он будет знать, с кем имеет дело.

— А мой автомобиль?

— Это гоночная машина. Зачем она тебе в городе? Их мало, они все на перечет. Возьми среднюю машину темного цвета, на нее никто не обратит внимания.

Он сидел молча, подперев голову рукой.

— Ты что? — спросил я.

— Меня переворачивает, когда ты так говоришь, — сказал он. Я начинаю понимать то, что не нужно понимать. Ты говоришь, что книги, которые мне нравятся, плохие книги. Ты в этом знаешь больше, чем я. Я не могу разговаривать с тобой, как равный, потому что у меня нет образования. Я низший человек, *je suis un inferieur*, вот в чем дело. И кроме этого, я бандит. И другие люди выше меня.

Я пожал плечами. Он внимательно на меня посмотрел и спросил:

— Скажи мне откровенно: ты думаешь так же, как я?

— Нет — сказал я.

— Почему?

— Ты, конечно, бандит, — сказал я, — ты не так оде-

ваешься, как, может быть, следовало бы, и тебе не хватает известного образования. Все это верно. Но если ты думаешь, что какойнибудь известный человек, о котором ты читаешь в газетах, банкир, министр, сенатор лучше тебя — это ошибка. Он работает и прежде всего меньше рискует. Ему говорят «господин председатель» или «господин министр». Он иначе — и лучше — одет, и у него, конечно, есть некоторое образование, хотя тоже далеко не всегда. Но как человек он не лучше тебя, так что ты можешь не волноваться. Не знаю, утешает ли это тебя, но это, по моему, так.

Пьеро очень любил женщин и большинство его «счетов», которые так трагически кончались, бывало именно из за женщин.

— Может быть, из за них то ты когданибудь и погибнешь *peut-être bien, tu mourras par les femmes* — сказал я ему. — И, главное, из за таких, которые этого не стоят.

Это было нетрудно предвидеть. И то, что теперь, когда я подъезжал в такси к конторе Жана, местопребывание Пьеро стало известно тем, от кого его было нужнее всего скрыть, — этим он был тоже обязан женщине.

Его положение было безвыходным. За последнее время его деятельность стала особенно бурной, грабежи следовали за грабежами и в полиции, наконец, подняли на ноги всех, от кого можно было ожидать какойнибудь помощи в его деле. Женщина, из за которой все это произошло, была женой Филипа, помощника Пьеро. Филип был огромный мужчина, совершенный Геркулес, не боявшийся, по его собственным словам, ничего и никого на свете, кроме своего патрона, который был знаменит тем, что стрелял без промаха.

Эту женщину, которая недавно стала любовницей Пьеро, — я думаю, что инспектор Жан именно поэтому и добился признаний Филипа — я видел несколько раз. С тем неизменным дурным вкусом, который отличал всю среду, в которой она жила, ее прозвали Пантерой. У нее были огромные, дикие глаза синего цвета под синими же ресницами, туго вьющиеся, черные волосы, которым никогда не нужна была никакая прическа,

очень большой рот с крупными, всегда густо накрашенными губами, маленькая грудь и гибкое тело — и я никогда не видел более свирепого существа. Она кусала своих любовников до крови, визжала и царапалась, и кажется, никто не слышал, чтобы она когда нибудь говорила спокойным голосом. Недели три тому назад она бросила Филипа и ушла к Пьеро — и это она ответила мне по телефону, когда я позвонил в Севр, перед тем, как ехать к инспектору Жану.

Когда я вошел к нему, он сидел на стуле, в своей сдвинутой шляпе. Против него, поставив локти на колени, сидел Филип, в наручниках. У него было бледное и грязное лицо со следами засохших струй пота. От него вообще сильно пахло потом, он был очень грузен, в комнате было душно и жарко. Жан говорил ему:

— На этот раз довольно. Ты хорошо сделал, что был откровенным. Если бы ты молчал, я бы недорого дал за твою шкуру. Теперь ты посидишь немного в тюрьме и больше ничего. Для человека с твоим здоровьем это пустяки.

Я посмотрел на Филипа, он опустил глаза. Двое полицейских его вывели.

— Я предполагаю — сказал Жан, обращаясь ко мне, — и льщу себя надеждой, что вы разделяете мое предположение... я предполагаю, что Пьеро спит сейчас сном праведных. Насколько ходячие выражения бывают иногда условны! Наши общие друзья мне звонили, что вы хотели бы поехать с нами. Не так ли?

— Да — сказал я — меня ждет такси.

— Мы выезжаем через пять минут.

Было около семи часов утра, когда полицейский автомобиль остановился в нескольких метрах от маленького особняка, в котором жил Пьеро. Ставни его были затворены. Утреннее солнце, уже горячее, освещало неширокую улицу. В этот ранний час было очень тихо.

Я остановил такси позади полицейской машины и вышел, хлопнув дверцей. Меня давила вялая и тяжелая тоска. Я поставил себе Пьеро, одного — потому что на помощь своей

любовницы он не должен был, конечно, рассчитывать — в этом закрытом и темном доме, из которого он не мог уйти. Из невысокого бокового окна можно было, правда, выпрыгнуть в маленький садик, примыкавший к дому, но вдоль его решетки стояли полицейские. Никакое бегство в этих условиях не было возможно.

Полицейских было шесть человек. На всех лицах было одно и то же смешанное выражение мрачности и отвращения. Я чувствовал, как мне казалось, что мое лицо выражало то же самое.

Один из полицейских постучал в дверь и крикнул, чтобы отворили.

— Отойдите в сторону — сказал Жан, — он может выстрелить.

Но выстрела не последовало. Я начал надеяться, что Пьеро, может быть, успели предупредить. После слов инспектора наступила напряженная тишина, за которой чувствовалось, в темном доме, присутствие притаившегося человека с его страшным револьвером в руке. Его репутацию стрелка знали все полицейские.

— Пьеро — сказал Жан — предлагаю тебе сдать. Ты нас избавишь от тяжелой работы. Ты знаешь, что ты не можешь уйти.

Ответа не было. Прошла еще минута томительного молчания.

— Я повторяю, Пьеро, — сказал Жан, — сдавайся.

И тогда из этой тишины раздался голос, при первых звуках которого я почувствовал холод в спине. Это был тот же, непостижимо спокойный и человечески-выразительный голос Пьеро, который я так хорошо знал и который сейчас казался мне особенно страшен, потому что через несколько минут — если бы не произошло чуда — он должен был замолкнуть навсегда. И то, что в этом голосе слышалась свежая сила молодого и здорового человека, казалось невыносимо тягостно.

— Все равно — сказал он. — Если я сдам, меня ждет гильотина. Я бы хотел умереть иначе, *je voudrais mourir autrement*.

То, что последовало за этим, произошло с неправдоподобной быстротой. Я услышал, как затрещали ветки в саду, затем раздался выстрел и один из полицейских, стоявших у решетки, грузно рухнул на землю. Я видел, как Пьеро вскарабкался на эту решетку — ему мешал револьвер, который он держал в руке, — потом спрыгнул с нее уже на улицу и в эту секунду выстрелы затрещали со всех сторон. Никто из полицейских, кроме того, который был убит возле решетки, не был ранен, это казалось мне удивительным. Они все бросились к тому месту, где упал Пьеро. Я понял потом, почему ни один из них не пострадал: первая же пуля попала Пьеро в руку, в которой он держал револьвер, и разможила ему пальцы. Он лежал буквально в луже крови, я никогда не думал, что у человека столько крови. Но он еще хрипел. Полицейские стояли вокруг него. Я подошел вплотную. Что то булькало не то в горле, не то в легких Пьеро. Потом это бульканье прекратилось. Глаза Пьеро встретили мой взгляд и тогда раздался его хрип:

— Спасибо. Было слишком поздно.

Я не знаю, как у него хватило силы это сказать. Я стоял неподвижно и слышал, как стучат мои зубы от бессильного волнения, бешенства и внутреннего, нестерпимого холода.

— Вы предупредили его? — спросил меня Жан.

Я молчал несколько секунд. Пьеро дернулся в последний раз и умер. Тогда я сказал:

— Я думаю, что он бредил.



Труп Пьеро был увезен. Полицейские уехали. Двое мужчин в рабочей одежде пришли с тачкой песка и засыпали лужу крови на мостовой. Солнце уже стояло высоко. Я расплатился с шофером такси и пошел пешком по направлению к Парижу.

Я не переставал ощущать душевную тошноту и тупую печаль; по временам мне становилось холодно, хотя день был почти жаркий. На следующее утро статья о Пьеро должна была появиться в газете. «Трагический конец курчавого Пье-

ро». Я представил себе редактора и его всегда возбужденное лицо и услышал еще раз его хриплый и отчаянный голос. — Половина успеха — это заглавие. Оно хватает читателя. Это уж ваше дело потом не отпустить его до конца. Никакой литературы. Понятно? Вначале, когда я его мало знал и когда я от него зависел, я с досадой пожимал плечами. Потом я понял, что он был по своему прав и что литература в газетных статьях была, действительно, неуместна.

Как я это делал очень часто, я вошел в первое сравнительно приличное кафе, потребовал бумаги и кофе и, куря папиросу за папиросой, начал статью о Пьеро. Я, конечно, не мог ее написать так, как мне хотелось бы ее написать, и сказать в ней то, что мне хотелось бы сказать. Вместо этого я подробно описывал солнечное утро в мирном предместьи Парижа, особняки на тихих улицах и эту неожиданную драму, которой предшествовала такая бурная жизнь Пьеро. Я не мог, конечно, не посвятить несколько строк «Пантере», воспоминание о которой не вызывало у меня ничего, кроме отвращения. Я писал о Филипе, о баре на Boulevard St-Denis, о биографии Пьеро, которую он мне рассказывал, прибавляя через каждую минуту:

— Ты себе это представляешь?

Потом я вошел в телефонную кабинку и позвонил инспектору Жану.

— Вы не узнали ничего нового?

— Ничего особенного. Пантера, впрочем, уверяет, что сегодня рано утром ей кто то телефонировал и настаивал, чтобы она предупредила Пьеро.

— Почему же она этого не сделала?

— Она говорит, что Пьеро вернулся домой буквально за минуту до того, как мы приехали.

— Это мне кажется неправдоподобным, слишком уж удивительное совпадение. Я даже не знаю, стоит ли упоминать об этом в статье. Кстати, ваша роль там подчеркивается особенно. Нет, нет, я не мог это обойти молчанием.

Я повесил трубку, задумался на несколько минут и, пре-

одолевая отвращение, прибавил четыре строки о «тайнственном телефонном звонке».

Когда я кончил статью и отвез ее в редакцию, было уже около двенадцати часов дня. Я так скверно себя чувствовал, то состояние угнетенности, которое я испытал еще ночью, во время бессонницы, так усилилось, что я почти не замечал ничего происходившего вокруг меня. По привычке, не думая ни о чем, кроме этого тягостного чувства, я вошел в небольшой ресторан, недалеко от Boulevard Montmartre. Но едва я взял в рот первый кусок мяса, я вдруг увидел перед собой труп Пьеро и в эту же секунду мне буквально ударил в нос тот сильный запах пота, который исходил от Филипа, в конце его допроса. Я сделал необыкновенное усилие, чтобы удержать мгновенный позыв к рвоте. Потом я выпил немного воды и ушел из ресторана, сказав удивленной хозяйке, что я плохо себя чувствую и что у меня судороги в желудке.

Был жаркий день, улицы были полны народа. Я шел, как пьяный, безрезультатно стараясь избавиться от невыносимого ощущение тоски и какого то чувственного тумана, через который я все не мог пройти. Я шагал, бессознательно вбирая в себя весь этот шум и не отдавая себе отчета в его точном значении. Время от времени тошнота опять подходила к горлу и тогда мне казалось, что не может быть вообще ничего более трагического, чем эта толпа людей в солнечный полдень на парижских бульварах и все, что происходит сейчас, и что я только теперь понимаю, как давно и как смертельно я устал. Я думал, что хорошо было бы сейчас лечь и заснуть — и проснуться уже по ту сторону этих событий и этих чувств, которые мне не давали покоя.

И вдруг я вспомнил, что в четыре часа Елена Николаевна должна была придти ко мне. Она была единственным человеком, которого я хотел бы видеть сейчас. И я решил не ждать ее и просто поехать к ней. Но даже тогда, когда я поднимался по ее лестнице, эта тупая и тяжелая тоска не оставляла меня. Я, наконец, подошел к ее квартире, достал ключи и с беспокойством отворил дверь. Я не отдавал себе отчета в причине

этого особенного беспокойства, но я понял ее, едва распахнув дверь: из комнаты Елены Николаевны слышались очень повышенные голоса. Я испытал чувство вялого ужаса, не успев подумать о том, чем это могло быть вызвано. Но времени думать у меня уже не было. До меня донесся отчаянный крик Елены Николаевны; неузнаваемый, страшный ее голос кричал:

— Никогда, ты слышишь, никогда!

Я бежал, как во сне, по коридору, который вел к ее комнате. В углу я увидел серое от страха лицо Анни, но я вспомнил об этом только позже. Я не знал, я думаю, в ту минуту, что я давно держу в руке револьвер. Вдруг я услышал грохот и звон разбитого стекла; за ним последовал выстрел и второй крик, в котором не было слов и который был похож на судорожно втягиваемый звук: а!.. а!.. а!.. Но я был уже у полуотворенной стеклянной двери, с порога которой я увидел Елену Николаевну, стоявшую у окна и, в пол-оборота к ней, силуэт мужчины, который, так же, как и я, держал револьвер. Не поднимая руки, почти не целясь, — на таком расстоянии нельзя было промахнуться, — я выстрелил в него два раза подряд. Он повернулся на месте, потом выпрямился и тяжело рухнул на пол.

Несколько секунд я стоял неподвижно и все мутно качалось передо мною. Я заметил, однако, кровь на белом платье Елены Николаевны: она была ранена в левое плечо. Как я узнал потом, она, защищаясь, бросила в стрелявшего стеклянную вазу почти одновременно с тем, как он нажал на курок и этим объяснялось отклонение его пули.

Он лежал теперь во всю длину своего тела, разбросав руки; голова его была почти у ее ног. Я сделал шаг вперед, наклонился над ним и вдруг мне показалось, что время закрубилось и исчезло, унося в этом непостижимо стремительном движении долгие годы моей жизни.

С серого ковра, покрывавшего пол этой комнаты, на меня смотрели мертвые глаза Александра Вольфа.

Гайто Газданов.

Париж, Октябрь 1946 г.

КРОЛИК СИВЗ

I.

Приснилась Варенька . . . Ах, сон, не улетай!

Петр Оскарович, маленький, ссохшийся, не молодой человек, ловит расплывающееся сновидение. Как это было? Позволь . . . Позволь . . .

В незнакомой комнате Варенька стояла у пианино, спиной к Петру Оскаровичу, и, многозначительно оглядываясь на него через плечо, наигрывала мелодию.

— Это не мое. Это — Чайковский . . .

На этом проснулся.

Мелодия? — не вспомнить! Что-то вот так, или так . . . Ну, да Бог с ней! Все разлетелось окончательно.

Петр Оскарович уже давно не пишет, не играет, даже не дает уроков. Выбился из колеи. Профессор консерватории . . . Сейчас странно вспомнить себя в консерваторском зале на экзамене, переживающим вместе с исполнителями — милой Варенькой и другими учениками — волнение и счастье.

Или себя в классе, — гроза!.. Помнит свои словечки: «Здесь рассказывается о рыцаре и даме, а вы изображаете тетушку, штопающую чулки!..» или: «Больше темперамента. Влюбитесь вы, чорт возьми!..» Ученицы трепещут и действительно влюбляются . . . Себя тогдашнего теперь и не вообразить.

Однако, надо вставать и спешить, а то останешься без кофе. Спешить, впрочем, не слишком, а то . . . Инстинкт самосохранения! Кому идти за хлебом? Жена больна и не одета, дочь не одета и работает, Павлов под каким-нибудь предлогом увернется. Кому идти, как не старому папе? Пять этажей вниз — улица, холод, слякоть. Пять этажей вверх — одышка, сердце,

ноги. И вот на лицо обычное утреннее настроение, пасмурное, как небо в маленьком окошке.

Петр Оскарович живет на вышке. Из самолюбия! Пусть внизу распоряжается Павлов. Петр Оскарович сам по себе. Он не деспот и не тиран. Раз они так хотят, вернее — раз так сложилась судьба. Только не о том мечтал он для дочери. Как радовался он ее замужеству, как счастлив был, гуляя с внуком в Булонском лесу. Казалось бы, для ребенка надо было сохранить семью, — пусть только видимость семьи, как зачастую это бывало в прежнее время.

Петр Оскарович осторожно одевается под одеялом — не растрачивать ночное тепло. Смотрит с брезгливостью на умывальник — брр... подумать страшно. Только причесывает перед зеркалом густые, строптивые, седые волосы — артистическая шевелюра, — и идет.

Все вызывает брезгливость. И необходимость дверь запирать на ключ — номерной жилец. И коридор — каждая дверь чужое жилье, маленькое и убогое, как жилье самого Петра Оскаровича: комнаты для прислуги, снимаемые беднотой. И наружная лестница, какие строятся в Париже тоже для прислуг. На ступеньках лужи.

Вот вид с этой лестницы — прелесть! Глаз наслаждается пространством, простором, полетом. Туда, над пепельным городом, где сливается он с тучами. Не разберешь — то ли тучи, то ли синеют горы.

Петр Оскарович выходит через боковую дверь с черной лестницы на парадную, спускается два этажа, останавливается у двери и звонит.

Дверь открыл Павлов. Открыл и скрылся. Хорошо сделал!.. Им трудно друг с другом. Чувство превосходства и у одного и у другого. А превосходства разные. Один — пфф... пренебрежительное фырканье, — ему все нипочем: и деньгу зашибить он мастер, и бутылочку распить в компании, и зубы он всегда скалит. А когда не весел, то лицо такое напряженное, лоб в бледных, тонких морщинах, точно ему — определил как-то про себя в раздражении Петр Оскарович, — думать мучительно

и больно. Сознавал в ту минуту гордое свое превосходство утонченной культуры. Да полно, превосходство ли?

Петр Оскарович идет в единственную отапливаемую комнату. Тут дочь сидит у окна в теплом голубом капоте, голубом тюрбане и рисует; лицо — как нибудь, волосы волнистой линией, платье вырисовывается старательно, — для модного журнала. Дочь хорошо зарабатывает. Ей нельзя мешать.

В семье не принято было здороваться. Петр Оскарович постоял возле, посмотрел, как рисует, потом осторожно спросил про кофе. Кофе уже пили?

— Пили, папочка, — отвечала дочь, не поворачивая головы. — Мы думали, ты ушел.

Петр Оскарович вынул часы, бросил на них озабоченный взгляд. Как будто дело только во времени. Дело было в хлебе. Петр Оскарович ел много хлеба, не справлялся с пайком. Домашние корили его за это.

— Как, ты уже всю карту съел? Сегодня только восемнадцатое. Что же ты будешь делать?

Или бросали друг другу, как бы невзначай, когда Петр Оскарович отрезывал себе кусок: — Это у нас весь хлеб на сегодня?

Петр Оскарович перехватывал тикеты у знакомых, менял на тикеты табак, но без табака тоже не мог обходиться и, расставшись с пайковой пачкой папирос, покупал папиросы поштучно по дорогой цене.

Папироска и сейчас есть в жилетном кармане. Закурить, что ли, и пойти налегке? До столовки осталось полтора часа.

Вырисовывался новый день — крутой холм, на который взбираешься, взбираешься, пока хватит сил, потом к вечеру — спуск в ночь. Сколько еще таких холмов?

Пока он закуривал и искал пепельницу бросить спичку, в комнату вошла жена Ясочка, растрепанная, в пальто поверх капота, в ночных туфлях. И почему то казалось ему, что именно Ясочка, в память ли прежних хороших дней или просто по человечески, по настоящему его жалеет. Разговор был краток.

— Как ты?

— Да ничего.

— Спала сегодня?

— Нет. Заснула было, да стреляли очень.

— Разве?

— Ты не слыхал?

— Нет, кажется, слышал. Сквозь сон. Далеко где то...

Ну, я пойду.

Держась за перила — противный холод гладкой поверхности с примесью въедающейся в поры пыли — пять этажей вниз...

II.

«Хорошо бы умереть»... — эта фраза часто слетала с губ Петра Оскаровича. Тоска ли одолеет, жизнь ли вгонит в тупик — часто теперь встречались тупики, и материальные, и психологические. Болезни ли одолеют и раздумаешься о том, что будет, если он сляжет, обременит своих...

Однако, с некоторых пор, он в каком то мистическом ужасе обрывал самого себя, точно боялся накликать еще новое несчастье.

Эта метаморфоза случилась с ним после одной из бомбардировок, которую пришлось ему пережить в непосредственной близости. Он натерпелся такого страху, когда рушились дома, тучи дыма и пыли заволокли все вокруг, точно черная ночь. Подвал, соседний с тем, куда, в числе других обезумевших людей, вбежал Петр Оскарович, засыпало. В нем было похоронено двадцать человек. Разве о такой смерти мечтают усталые, замученные люди? Они мечтают об упокоении...

Во время этих размышлений ноги сами вынесли Петра Оскаровича на Порт-де-Сен-Клу. Он шел задумавшись, и, когда поднял голову и увидел знакомые места, решил, что это очень кстати и что он пойдет к Николаю Александровичу, сахар ему предложит. Если тот опять возьмет шесть кило, то — прикидывал он мысленно — по двадцать на кило, дважды шесть двенадцать, сто двадцать...

Петр Оскарович за большим не гонится. Перестал гнаться. Устал. Выдохся. Одно время, как и все, подвержен был стихийному безумию быстрого обогащения. Мудрено ли, когда на устах самых скромных, нетребовательных людей — тонны, вагоны, миллионы... Некоторым, действительно, повезло. Могло бы и с ним случиться. Вот было бы торжество! Своих бы обеспечил — это он с особенным чувством удовлетворения переживал, как сладкую месть. Сам поехал бы отдыхать. Мечты!..

Но мечтают все. Не диво встретить на улице старушку, обычно поддерживающую свое существование уроками или вязаньем, которая в азарте остановит вас за рукав и лихорадочной скороговоркой:

— Ищу кирки и лопаты. Верное дело, понимаете?

Петр Оскарович поддавался на «верные дела». Бегал, искал лопаты, напал на след. Вот-вот мелькнула лопата, невзначай, в разговоре. — Где? Не говорят.

Какойнибудь снисходительный собеседник:

— Есть сорок тысяч лопат. Вам двадцать тысяч? Нет, делить нельзя. Берите все.

Петр Оскарович — к старушке, умолять ее взять все. Хорошо, она поговорит. Но необходим образец.

Бегодня за образцом. Образца не дают. Вчера был. Сегодня нет. Нельзя ли без образца? Старушка становится ехидной:

— А может их вовсе и нет, ваших лопат?

— Как нет? Послушайте...

— Да вы то их видели?

— Я не видал, но верный человек...

Старушка насмешливо отмахивается. Ее тоже водят за нос. Она устала, измучена. К тому же ее сейчас больше интересует варенье.

В каком то десятом месте удастся получить образец. Правда, не кирок и не лопат, а складных походных кроватей.

Образец под честное слово — до вечера.

С тяжелым тюком кровати в руках — к старушке. Старушки дома нет. Верно, пошла искать варенье.

С походной кроватью по городу. Показывать кровать тому, другому, третьему. Все интересуются. Просят образец дня на два.

Снисходительный собеседник: — Слушайте, я же не покупаю пятьдесят тысяч кроватей. Мне столько не надо. Я должен показать . . .

Словом, кровати, конечно, тоже уплывут, как уплыли лопаты и многое другое.

Вечером, уже без кровати, к старушке.

Старушка, в ответ на упреки: — Мне за сиденье дома денег не платят. Ищу теперь искусственный шелк.

Петр Оскарович принимается искать шелк. Но теперь — баста.

Он подымается по знакомой лестнице отеля, где живет Николай Александрович, муж Лены.

Что там вышло у Лены с мужем, почему они разошлись, Петр Оскарович делал вид, что это его не касалось. Он поддерживал с зятем дружеские отношения, очень ценил, что зять был хорошей, старинной русской семьи и что внук учился в кадетском корпусе в Версале. Любил этого внука до влажного умиления в больших, добрых глазах. Приносил домой сведения: Юрочка здоров, Юрочка лучше всех написал сочинение, он первый в классе.

— Тук-тук-тук.

— Антрэ!

— К вам можно?

— А, Петр Оскарович! не можно, а нужно, — смеется Николай Александрович. Ласково жмет руку. Он в благодушном настроении. Свеж, выбрит; вероятно хорошо заработал. — Что дома? Все здоровы? А вы сами что какой-то такой? . . . У доктора были? Нехорошо . . .

Петр Оскарович сидит сгорбившись, глубоко уйдя в кресло — поза конченного человека — и, улыбаясь, поддерживает шутливый, приподнятый разговор — как ни странно — о меланхолии.

— Это гордость! — смеется Николай Александрович. — Ах, прелесть какая: ему ничего не нужно! А папиросу хотите?

— Ну, папиросу — да, — усмехается Петр Оскарович тоном капризного ребенка, которому доказали его неправоту. Смехом он маскирует неловкость: открыл перед посторонним какую-то глубину, какую обычно не открывают. Показал слабость. Да нет, он молодец!

— Ведь я знаю, — продолжал он, с наслаждением затягиваясь папиросой, — это состояние происходит у меня от чертовской усталости. Вы правы, надо бы к доктору сходить!.. Да вот и бессодержательность существования тоже. Не тем привыкли мы жить, другими ценностями!

— Ну, еще бы! — отвечал Николай Александрович, искренно в эту минуту любясь стариком. Несчастный, в поношенном пальто, верно еще и голодный — чем кормят в этих столовках? — а говорит о других ценностях. Вот оно: дух!

— На наших вечерах, помните? — заторопился Николай Александрович, желая доставить удовольствие Петру Оскаровичу, — вы были прямо нарасхват.

— Ну уж! — отмахнулся Петр Оскарович. — это, когда я бабам аккомпанировал «Занесло тебя снегом, Россия»?.. Это уж, батенька, был закат. Неинтересно! Давно импульса нет к совершенствованию. А это в искусстве все. Нет, батенька, я человек конченный. Знаю...

С паузами и равнодушным поглядыванием в окно, он выискивал о себе слова наиболее беспощадные.

— Я — человек конченный... Еще будь я человеком большого таланта, то может быть... А так?.. К счастью жить уж осталось недолго!

Беспощадность давала жгучее удовлетворение. Точно растапливалась в груди свинцовая тяжесть. Вот он еще подбавит едкой горечи.

— Я же никому не нужен. И знаете — это хорошо! В этом тоже есть предельная свобода, как и в отсутствии желаний, о котором мы только что говорили...

И вдруг показалось ему, что он разболтался, надоед — по молчанию собеседника, по его опущенным глазам.

— Ну, однако, разнылся я тут! Не сердитесь — это нервы! Ухожу. Что сегодня ночью было? Пролетали?

— Говорят, сбросили. В Орли, Виллакублэ. Еще какое-то место называли . . .

— Не Версаль?

— Нет, — улынулся Николай Александрович. Знаю, мол, твое бо-бо, но не уступлю.

— Не понимаю я вас! Юрочка ведь и здесь мог бы ходить в школу.

— Да для чего? Кабы знать, куда бомбы упадут! Не беспокойтесь, у меня есть насчет Юрки план. Если будет здесь уж очень жарко — а жарко несомненно будет, — я отправлю его в знакомую семью в Тур. Все налажено.

И быстро — явно, чтобы переменить разговор (Петр Оскарович понял: французская семья — родители теперешней Николашиной любовницы):

— Ах, слушайте, дело есть!

Он вынул из шкафа банку консервов.

— Вот! Имеется 10.000 штук. И недорого: 65 франков. Я набавил пятак. Значит 70. И вы можете тоже. Больше не советую, — может не пройти.

— Что это такое? Кролик сивэ? Что значит сивэ? — недовольным тоном, незаинтересованно спрашивал Петр Оскарович. Таил про себя горькую обиду: отстраняют внука. Не мешайся, дескать, не в свое дело. — Уж не знаю, стоит ли?

— Отчего же не стоит? Пятьдесят тысяч на полу не валяются. Сивэ значит рагу . . . Ну, — он шутя подтолкнул его, — действуйте! Ни пуха, ни пера! . .

III.

День пестрый, пятнистый. Пятна разные. Есть радостные — переезд через мост. Не забыть полюбоваться.

В одно окно западная окраина Парижа. Свет. Теплые, хоть и зимние, блекло-зеленые, розовые, белые, голубые цвета

— виллы, небо, деревья. Отражение этих цветов в воде. Река цветная. В другое окно — восток, самый город Париж. Пепельное. Свинцовое. Многочисленные оттенки. Тоже замечательно хорошо. Река опаловая.

Во время переезда Петр Оскарович несколько раз переводит глаза от одного окна к другому. Запечатлеть, сравнить настроение пейзажей.

Потом большое, унылое, мрачное пятно: приехал!

Не умеет Петр Оскарович вести деловые разговоры. Среди серьезного вдруг улыбнется жалобно: вот чем теперь приходится заниматься. А если откажут — нелепо и неожиданно для самого себя обрадуется, что дело, хоть и не вышло, да кончено. Больше предлагать некому.

Петр Оскарович завидует уменью деловых людей и во внешности бессознательно копирует их. То походка, как у Павлова, ужом-ужом, юркая, вихляющаяся, то еще кого-нибудь скопирует из «удачников» — стальной, повелительный, действует энергично.

Таким — представляется ему — он входит.

На деле же люди видят, входит длинноволосый профессор с нервным и несколько раздраженным лицом — устал он очень — и иронически подняв брови, вытаскивает из кармана пальто предмет, завернутый в газетную бумагу, с таким видом, будто собирается сейчас всех удивить.

— А, Петр Оскарович! — говорит хозяин. — Давно вас не видно. Как поживаете? Почему никогда не заходите?

Петр Оскарович, ощущая себя стальным и повелительным, говорит нелюбезным тоном:

— Где ж тут ходить! Жизнь собачья. Хуже! Я хотел бы сейчас быть собакой, — фыркает он сердито. — Я вот, собственно, с чем пришел, — сует он хозяину в руку предмет. — Может быть можно что-нибудь устроить?

Потом лавирует по комнате так, чтобы опуститься в кресло, а не на хрупкий стул, подставленный ему хозяином, — отдохнуть. И сидит, пока хозяин идет куда-то говорить по

телефону, пропадает на полчаса. Хозяйка стройная, красивая женщина с бархатными глазами.

Они говорят сначала о кушаньях.

— Помните, жареного поросенка. Корочка хрустит, сам нежный . . .

— И не говорите! А помните расстегаи у Тестова?

Переходят на рестораны, потом на цыганское пение, на музыку, на театры, поэзию.

«Шлейф, забрызганный цветами,
Синий, синий, синий взор.
Меж землей и небесами
Вихрем поднятый костер.

Жизнь и смерть в круженьи вечном . . . »

Голос хозяйки приятно журчит. Петр Оскарович вдруг начинает ощущать в себе шевеление нелепой, острой и сладостной тоски, которую он сейчас же сердито заглушает. В это время появляется хозяин и с таинственным и многозначительным видом предлагает Петру Оскаровичу поехать вечером на свидание с каким-то всемогущим человеком, — в большом ресторане служит. Хозяин приятно возбужден, глаза блестят. Дело, может быть, и выйдет. И неожиданно встречается с тяжелым, недружелюбным взглядом Петра Оскаровича.

Он живо смекает причину недовольства.

— Да, Петр Оскарович, я набавил пяточок. Ничего не имеете против? Знаете, если самому за себя не постоять, так ведь никто не позаботится. Или вы хотите, может быть, пополам?

— Ничего я не хочу, — усмехнулся Петр Оскарович. — Хорошо сделали, что набавили . . . Я тоже пяточок . . . хе-хе . . . Вот до чего дожили? . . Ну, давай Бог, чтобы вышло, немножко бы вздохнули . . .

И вот Петр Оскарович, наконец, на свободе, на улице. Ему поется:

— «Шлейф, забрызганный цветами,
Синий, синий, синий взор...»

Это просится на музыку. Что-то вот так... а дальше — так... Одна находка влечет за собой другую.

«Жизнь и смерть в круженье вечном...»

IV.

С улицы домойходишь в мрак. Занавески на окнах, и противоположный дом близко. Улица узкая.

Но Петр Оскарович еще весь под впечатлением воли — шума, звона, неба, одиночества.

Он входит в комнату — никого. Идет дальше. Из кухни слышатся возбужденные голоса. Истерически кричит дочь, волнуется Павлов. Ясочкин голос на низкой, рассудительной и успокоительной ноте время от времени методически произносит:

— Да... да... конечно... да...

Лена, тем возмущенным, ищущим сочувствия тоном, каким говорят об отсутствующем враге среди единомышленников:

— Если нас не жалеет, то хоть бы Юрку пожалел! Говорит ведь, что так его любит...

— О ком это они? — встревожился Петр Оскарович. — Что случилось?

Лена, увидев отца, в замешательстве юркнула за спину матери к плите и стала вертеть что-то в кастрюльке. Минута молчания. Потом в наступившей тишине Ясочкин громкий, ровный, спокойный голос:

— Приходила Мухина предупредить, чтобы эти дни не ходить в еврейскую столовую. Там ожидается контроль что-ли какой-то...

Петр Оскарович не ожидал, растерялся, покраснел, как мальчишка. Домашним советом ему ходить в еврейскую столовую было запрещено. Они сами не евреи. Предки были

выходцами из Австрии. Но поди-доказывай, если попадешься. Он сам должен понимать, какой грозной опасности он всех подвергает. Преступное легкомыслие, из-за которого они все могут очутиться в лагере!

Теперь кричали все в три голоса. Петр Оскарович, чувствуя себя виноватым, тем азартнее оборонялся. Он редко ходит. Иногда нужно кого-нибудь повидать по делу. Он знает, что опасно. Вот видите, когда нужно, его предупреждают.

Оборонялся не от своих домашних, а от новой беды: не оправдал доверия. Какая неприятность!

Они кричали ему:

— Если бы ты был один, ты имел бы право рисковать. Сам с собой человек может делать, что ему угодно. Но ты подводишь нас!..

Только Павлов молчал, сидя на табурете, собрав лоб в бледные морщины. Видимо страдал — думал.

Потом соскользнул с табурета и пошел следом за Петром Оскаровичем, когда тот, схватившись за голову и крича: — «Довольно, довольно!», выбежал в коридор.

— Пропустить вас? Пожалуйста... — сказал Петр Оскарович, остановившись в коридоре, чтобы отдышаться.

В руках у Павлова деньги. В глазах особое выражение — осторожно-сожалительное.

— Я же понимаю положение... В столовке там вы, может быть, встречаетесь со знакомыми, вам удастся заработать. А раз вам туда ходить нельзя...

Петр Оскарович не понял: — Что вы?

— Да отдадите потом, что там!

Петр Оскарович со стофранковой бумажкой на лестнице. Он очень взволнован. Внешне это выражается в том, что он разговаривает сам с собой: — «Как все это неприятно! Что же теперь делать?», и очень быстро шагает по лестнице вверх на свою мансарду. Он не замечает пути, и только при переходе с седьмого этажа на восьмой на наружной лестнице останавливается, чтобы перевести дух и глядит на лежащую глубоко внизу, обсаженную деревьями улицу, а потом совсем

отвесно через перила на мозаичные камни маленького, чисто выметенного дворика. От ощущения глубины у него начинает кружиться голова.

V.

За стаканом красного вина Петр Оскарлович сидит в укромном уголке ресторанички в обществе рыжей женщины, с сильно помятым лицом и папироской между пальцев. Женщина пускает клубы дыма.

Однако первое впечатление обманчиво. Петр Оскарлович не кутит, женщина — не кокотка, а одна из посредниц по продаже кролика сивэ. Посредников уже шесть. Кролик возрос до девяноста пяти франков. Оба беспокоятся, что «не пройдет». Однако, сильно надеются. Третий посредник, ведущий переговоры с большим рестораном, что напротив, приходил несколько минут назад и сообщил, что кролик собственно уже продан, ждут только кого-то главного для окончательного подтверждения.

— Камионы ваши?

— Наши, — с важностью отвечает Петр Оскарлович. — Это не беспокойтесь! В указанный день и час доставят в указанное место. И — товар — деньги!

— Это не беспокойтесь, — роняет, тоже с большим достоинством, третий посредник и исчезает.

— Прежде всего поем, как следует, — с нервным смехом говорит рыжая женщина. — Куплю кило масла, сахару, настоящего кофе . . .

— Все куплю, сказала злато, — смеется Петр Оскарлович и таит скупое про себя свою мечту: прежде всего, конечно, своих обеспечить, долги отдать, а потом уехать в деревню, на год, на два, до конца войны . . .

Воображение рисует ему маленькую провинциальную гостиную с пианино, в каком-нибудь пансионе. В окно видна размытая дождями дорога, красноватая, глинистая, с глубокими, заполненными водой колеями. Дождь идет. Позднее

утро. Время близится к завтраку. Уютно, уютно в комнате. Настроение для работы. «Шлейф, забрызганный цветами...»

Нет, сейчас не думать. Вдохновение вещь капризная, даже у маленьких художников. Если затаскать мелодию между дел, по ресторанам, по метро, по знакомым, то потом, в нужную минуту, придет она запыленной, поблекшей, не порадует душу, а вызовет оттолкновение...

— Идет! — шепнула рыжая женщина.

— Кто идет? — в рассеянности не сразу понял Петр Оскарович. Потом заинтересованно повернулся на стуле.

Третий посредник идет — не смотрит, лавирует между столиками. Приближаясь, устремляет на компаньонов взгляд, но ничего не прочесть в этом взгляде. Вышло? Не вышло? — тревожатся оба.

Тот, молча, мрачно вынимает из кармана банку и ставит ее на стол, потом дает волю своему негодованию.

— Безумная цена! Восемь человек навесилось и каждый набавил пятачок! Что же получилось?..

Теперь ясно можно прочесть в его взгляде — ненависть.

VI.

Петр Оскарович один на черной улице. Улица так черна, так черна. Иной раз заметишь в сплошной, непроницаемой мгле просвет, думаешь — поперечная улица, поворачиваешь доверчиво и натыкаешься на белую стену.

Каверзные тротуары, перерезанные спусками: то улица, то совсем коварные въезды в ворота. И так как Петру Оскаровичу несколько раз во время войны случалось скovyрнуться, он предпочитает середину улицы, как, бывало, ходили в России, в первые годы революции.

Идешь и смотришь, не едут ли. Большие, синие, закамуфлированные фары — автомобили. Сторонишься заранее. В темноте, как слепой, нащупываешь ногой тротуар, стоишь и ждешь, пока проедут. Маленькие, ровно бегущие фонарики — велосипеды, и раскачивающиеся волнообразно, медленно плывущие огоньки — пешеходы с ручными фонариками.

Когда подходил к дому, на горизонте несколько раз ярко полыхнуло небо. Война! Где-то умирают люди...

Он поднялся к себе наверх, закумуфлировал окно, поел хлеба. Ощущал в себе бездумную, покорную тишину. Сейчас раздеваться и ложиться спать — свинцовым, глубоким сном, и завтра опять начинать день сначала...

Но оказалось не до сна. Близко ударили пушки. Вслед за ними завывала сирена. Петр Оскарович, продолжая сидеть и ощущая тошную тоску, отметил про себя, что всегда «они» прозевывают. Он уже несколько минут назад слышал, что летят.

Потом встал. В коридоре хлопали двери, шелкали затворяемые замки, вспыхивали взволнованные голоса.

Мозг властно приказывал: закрыть дверь, пройти наружную лестницу, висящую над бездной. Потом на парадной — искать рукой перила, — электричество не действует, — считать этажи. Тело слушалось, дрожа мелкой дрожью, и двигалось, как неживое.

— Отворите, это я!

Все в передней, подальше от окон. На ручке кресла сидит дочь в усталой позе. В кресле жена. Павлов похаживает по передней. На столе огарок в бутылке. Обычная картина. Это становится бытом.

— Очень уже громко наверху, — сказал Петр Оскарович, как бы извиняясь, что пришел, и поискал, где бы сесть. Стула не было. Он приткнулся к столику и стал ждать.

Все ждали по разному. Дочь вздыхала и жаловалась. Не дают спать, а завтра опять целый день работать! Если бы не мама, ни за что бы не встала! Пушек она не боится. Ясочка сидела молча, только глаза на бледном лице говорили, тревожились. Павлов ходил, пошучивал, поддерживал бодрое настроение.

— Это далеко, — говорил он про выстрелы. Или: — Это только пролетают...

— «Кресло, — подумал Петр Оскарович. — Кресло есть в гостиной... вытянуть ноги...» Но не хотелось уходить

от людей. Подсознательно хотелось даже, чтобы подольше продолжалась тревога, чтобы не надо было идти наверх, оставаться одному...

Тревога кончилась. Петр Оскарович, держась в нерешительности за ручку выходной двери, видел, как тяжело подымается Ясочка с кресла, как Павлов схватил со стола огарок посветить...

Потом Петр Оскарович ушел...

Что с ним там случилось на лестнице? Закружилась голова? Остудился? или... Страшно подумать.

Лене не хочется думать. Все ее молодое, эгоистичное существо, жадное к жизни, кричит, негодует, извивается в муках.

— За что, за что такое несчастье? Он сам настоял — жить наверху... Ведь предлагали же в столовой...

Павлову совсем не хочется думать. Он человек-практик. Понимает, — что случилось, того не поправишь, и старается изо всех сил, очень участливо, успокоить, вразумить оставшихся.

Неотступно думает только Ясочка, внешне очень спокойная, молчаливая, точно не вполне осознавшая происшедшее. И думает, приблизительно, так:

— Вот и конец! Теперь и я скоро за ним... Мы уходим!

Н. Яблоновская.

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ*)

(Роман)

27. Операция

Оперировать решено было 3-го марта: на квартире врача, под местным наркозом... Сабина тотчас же уедет к себе отлеживаться; если, дома, начнется кровотечение или поднимется температура, — надлежит звать уже другого доктора, по возможности хорошего, или прямо ехать в госпиталь, ни в чем однако не признаваясь.

— Понимаешь, — объясняла Сабина накануне вечером: — Я так же ответственна перед законом, как и он. Поэтому надо молчать при любых осложнениях.

Боб подумал: достаточно возложить ответственность только на хирургов и заставить их к тому же возвращать назад гонорар, — чтобы доконать весь этот промысел.

И день настал... В третьем часу пополудни Боб нетерпеливо прогуливался по одной из боковых улиц у 2-го Авеню. Стужа, ветер. Солнце светило ленивее чем в феврале, скупо озаряя фантастический пейзаж: обожженный морозом город, тупоголовые дома, плоские крыши, фабричные трубы и человека, ждущего свою возлюбленную у подъезда сомнительного специалиста.

От холода и тоски Боб взмолился: «Поскорее уже. Если есть Бог, она сейчас явится и все будет кончено».

Вот она, Сабина. В шубке, в меховой шапке, похожая на ребенка, на подростка: дома ее ждут родители, какао, Давид Копперфильд.

*) См. 12-ую, 13-ую, 14-ую и 15-ую книги «Нового Журнала».

Боб спрятался в подъезд, пропустил ее, затем догнал и крепко взял за руку: не останавливаясь она продолжала шагать, размашисто и безвольно.

Поднялись по темной, безличной, неопрятной лестнице на самый верх пустынного, запущенного дома. Такие дома попадают часто в Нью-Йорке: без прошлого, без будущего, не рождающие чувства интереса к своим жильцам.

Дверь отпер сам доктор Спарт, враждебно взглянул на Боба, что-то пробормотал в ответ на приветствие и повел их: длинный коридор, несколько пустых, необставленных комнат, затем комнаты с мебелью, но явно необитаемые... Очутились в свежее выбеленной зале с гинекологическим креслом в центре и стеклянными шкапами по бокам.

— Вы приняли ванну? — спросил Спарт. И Боб ответил, вытягиваясь, как перед командиром:

— Так точно, приняла.

— Раздевайтесь! — и добавил: — Решено, в случае осложнения вы не ищите меня, все равно не найдете... Не теряя попусту времени, везете ее в госпиталь, так?

— Да, — согласился Боб, — только я хотел спросить: нельзя ли ей отдохнуть здесь часа два-три, а не сразу...

— Нет, — отмахнулся Спарт. — Ехать надо пока наркоз еще действует. Раздевайтесь.

Был он тучный, лохматый, седой, с небритым, словно опухшим от сна лицом. Начал распределять инструменты, вату, шприцы, руководствуясь очевидно известными ему соображениями: одно клал налево, другое направо.

— Стерилизовано в госпитале, — объяснил он. — Будет хорошо. Впрочем, я не понимаю, почему люди отказываются рожать.

За дверью послышался странный шум: похоже, будто взрослый человек прыгает на одной, босой ноге. Доктор поспешно выбежал, бросив:

— Укладывайтесь сюда, я сейчас.

Сабина послушно улеглась: в светере, полуголая. И тут она взглянула на Боба: впервые за весь день, быть может, за

много недель, — словно пелена спала! Он стоял у ее изголовья и сосредоточенно улыбался, словно прислушиваясь к нарастающей, глухой, привычной боли. И Сабина увидела: низко над нею его глаза, — такие они бывали в минуты напряженного счастья. У Кастэра серо-голубые глаза, но под влиянием внутреннего потрясения они становятся синими, меняясь резкими скачками в своих оттенках. Она узнала их и то чувство, которое они вызывали: вот перед нею самое нужное в жизни, — щедро собрано и дано! «Боб». Он заметил перемену в ее лице, склонился еще ближе и быстро, быстро, настойчиво зашептал:

— Знай, нет инерции, фатума, рока. В христианстве с любой минуты можно начать сызнова, вернуться ,исправить, спасти. Ты еще можешь прыгнуть с этого подлого кресла: мосты не взорваны, свободный акт твоей великой души.

Она не слушала, досадливо морщась: зачем он говорит. Его глаза убедительнее, разумнее, понятнее. Какой он еще неловкий и глупый. И главное — ее, свой, ненаглядный.

— Уйдем отсюда, — вскричала Сабина, вдруг, опомнившись.

Сдерживая дыхание, с перекошенным лицом, он ее поднял со стола и, путая разные тряпки, помог одеться.

— Мы уходим, — грубо сказал Кастэр вернувшемуся доктору. — Могу покрыть расходы. Вы понимаете, мы уходим, операции не будет! — рассвирепел он, так как Спарт молчал.

— Понимаю, — согласился тот и неожиданно улыбнулся. Но некому было оценить это чудо: на ходу застегивая пальто, Боб и Сабина спешили прочь, тычась не в те двери.

— Сюда, сюда, — вопил доктор, охраняя жилую часть своей квартиры от их вторжения: — Направо . . .

28. Недоразумение

По звуку захлопнутой двери Спарт догадался, какое облегчение они испытали, вырвавшись из его дома.

Насвистывая что-то знакомое и старинное, он тщательно прибирал операционную, расставлял вещи по местам, часть

инструментов спрятал в потайной шкаф. Для своего странного, вздутого тела, передвигался он легко и быстро. Долго мыл руки под краном, но вытер их об рваное, замасленное полотенце. Вышел, заперев дверь на ключ. Проходя мимо одной из жилых комнат, он остановился и осторожно заглянул туда... Там на постели, съездившись, лежала его жена и, по обыкновению, прижимая к груди свернутый угол простыни, нежным шопотом убаюкивала некое воображаемое существо. По сути ее помешательства этот край простыни изображал ее мужа, хотя в то же время муж ее находился и в углу, под самым потолком: она и с тем перемигивалась, пересмеивалась, — седая, расстрепанная, грязная, морщинистая, со счастливыми глазами невесты. Причмокивая, жеманно кокетничая, стыдливо хихикая, виляя сухеньким тельцем, она заигрывала со своим идеальным нареченным.

Доктор Спарт молча постоял у порога. Впервые, за эти многие годы ее помешательства, он вдруг понял: в основе болезни жены — верное чувство! Он, ее муж, не оправдал любви, надежд, представлений... Она ушла в другой мир, унося на руках желанного супруга. Улыбнулся: подобного рода догадки успокаивали его, независимо от их содержания.

Вспомнил про тот аборт: ее, в Европе. Они тогда были совсем молодыми: студенты. Он желал ребенка, хотя учитывал все трудности, но она решила: слишком рано. Как далеко это и как близко: живо, больно. Это было в Вене: начало века. Но могло случиться и вчера или в Шанхае. Ах, если бы у них хватило мудрости и веры убежать, проделать то же, что выдумала эта смешная пара... Так, диллетант, шахматист, проиграв, ссылается на один, неудачный ход (дайте ему назад и он снова немедленно попадет). «Да, но события развивались бы иначе, — сам себе возразил Спарт: — Тоже неудачно, но по другому. А хуже моей жизни нельзя вообразить. Потому что просто не было жизни».

Доктор прошел в свой большой, заваленный, многими, казалось ненужными, предметами, темный и затхлый кабинет. Почувствовал знакомую боль в груди. Сел на диван, придер-

живая рукой сердце. «Вот так я когда-нибудь умру, — промелькнуло: — Здесь. Один. Буду лежать на этом диване или сползу на ковер. Пройдет день, два или больше, прежде чем спохватятся, постучат, взломают дверь. Полиция, понятые . . . Такие снимки печатают в газетах: угорел, самоубийство, разрыв сердца. Так и будет. Не сегодня, конечно, — по старой привычке решил он: — Но скоро, очень скоро». Мысль о смерти его не пугала больше и не возмущала. Липкой, запухшей рукой массировал себе грудь. Но он ценит покой, удобство, тишину. Его комната, — постель без простынь, пыль, запахи, — только казалась в беспорядке: он мог найти любую вещь или запись, почти мгновенно! И вдруг, ему предстоит сняться, ночью сесть в поезд, трястись куда-то со многими пересадками, — холод, вокзальный неуют, мутное кофе, сосиски, грубый кондуктор, опросы таможенных чиновников . . . Вот какой чудилась ему теперь смерть: сомнительное, трудное путешествие, в 3-м классе, с просроченной визой.

«Они дураки, эти дети, — вспомнил он снова своих сбегавших пациентов. — Наверное пожалеют. Но все таки побольше бы им подобных чудаков».

Доктор Спарт учился в Вене. Думал посвятить себя хирургии, а незаметно соскользнул на аборты. Почему? Любая «честная» практика не давала бы ему меньше дохода! На суде его стыдили: уважаемые коллеги ошельмовали Спарта. Уважаемые . . . Они делают то же самое, только соблюдают приличия. Светлые личности. Он, доктор Спарт, по крайней мере иногда пользуется больных бесплатно: на свой страх и риск. А они повесятся за 5 долларов. Впрыскивают витамины и гормоны, вырезают аппендиксы и амигдалы. «Ракетиры». Один вид «ракета» узаконен, а другой — нет! Вот и все. *“But Brutus was an honorable man”*.

Спарта формально оправдали тогда, — на суде. Законы. Подлецы. Жить нет больших оснований. И даже умирать не стоит. «Но эта женщина. Таковую можно полюбить. И этот черномазый. В нем что-то есть. Как будто ему перерезали артерию, он пальцем ее заткнул и продолжает жестокий бой.

Глупо, но что-то есть привлекательное в глупости. Вообще, мой недостаток в отсутствии глупости. Это, кажется, в первый раз в моей практике такое случается, — подумал Спарт, опять улыбаясь. — Только бы они завтра не пожалели и не пришли снова».

Ночь мучительная пора для Спарта. Укладывался он рано: часу в 7-м. Просыпался около 11-ти, лежал в темноте, прислушиваясь к стуку сердца, к своим нерадостным думам; зажигал свет, перелистывал книгу, играл в шахматы с воображаемым другом, прогуливался по квартире, подавал жене воду или яблоко, снова растягивался на диване, вспоминал, ругал невидимых врагов, обидчиков. Под утро забывался беспокойным, смертоносным сном.

Его желтое, вздутое лицо покоилось высоко на подушке. Он потянулся уже за вторым фенобарбиталом, когда в коридоре неожиданно и резко затрещал звонок и вслед за ним раздались глухие удары в дверь. Спарт трясущейся рукою запахнул полы халата и побежал отворять, по дороге включая свет повсюду. Неуверенный в своем голосе, он молча распахнул дверь и увидел на пороге — Боба Кастэра.

— Доктор, — запыхавшись произнес тот: — Пожалуйста, доктор, кровотечение.

Усадив ночного гостя, Спарт попросил его толком объяснить, чего ему надобно . . . Сабина без всякой видимой причины почувствовала себя худо. Боб пробовал домашние средства, но обнаружилось: она вся в крови.

— Спасите ее, — сказал Кастэр, умоляюще. — Сделайте все, чему вас учила жизнь и школа. Не случайно мы с вами встретились.

— Вы хотите, чтобы я лечил вашу жену?

— Она еще не моя жена.

— Это все равно. Правильно ли я вас понял: вы не для аборта ко мне явились?

— Какие глупости! Мы должны их спасти.

— Подождите меня, — тихо сказал доктор: — Пять минут, — и, сбросив халат, начал облачаться. Седой, крупный, широ-

когрудый, он был внушительен и даже борода его, — лохматые, неряшливые космы, — не отталкивала теперь, не пугала; весь вид его суровый, пророческий, внушал доверие. — Я сейчас, — продолжал он скороговоркой. — Что такое пять минут. Я вас ждал всю жизнь, а вы пяти минут не можете потерпеть. Я буду принимать этого ребенка. Клещами вырву его. Я буду крестным отцом ему, понимаете? И вы не имеете права. Молодой человек, — угрожающе шагнул он к Бобу. — Если бы вы только знали, что иногда происходит в жизни... — и вдруг заплакал: неумело, беспомощно морщась.

29. Ночное бдение

Они мчались ночными, затемненными улицами; молодой таксист уверенно правил, грубя и не сообразуясь с цветными сигналами. Спарт чувствовал себя особенно празднично и бодро: все казалось по силам, — точно в молодости.

Дождаясь лифта, доктор сказал:

— Вот сердце немного пошаливает, а то бы побежал вприпрыжку наверх. Знаете, я однажды встретил странного субъекта, с которым приключилась довольно забавная история...

Но в это время, молчаливый и освещенный, вынырнул лифт. Заспанный негр угрожающе сверкнул белками в сторону Боба.

Сабина лежала на спине, в напряженно отдыхающей позе: прислушиваясь, выжидая. Ее глаза, большие, карие, обрамленные густыми бровями, придавали ей выражение зоркой, хищной птицы; и только когда она смежала веки и нежные, длинные ресницы бросали жаркую тень на все ее похудевшее личико, — образ материнства, чистоты, страдания, опасности и надежды, возникал вдруг, подчеркнуто остро.

Доктор тщательно скреб руки, надевал перчатки, вообще принимал, казалось Сабине, излишние меры предосторожности. Изгнав Боба на кухню, Спарт приступил к исследованию.

— Вы хотите донести ребенка? — осведомился он. — У вас хватит воли и культуры выдержать предстоящие испытания? — И на ее детский, кроткий, утвердительный кивок

головой, отозвался: — Но вам придется остаться в постели, абсолютный покой, месяц, два, быть может шесть, хотя вряд ли. Мы спасем плод. О, если бы вы только могли понять, как я в этом убежден. Не бойтесь.

Сделав ей укол, он присоединился к Бобу Кастэру.

— Все будет хорошо, — сообщил Спарт. — Она сейчас заснет. Это не Placenta Praevia. Скажите, как вы думаете устроиться материально?

Боб ускользающе развел руками.

— Послушайте, — начал, волнуясь старик: — Я больной человек, я скоро умру. Все, что мне удалось скопить на абортах, я перепису на ваше имя. Вернусь назад, перечеркну все лишнее в прошлом, укреплю ценное, вы понимаете, вы понимаете?

— Я вам верю. Вы будете принимать ребенка, это решено, — стиснув зубы, сказал Боб. — Доктор, я должен вам что-то сообщить . . .

— Не надо, не надо, — взмолился тот, инстинктивно защищая свою душевную ясность.

— Я не черный. Со мной случился фантастический анекдот! — Боб вкратце изложил историю своей болезни. — Как вы думаете, ребенок родится негром, мулатом?

— Конечно нет, — восторженно заявил Спарт: ему все теперь казалось доступным и осмысленным. — Ведь вы не согласились, боретесь за свое подлинное лицо, не сдаетесь, не примиряетесь. Это главное. Вам еще повезло. Мы все не на соответствующих местах. Но как-то не замечаем этого или замечаем слишком поздно. А вам дали знак: последний шанс повернуть, спастись. Сигнал. Послушайте, милый, — настойчиво шептал доктор Спарт. — Я так счастлив. Бог меня хранил для этого именно часа. И я его не упущу. Зубами вцеплюсь. В крайнем случае, сделаю Кесарево Сечение. И вы не уступайте. И у вас подобие Кесарева Сечения. Все так просто. Завтра же пойдем к адвокату, перепишем завещание. Жена после моей смерти будет в клинике, недолго, впрочем . . .

— Вы полагаете, она меня любит? Может любить? — прервал его Боб.

— Такими вопросами вы убиваете ребенка, — рассердился Спарт. — Возьмите себя в руки. Она лежит теперь там и прислушивается к шуму новой жизни. Своею кровью, волей и духом созидает целый мир. Что это, не любовь? Меньше любви? Вам нужны клятвы, а потом аборт. Дураки.

— Золотое у вас сердце, папаша, — расстроганно улыбнулся Кастэр. — Постойте, вы внизу у лифта хотели мне что-то рассказать про любопытного субъекта?

— А... это относится ко времени забастовки лифтеров. Один мой соотечественник, довольно известный музыкант, был вынужден подняться пешком к себе наверх, под самую стратосферу и чуть не сошел съума. Он вдруг увидел весь дом, а с ним и жизнь, в новом разрезе и ужаснулся.

— Я встретил этого человека, — почему-то волнуясь, вскричал Боб: — В парке, виолончелист.

— Он еще жив? — удивился Спарт. — Странно.

— Доктор, — начал робко Боб. — Я хотел только спросить. Вы сами говорите: больны, стары. Представьте себе: в решительную минуту вам вдруг станет худо. Я думаю надлежало бы принять меры... — он не кончил. Поникнув головой, Спарт сидел, темный, заросший, тучный; морщась, с трудом переводя дыхание, сказал:

— Неужели вы допускаете, что в основе жизни лежит глупость, недоразумение?

— Нет, — решительно ответил Кастэр. — Я уверен в противном.

— Ну тогда, как же может произойти такой конфуз! Нет, уверяю вас, это абсурд. Если суждено, я умру на одну минуту после. И конечно, будет ассистент и все что полагается.

В соседней комнате мерно дышала Сабина: смугло-матовое личико с веером ресниц. Боб все больше и больше проникался страхом. Впервые в жизни. Ощутил земную, кровную, пламенную тоску и всполошился. Почувствовал себя беспомощным. Отныне надо переложить ответственность на специа-

листов, жрецов, а самому бездействовать, уповать. «Боже, Боже, — взмолился. — Дай мне веры, Твоей веры». Захотелось припасть к Сабине, теплой, тихой и мудрой, включиться, составить вместе одно целое, навсегда.

Сабина очнулась; радуясь, что ею занимаются, благодарно, кротко улыбнулась, потянулась к Бобу. Ей было лучше.

30. Будни

Жизнь, которую Бобу Кастэру пришлось вести в следующие месяцы, была так перегружена заботами о насущном, что не хватало почти времени для мудрствований и душевных передраг. По началу он этому даже обрадовался. Но вскоре, однако, забил тревогу, опасаясь, что из-за деревьев не увидит больше леса. Ибо основная его тема оставалась все прежняя, и соблазнительные подачки, толкающие обычно на компромисс: семья, дети, уют... не могли, не смели уводить его от главного.

Сабина пролежала в постели около 8 недель. Следовало наладить какое-то приемлемое существование. Боб переселился было к ней, но суперинтендент конфиденциально сообщил: домовладелец — либерал и лично согласен, однако, квартиранты протестуют: белая и негр!

Заодно, с Магдой снова творилось что-то неладное: припадок меланхолии. Угрожала самоубийством. Боб совершенно измучился: бесплодные, метафизические беседы. Ей совсем не этого нужно. Боб бессилен. И ночами, после работы, судебно-медицинских исследований и Сабины, должен на своем узком диване философски утверждать в Магде волю к сопротивлению. В виде диверсии привел ее к Сабине. Казалось: удачная мысль. Сабина, плача, облобызала ее и Магда принялась нежно ухаживать за больной. Но по мере того как последняя крепла, отношения между двумя женщинами явно портились.

«Она усатая», — говорила Магда, содрогаясь, точно прикоснувшись к гадине: — «Неужели ты не видишь что она шлюха»!

Боб запрещал ей так отзываться, просил не вмешиваться в его дела, но без последствий. Слезами, припадками, доводами, вроде: я тоже могла забеременеть от тебя . . . она добивалась особых прав.

Что касается Сабины, то она долго плакала и целовала Боба после первой встречи с Магдой.

«Если я тебя брошу, ты погибнешь, — решила она удивленно. — Сильный, большой, две недели слонялся без меня и докатился: собачья свадьба». Она испытывала чувство какого-то омерзения при мысли о Магде. Узнав о ночных, философских бдениях, Сабина, усмехаясь, сказала: «**Метафизическая шлюха**». Но все же крепилась, скрывала свою брезгливость, стараясь проявить побольше благожелательности и внимания. Со всем не ревновала к Магде: внешность не подходящая. Только не верила, что она превратилась из белой в цветную. Считала ее способной на любую ложь, а Боба слишком наивным. (Этот вопрос Сабина боялась затрагивать).

Как бы там ни было, Магда нарядившись в белый халат, просиживала у Сабины целыми днями, иногда, впрочем, и ночуя. Ходила за больной, кормила, прибирала, штопала носки Бобу. Когда в состоянии пациентки наблюдалось ухудшение, буквально таскала ее на руках, согревая, ободряя, урезонивая. Но стоило опасности миновать, — откровенная, уже не прикрытая, смертная, взаимная ненависть, вытесняла все другие чувства из их груди. Сабина норовила почаще обнажать свое ладное, приспособленное к ласкам тело, зная, что у Магды от этого стынет, сворачивается кровь . . . (Вот, вот вцепится зубами или пырнет ножом).

В общем, напряжение такой борьбы их даже развлекало. Им мнилось: спор идет за душу Боба. Его надо спасти от дьявола (в образе второй женщины). Если помочь ему, он скинет с себя и растопчет ногами гадину (как в древней сказке, когда чары сняты, рыцарь зрит: прижимает к груди жабу). Боб, конечно, старался смягчать их вражду и часто портил своим вмешательством. Раз выдумал следующее: «Магда — мой долг, гири, а Сабина — награда, праздник». Расчитывал таким

утверждением их утихомирить. Боб Кастэр вел слишком трудную игру, чтобы помнить еще о тонкостях, орнаментах и узорах. Главное: основная задача. От солдата, который держит форты под Сталинградом, нельзя еще требовать хороших манер и начищенных до лоска сапог. Долг: удержать Сталинград . . . и с этого угла его будут судить. Заботой Кастэра на данном этапе являлось: избежать потери, гибели . . . Никто не должен прыгнуть из окна, перерезать себе горло бритвой или скинуть ребенка. Ибо, когда смерть просунет свое рыло, тогда исправлять, возвращаться по собственным следам, восстанавливать, уже поздно, почти невысказано. А пока, все обстоятельства, нагроможденные случаем и необходимостью, казалось Бобу, еще могут перемещаться и поддаваться воздействию.

Кастэр маневрировал теперь лифтом в большом здании на 42-ой улице. Восемь часов в день швырял свой «экспресс» до 19-го этажа, затем, с остановками, до 32 . . . потом назад, тем же курсом. "Watch your step! Watch your step!" Опускаясь все ниже по социальной лестнице, Боб постиг еще одну истину. Он понял, что, зарабатывая 26 долларов в неделю, негр действительно пахнет хуже, чем добывающие 50 или 100, жена его неотесана, а дети без призора.

Хирург, приятель Поркина, все настойчивее подбивал Боба на частичную пересадку кожи. Доктор Спарт не оспаривал самого метода, но советовал повременить. Боб согласился с его доводами, решив, однако, сделать это, во всяком случае, — до родов. (Так, в феодальные века, иной крепостной, у которого забеременела жена, спешил выкупиться, — дабы ребенок вошел в мир вольным).

Все внимание Боб сосредоточил на юридической стороне вопроса. Ему хотелось до венчания раздобыть бумажку, удостоверяющую его подлинную расу. С этой целью собирался смотаться в Вашингтон, который опять медлил с ответом. Спешить надлежало еще по следующей причине: немногочисленные свидетели, которые могли под присягой поддержать Кастэра в его домоганиях, необычайно быстро рассеивались, уезжали, умирали. Этот процесс, вообще естественный в боль-

шой стране, усложнялся еще обстановкою военного времени. Люди пропадали, снимались с мест, катили за тридевять земель, где платили за работу больше, а их адрес часто являлся государственной тайною. Миссис Линзбург, согласившаяся было выступить и свидетельствовать в пользу Роберта Кастэра, неожиданно, в ночь с пятницы на субботу, после синема, почувствовала себя худо и скончалась до прихода врача.

Прайт, старый адвокат Боба, окликнул его однажды в лифте: «Его величество случай. Мир действительно тесен». (Он и статьи свои писал такими отрывистыми фразами). Тут же предложил Бобу выгодную службу: много денег, мало хлопот, свободные «викенды». «Путает, негодяй, опять что-то путает», — догадался Кастэр. От синекуры отказался, но пригласил его на чашку чая. И Прайт начал бывать у Сабины. Бледный, беспокойный, жалкий какой-то. «У вас внешность человека с нечистой совестью», — шутил Боб: все, и Прайт, смеялись.

— Ах, жизнь, жизнь, — со вздохом роптал адвокат.

31. Соблазн

Средств требовалось значительно больше, чем давал скудный оклад Боба; в сущности, он жил на три дома: своя комната, Сабина и помощь Магде. К счастью, доктор Спарт полностью взял на себя заботы о Сабине. Но все же денег было мало. И получив письмо от Макса (патрона Сабины) с загадочным предложением: зайти по интересному делу... Боб не преминул воспользоваться приглашением.

Макс встретил его подозрительно ласково, даже одобрительно отозвался о книжке Кастэра, посвященной Испании. Там сидел еще профессиональный писатель, насколько Боб мог понять, финский драматург, и площадной руганью крыл агента и Америку. Речь шла обычная: перестроить, сократить, изменить, дописать.

— Никогда! — клялся драматург. — Если я дам эту вещь, то в форме мною задуманной и только! Ребенку нельзя отрезать уши, даже если они у него оттопырены. Искусство орга-

нично. Произведение рождается подобно живому существу, а не строится на манер машины. Мы не имеем права переставлять части по нашему капризу.

— Но вы сможете таким образом реализовать хотя бы часть своего замысла, — вкрадчиво объяснял Макс: — Лучше как-нибудь продать, получить деньги, имя, а после вы свободны делать, что хотите: с именем это легче.

— Тогда у меня исчезнут все идеи и ценные чувства, — брезгливо возражал финн. — Именно так начинает каждый сутенер и Иуда: немного, временно. А кончает духовной смертью. В Европе тиранические режимы соблазнили интеллигенцию чинами, орденами, пайками и угрозами пыток. А вы, хитрые, покупаете их дешевле: золотом. Не обманывайте себя: купить можно только продажное. У вас нет святых, теоретиков, ученых, композиторов, художников, скульпторов... И не будет. Даже Христофор Колумб не был американцем. Вы привозите, как товар, из других стран гениев, но стоит им ступить на вашу землю, подышать этим воздухом и они духовно превращаются в паразитов, выдыхаются, светят собственным отраженным светом! — писатель давно уже обращался к Бобу, чувствуя в нем, черном, возможного союзника. — Вы знаете, — продолжал он, улыбаясь: — Моя приятельница, аграрный химик, утверждает, что анализ здешней почвы показывает очень низкое содержание эфирных масел: по сравнению с Европой. Вот почему ваши фрукты, овощи, цветы и вина не пахнут, не имеют вкуса. А между тем вы строите небоскребы, которых другие континенты не могут удержать на своей поверхности. Это объясняется особым характером американского материка. И я думаю: возможно, что в этой земле есть особые иррадиации, убивающие способность к духовному творчеству, — превращают людей постепенно в скопцов, в мумии... Такие лучи... или, наоборот, отсутствие необходимых для творчества излучений, — финн заговорчески подмигнул Бобу.

— Вы совершаете ошибку, когда говорите о Соединенных Штатах как о чем-то завершеном, готовом, данном, — неохотно возразил Кастэр. — Америка — колония. Сто лет тому

назад средний запад был еще прерией и дикари торговали скальпами. Сравните Америку с Австралией, Новой Зеландией и вы поймете какое это чудо: то, что уже сделано. Вы понимаете: колония! Войдите в бар и посмотрите, как десять мужчин окружают одну бабу, и вы вспомните времена, когда с корабля высаживались триста мужиков и две проститутки.

— Может быть, может быть, — хмуро согласился финн, потеряв интерес к своему собеседнику. — Самый факт, что Америку надо было «открывать», ведь тоже не случайность. Если предполагаешь, что каждый человек одинаково сотворен Богом, то негодуешь, требуя от всех совершенства. Но если допустить что столько-то лет тому назад человек еще был моллюском, превратился в обезьяну, потерял хвост, встал на задние лапы и надел фрак, то, конечно, нет места для отчаяния. Перед Америкой великое будущее. Надо только глотать витамины и улетать на «викенды» в Старый Свет.

Устало кивнув головою, драматург вышел.

— Ужасное зрелище, — сказал Макс. — Зачем они приезжают сюда?

Но Кастэр не поддержал этого разговора; тогда Макс сделал следующее предложение... Пускай Боб напишет историю своей трансформации: 1000 долларов аванса. Но, однако, требуется разумно обосновать это преобразование. Не фантастика, а реальность: human. Например: отец Роберта Кастэра был негром, Боб этого мог не знать. Или: герой рехнулся и вообразил себя черным, близкие ему не перечат, чтобы не раздражать.

— Какая гадость, какая гадость, — с отвращением шептал Боб, чувствуя себя теперь на положении только что бежавшего финна. — Вы требуете уступок для предполагаемого читателя, который умнее и честнее вас, гнусных паразитов, посредников. Подкупая, развращая нас, вы готовите себе самим страшную гибель. О, скорее бы!

— Пожалуйста, пожалуйста, — бормотал смущенно Макс. — Я хочу вам добра. Я так люблю Сабину, — он вдруг понял, что имеет дело с неуравновешенным маниаком. (Другие его

клиенты спорили и ругались не менее резко, но подозрение в преступном помешательстве легче возникает в связи с негром).

На этом они расстались. Однако, мысль о тысяче долларов посеяла в сердце Боба приятное сомнение. (А что если — пять тысяч?).

32. Вечера

По вечерам, после изнурительного дня вертикальных путешествий, юридических консультаций и медицинских опытов, Боб Кастэр, опустошенный, являлся к Сабине. Утомляла бессмысленность сомнительных усилий... Дайте ему видимого врага и он сцепится с ним: погибнет или победит! Как это просто. Он завидовал своим древним предкам, их обнаженной борьбе, — на живот или на смерть, — с неускользающим, трехмерным противником. А тут: мелочное, хитрое, бесцельное круговращение... Основная цель незаметно отодвигается и внимание все больше приковывается к ряду спорных, второстепенных забот, подготовительных мер. И так соблазнительно легко сдаться, надо только сказать: «Бог, вероятно, со средними налогоплательщиками: едят, пьют, трудятся, в меру застрахованы, подчиняются хозяевам жизни, если нужно, отнимают кусок хлеба от чужих детей, чтобы накормить собственных. Смирись, гордый человек».

Но Кастэр родился белым, с единственной, незаменимой, по частям, душою, ему шептала песни мать, его избрала Сабина, — именно Боба!

В революциях и войнах Боба Кастэра возмущало главным образом не преступное количество убитых и замученных физически, а попутное, организованное уничтожение всех возможных источников творчества. Некоторые люди, правда, реализовали себя чрез такие исторические бани, но они исключения и притом сомнительные. Гибель детей — этого резервуара гениальности... Подростки, юноши, даже уцелев, оказываются вывернутыми наизнанку, искромсанными, с мозгами набекрень, превращаясь в дикое месиво, в духовный шлак. Невозвратимая, не поддающаяся учету утечка Моцартов! Из

многих обманов, царствующих в обществе, Кастэра больше всего удручал лицемерный миф о гении: не погибнет, пробьет себе дорогу, несмотря на любые преграды... факт на лицо, — и перечисляли известные имена. Те же, что падают на пол-пути, — очевидно не то, послабее! Удобно и просто. Нечто похожее на беспроигрышную лотерею. Конец принимается за начало и успокаиваются.

«А что если это не верно, — с ужасом думал Боб Кастэр. — Какая ответственность! Наш грех: против Святого Духа. Весь строй этой земли направлен в другую сторону, получается впечатление, будто основная задача как можно скорее обезличить ребенка, обкарнать, изуродовать человека, оскопить потенциального святого или героя, превратить в честных ящериц, в насекомых на манер пчелок. Конечно: птицы небесные... а Сын Человеческий не имеет где приклонить голову. Но с той минуты как мы это усвоили, нельзя ли изменить вопиющий порядок? Пришел же Христос на землю, значит, предметы должны раздвинуться и дать Ему место и всему вдохновенному, что от Него. Вот куда пора направить усилия реформаторов. История до сих пор этим не занималась. Восьмичасовой рабочий день и социальное страхование — давно пройденные этапы: еще одна война — и даже индусы будут обеспечены голодным пайком. Но как охранить неведомых Моцартов? Их гораздо больше чем мы думаем. Кто оценит безделье художника, созерцательную лень философа, неподвижность святого, неудачу поэта? Одиночество, пустыня, пытки... А потом иногда приходит поп, критик и жандарм: канонизация. Доколе будет продолжаться это безобразие? Ерусалим, избивающий пророков, дикари, сжигающие своих первенцов. Нельзя ли, не пора ли изменить? Какими путями?»...

Об этом они часто беседовали по вечерам. Горел камин, уютно светили лампы. Сабина лежала одетая, укутанная, крупная, с маленьким личиком, — храня силы в неразвернутом виде: стараясь поменьше двигаться, шуметь, производя впечатление более зрелой, мудрой. С тех пор как она поправилась, последние признаки беспокойства исчезли из ее души. Будущее ме-

решилось не легким, но решенным и понятным. Даже внешне изменилась: без лишней, волнующей, невнятно обещающей (и потому обманчивой) красоты . . . Нежная, полная, уверенная, она как бы свсла, на время, свои метафизические счета, зная все, что ей надлежало теперь знать, и отменяя остальное, быть может интересное, но сейчас ненужное.

К дивану придвигался стол, накрытый крахмальной скатертью с ложно-русским узором; аппетитно дымил цейлонский чай, нагромождалась закуска, выстраивались бутылки двух, трех сортов вин. Магда с молчаливым укором приносила из кухни то забытые ложки или ножи, то соль, попыхивая своей вечной папиросою, сыпя по сторонам пепел. Доктор Спарт со смаком отхлебывал чай, ел бесчисленные микроскопические сэндвичи, приготовленные Сабиною; насытившись, ввязывался в разговор, начиная издали, точно некстати, со множеством отступлений и примеров.

Все чаще и чаще наведывался и бедняга Прайт. Боб продолжал уделять ему внимание, исподтишка следя за ним. Забавляла чистосердечная простота этого шестифутового ходатая и ценителя изящных искусств. «Ведь успеха вы не достигли и не достигнете, — беспомощно недоумевал Прайт. — Что же и х так волнует? Объясните в чем дело? Я ничего не понимаю». Постепенно выяснилось, что он встречает одного джентльмэна по имени Kurt H. Smith, который очень интересуется Бобом. Kurt H. Smith располагает крупными средствами и готов помочь достойным людям, но вообще он не брезгает и другими приемами, одинаково хорошо владея, как ножом, так и пистолетом.

Делился своими сведениями Прайт в первую очередь с Сабиною, в которую сразу и до неприличия откровенно влюбился. Сидел часами у ее изголовья, развлекал, восторженно каялся в прошлых увлечениях. Обнаружилось, что он подлинный сердцеед и был героем сложных амурных драм. Сабина взяла его под свое покровительство: «В нем что-то хорошее, если он мог привязаться ко мне». Но этого же было достаточно, чтобы Магда его возненавидела. Сабина веселела, беспричинно

счастливая, гордая очередным успехом и вдвойне любящая Боба: радуясь за него . . . и чуточку кокетничая. Боб понимал: такова ее природа и дурного в этом мало, но сердце его сжималось от страха, боли и негодования. Он подозревал, что именно жалкая позиция Прайта, его ничтожество, способны были растрогать Сабину, вскружить ей голову.

Магда выслеживала их, подслушивала, потом доносила Бобу. «Одним словом, их отношения можно назвать пара-сексуальными», — неизменно заканчивала она.

— Что-ж, — возразил Боб. — Мы с тобою другие люди. Совсем другой породы. Но это не значит, что она плоха. Однажды, в Париже, у стойки кафэ, случайный собеседник мне сказал: «Вот, вы, кажется, очень умный человек, все понимаете и чувствуете, но пока вы не встретите женщину, у которой, без рассуждений, будете готовы лизать пятки, вы только мальчишка, щенок и болтун».

— И ты лижешь ей пятки? — спросила Магда.

— Нет, кажется. И не в этом суть. Но я начинаю понимать своего старого собутыльника. Хотя и тогда я не смеялся. О, нет.

(«Боже мой, что я делаю! — испуганно взывала душа Боба: — Занимаюсь глупостями, время течет. Посмотри на эту руку: она черная, давно уже, и такой остается. Ночь. Безумие. Окружен друзьями: утешают меня, но совсем не помогают. И не должны помочь»).

Вражда между Сабинию и Магдой, благодаря «пара-сексуальной» обстановке, в конец укрепилась. Но к чести Сабины следует отметить: она не пыталась отделаться от ненавистного соглядатая, — ведь легко могла прогнать ее. «Я всегда чувствую свою вину перед отвратительными личностями и стараюсь ее загладить, искупить», — призналась она как-то Бобу.

По вечерам, когда все собирались, воздух этой неизменной злобы рассеивался, беседа струилась оживленная, мирная и доброжелательная. Кастэр высмеивал галантные ухватки Прайта; мрачные выпады Магды смягчались удачными шутками Спарта, который оказался весьма остроумным. Так создалось

их маленькое объединение, окрещенное Сабиной «Возвращение к детству». Обсуждались военные события, обменивались впечатлениями, спорили о немецкой культуре; (Спарт утверждал: Толстой и Достоевский связаны с большевизмом, а Гете и Шиллер ответственны за *Me i n K a m p f*). Попутно делились воспоминаниями и личным опытом. Боб даже сочинил род поэмы, — Дарданеллы, — и читал ее вслух.

33. Дарданеллы

Дарданеллы это узкий пролив, по которому может плыть только одно крупное судно, — не садясь на мель и не задевая берегов.

На берегу установлены батареи с таким расчетом, что всякий идущий мимо корабль попадает в фокус артиллерийского огня: достаточно нажать кнопку и смертельный шквал свинца низвергнется на смельчака.

В жизни любого человека есть такие Дарданеллы: когда его курс лежит через узкое горло и тяжелые орудия готовы обрушиться на него, — яростно, сразу. Все проблемы... Социальная: честный гражданин вдруг обнаруживает, что он проживет и умрет нищим, а вот другим доступно многое, благодаря деньгам. Сексуальная: он женат и привязан к семье, а все-таки не удовлетворен... хочется любви еще, так и кончит, разминувшись с обещанным даром. Биологическая, религиозная: молодость прошла, начались недомогания, а впереди неминуемая пустыня, смерть, и душа бунтует.

Этот период обыкновенно наступает после тридцати лет. Возраст Господень. Как у Данте: посередине странствия земного.

У капитана на выбор несколько возможностей... Одни тушат котлы, выключают машины, бросают якорь по близости (или возвращаясь немного назад), мелкими тружениками, добрыми отцами заканчивают свой рейс, бессознательно перекладывая тяжесть прорыва на плечи потомства. Другие, с поднятыми флажками, мечутся, снуют, петляют, жульнически вертятся у опасного пролива, создавая иллюзию движения,

предприимчивости, творческой удали. Если это поэт, он избирает себе звучный псевдоним и вылушывая у трагических современников или предков самое доступное, поддающееся популяризации, преподносит толпе, пожиная плоды подвигов безвременно погибших героев. Если это ученый или философ, то он крадет две, три мысли у часто враждебных друг другу учителей, сплавляет их, со вкусом сглаживает углы, создает оригинальную теорийку и, выслужив орден, достойно и обеспеченно доживает свой век, ревниво следя за успехами многочисленных, понятных ему конкурентов. Если это акробаты-циркачи, то они повторяют опасный номер, даже подняв чуть повыше трапеции, — с тою разницей, что внизу тщательно прикрепляют спасательную сетку.

Есть еще выход: юных, одержимых, Артуров Рэмбо. Восторженно, налегке, они кидаются очертя голову и получив смертельный удар идут ко дну, оставляя о себе память и песни в грядущих поколениях.

Наконец Бетховен, Толстой, Пастер, Микель-Анджело . . . Вооруженные всеми дарами молодости и техники, богатые опытом, своим и чужим, закаленные в борьбе и походах, эти дредноуты уверенно, ночью, с потушенными огнями, осторожно подкрадываются к узкому горлу (память об этом часе жила в них еще до рождения), — и неожиданно бросаются на прорыв. Раньше чем дежурные посты догадываются зазвонить тревогу, тяжелый броненосец, сразу сумев лечь на правильный курс, полной мощью своих винтов успеваает прогresti уже пол-пути. Получив первое накрытие, ему, однако, удается развернуться и двубортным огнем своих чудовищных башен он мгновенно заливаает, давит сторожевые батареи. Подбитый, с пробойной, потеряв часть экипажа, — в трюме хлещет вода, палуба в крови, на корме вспыхнул пожар, — дредноут проносится через опасную зону. Содрогааясь от стука машин, в огне и дыме, с предательским креном, он гордо врезается в открытую, чистую воду, — где море, небо и земля уживаются без противоречий. Внушительный, изуродованный красавец-великан, он скользит вдоль обетованных, заказанных берегов, грозный и

всем чужой, скрывая свои пробоины и ужасающий опыт. Но тут происходит скверное чудо. В образовавшуюся дыру, вслед за победителем, устремляется всякая дрянь, плотва, посредники, контрабандисты, торговцы белым товаром: религии, науки, искусства. Они мечутся у высоких, обгоревших бортов гиганта, аплодируют, объясняют, даже учат, пишут воспоминания, критику, историю. Многие из этой наглой братии удосуживаются без труда заплывать подальше самого броненосца, возвращаются назад с коммерческой прибылью, снова отлучаются и внешность у всех благообразная, сытая, общественно полезная, при верных женах и дорогих любовницах. Дредноут постепенно начинает гнушаться совершенным подвигом. И когда на суше, учитывая последний разгром, ставятся новые батареи, с большей кучностью огня, у него нет уже причин или охоты немедленно подавить их орудиями своих почерневших башен.

34. Спокойной ночи

Расставались около полуночи. Изредка Боб заночевывал: умоляющий, упорный, обиженный, — побитой собаки, — взгляд Магды. Она быстро собиралась и, гадливо ежась, выбегала, грубо опережая навязывавшегося в спутники, дон-жуана Прайта.

Следом за Магдой медленно выходил Спарт. Страдая бессонницей, он в теплые вечера еще долго сидел в парке на скамейке, кряхтя и позевывая.

А весна в Нью-Йорке уже быстро развернулась, стремительная, тропическая, однонедельная, несущая в себе ядовитые семена грядущих времен года: лета, жары, духоты, испарины, осенних дождей, студеного ветра, простуды и гниения.

Боб осторожно укладывался в постель; Сабина сразу открывала ему объятия: прикикая, кутаясь, ища нежности. Похоже на счастье. Сабина не портила этих часов, не отравляла, не будила сомнения. Но порою, в самых неподходящих сочетаниях, она вдруг прорывалась замечанием, от которого у Боба Кастера по старому темнело в душе и жизнь с шумом пролив-

ного дождя барабанила где-то снаружи, ненужная и постылая. Так, однажды, вспомнив о давней, известной Бобу, случайной связи, она проговорила: «До того он два года сидел в концентрационном лагере, без женщин».

«Ну как это усвоить, впитать, переварить? Хорошо, я снова стану белым, выздоровею. Но это, это, это останется? — вопила его душа. — В ней есть что-то от суки, не развращенной, чистой, искренней. Но и во мне есть от кобеля, причем смердящего кобеля. Минус на минус здесь не дадут плюса. Значит все погубило и любовь не может такого перечеркнуть? Тогда не стоит жить, материя выше духа, зримые факты сильнее. Так ли? А, может, это трусость, неумение, идолопоклонство? Спокойно, спокойно, взывал Боб. — Что такое материя, ее плотность, устойчивость? Прочность цепи измеряется по наиболее слабому ее звену. Пропускаемость моста определяется самым узким его пролетом. Но в духовном плане все наоборот. В этом торжество духа над материей. Поэт судится по лучшему своему стихотворению, ученый по гениальной догадке, святой по подвигу, а не прошлым падениям».

Он лежал в темноте, напряженно вытянувшись, обычный комок, — спазма пищевода, — душил его; с горечью шептал: «А все-таки я проиграл. Надо быть честным и мужественным, сделать выводы: я проиграл».

— Неужели это навсегда сохранится и будет отбрасывать нас? — голос Сабины: с тоскою, и в то же время ликуя... Она в центре любовной бури, пусть мучительной, но праздничной и напряженной.

— Можно уничтожить, преобразить, — с усилием, сурово и жалостливо решил Боб. — Надо только очень возмутиться, долго болеть, не захотеть принять. Гадости не вечны. Гадости торчат только во времени. Гадость умирает и небытие это сверх-гадость. Существует только существенное. То, что сотворено Богом, вечно, а остальное ничто, вакуум, недоразумение. Человек должен только выбрать и показать, с кем он интимно связан. От чего никнет, страдает, что утверждает в жизни, к чему тянется, чем дышет. «Великая и страшная борьба

ждет человеческую душу», — вспомнил он вещие слова языческого философа. — В этой борьбе и решается судьба души, а, может, и всего мироздания. Главное, — продолжал Боб Кастэр: — главное, мы не знаем в какую минуту жизни или смерти, на каком поприще душе навяжут этот бой. Человек всю жизнь думает, что его назначение астрономия, а подвиг ему вдруг нужно совершить в семейном плане. «Да будет воля Твоя».

Так говорил Боб, чувствуя: блаженно удаляется; взлетает, прикасается к некоему целительному источнику... Все делалось легче, доступнее, яснее. И через это счастливое состояние он возвращался назад к Сабине уже с другой стороны: понимающий, сильный, отечески, мужественно близкий, с опытом со-причастности, со-вины. В голове что-то облегченно сдвигалось: хотелось немедленно, по новому, начать действовать, жить. Но когда он задавал себе вопрос: как же это по новому... он ничего не мог придумать, кроме отказа от Сабины, от борьбы за свою кожу, за свою нерушимую личность. Поворот на 180 градусов. А этот древний путь монастыря, испробованный многими, его возмущал и совсем не представлялся в данном случае желанным. Его тема, всю жизнь нашу целиком, сохраняя богатство и сложность, поднять, втиснуть в рамки благодатного бытия, — а не удовлетвориться двумя, тремя вылущенными зернами ее.

— Перед невходящими во встречные двери распахнутся врата... — повторяла Сабина строчку из его старой поэмы. Она любила стихи Кастэра, воспитывала в нем интерес к его художественному прошлому и даже гордость, досадуя на него за пренебрежение и халатность.

Боб сам воспринимал эти произведения как чудо... не понимал, кем и когда они были созданы... действительно ли Робертом Кастэром? В Америке он потерял дар и всякое творческое поползновение. Однажды, Боб гулял по вечерней улице в Бронксе... Вот напротив коттэдж, — в угловом окне, за белой шторой, вдруг, зажглась лампа. Кого это касается? Бывало, его сердце сжималось поэтической грустью в такую

минуту; хотелось узнать, кто живет за этими стенами, — девушка перебирает клавиши пианино, мальчик читает Диккенса, ночью мать обнаружит: весь в жару. Какая у них жизнь впереди, у каждого своя. А тут Боб Кастэр равнодушно прошел мимо, не дрогнул, его эти люди не занимают: их прошлое, настоящее, будущее однотипно и без благодати. Раз еще, он брел по набережной Гудзона и вдруг его осенило: в Европе река преисполнена поэзии. Гранит, отражения огней, женский силуэт, гудки машин въезжающих на мост, даже фабричная труба на том берегу рождают какие-то воспоминания, сравнения. А тут, все гладко, без тайны, уныние, скука. «В Соединенных Штатах нет лирики, — записал Боб на обложке своего старенького блок-нота. — По крайней мере во мне она убита!»

Конечно, цепь неудач, захлестнувшая Кастэра, тоже не способствовала его творческой жизни. Художник немного похож на шофера: нельзя напрягаться до последних границ, уделять все внимание рулю, — тогда наверное заденешь фонарь. Нужен не максимум настороженности, а оптимум в сочетании с другими способностями. Хорошо знать о страданиях и грехе земли, но слишком большая пытка или явная смертельная опасность не позволяют созидать, возвращать.

— Обними меня вот так, — шептала Сабина из темноты.

И снова она. Блаженство на пороге рая. Минута, когда ворочаясь, словно плывя на спине, она испускала свой жестокий, торжествующий крик: не человеческий. Боб разгадывал ее лицо: страдальчески сладостное, занесенное в другой мир, восхищенное. Будто действительно, стоя крепко ногами на земле, Сабине удавалось припасть к небу. Чувствуя себя соратником, автором, ваятелем, он был горд и счастлив. Теперь он знал. Рай — это давать больше чем получать, сеять радость, одушевлять материю.

Юношей, собираясь писать стихи или дневник, Кастэр всегда испытывал томление духа, подобное рвотной тошноте: душа его напряжена до отказа, а тело не участвует, должно застыть в совершенном бездействии. Какая нелепость. А есть виды творчества, где от мастера требуется подлинное физиче-

ское усилие. Полярный исследователь. Микель-Анджело, взрывающий глыбы мрамора или годами раскачивающийся вниз головою под куполом Сикстинской Капеллы. Дирижер, неистово поднимающий и заглушающий то трубы, то скрипки. Боб Кастэр завидовал им. И только в деле любви, где сочетаются элементы атлета, скульптора, музыканта, завоевателя новых земель, он открыл вдруг возможность использовать, одновременно, многие свои душевные и телесные способности.

— Теперь ты станешь моей собачкою? — нежно и грустно спрашивал он.

— Я бы хотела, чтобы твоя кровь потекла в моих жилах, — изнеможенно шептала Сабина.

35. Флора и фауна

В ночи, когда Боб застревал у Сабины, Магда отправлялась спать в его комнату.

Ехала трамваем и собеем; брела мимо нищих домов, лавок, гаражей и баров. В теплые, холодные, сухие, мокрые, зимние, весенние вечера одетая почти одинаково: тот же потрепанный, без возраста, бурнусик, в открытых, старых туфлях, сгорбленная, худосочная, — толкни, упадет, но какая упрямая! Она сильно изменилась за последние месяцы.

Маска желтовато-темного лица, со смеженными от усталости и бессонницы, припухшими, веками. Побитая, обездоленная собака, неприятная, но именно такую следует подобрать, согреть, накормить. (Глупцы по объявлениям ищут молодых породистых сетеров, чистых кровей).

Магда плелась, в одиночестве, вспоминая своего четырехлетнего сынишку. Бывало, она вот так возвращалась с мальчиком: держала за руку, — в слякоть, в темноту, в сиротство. Тогда из пальцев ребенка в ее большую, нелепую руку текла сила и вера. Сын с надеждой и любовью давал себя вести: хоть на эшафот, — мать знает, мать добрая. А она в это время думала: куда итти, надо ли вернуться домой и завтра снова жить... Хорошо бы иметь большого отца, тихо следовать за ним. Это и есть Бог. Кругом черно, неуютно. Ребенку жутко.

«О чем ты думаешь?» — спрашивала Магда. «Я думаю о волке, огромном, со злыми зубами — отвечал он, а потом: — Это очень страшно, Бог?» Ему теперь пять лет, живет в чужой семье, возле Филадельфии. «Му томтму, му томтму» — шептал он в смертельной тоске, когда его увозили, с той прозорливостью, которая присуща исключительно детям (и напрасно взрослые их так легкомысленно утешают).

Жизнь Магды тогда казалась осмысленной: ребенка надо кормить, одевать, укладывать во время. Стирала, штопала, варила. Решила: и это обман. Другие сумеют сделать лучше! Дитя отдали: муж настаивал. Он был прав. Магда плохо влияла на мальчика, утверждал он. Странно, ребенок совсем не заметил перемены, происшедшей в наружности матери. Единственное существо в мире, самое близкое, восприняло ее трансформацию, как несущественную. Но с ним начались разные конвульсии, галлюцинации. Магда знала происхождение этих припадков: муж ее спал с другою женщиной, — делал вот так и вот этак. Ребенок не бревно, — чувствует. Даже она, в такие ночи, испытывала злую печаль и беззвучно рыдала на полу: обоих трясли нечистые страсти, порожденные отцом и супругом. А муж делал вид, что не понимает, смеялся, пригрозил ей сумасшедшим домом. «Разве аргумент безумие, — презрительно шептала Магда: — Пусть безумие, но ведь это не причина, а следствие». Муж ее не почернел, но, Боже, как изменился: не узнать. Разве такого она десять лет тому назад полюбила. Все линяет, цветы вянут, дети выбрасывают свои игрушки. У теленка белое мясо, а подрастет получается красное, — beef. «Гадина, гадина», — вспоминала вдруг Магда Сабину, чувствуя свои особенные права на Боба и уверенная, что он ее не прогонит. «Что у тебя, усатая, родится еще неизвестно. Обезьяна или кошка. А, может, ничего не родится, подожди, Бог все видит».

От остановки собвея Магда пугливо бежала несколько кварталов на восток, шарахаясь от редких прохожих, опасаясь почему-то здесь встретить Прайта.

Пробравшись на цыпочках в комнату Боба, она, не зажигая

света, подстилала себе старенькое пальто, ложилась на пол, укрывалась жестким одеялом, все дымя неизменной, безвкусною папиросой. Боб спал у Сабины и она почитала за долг мучать свою плоть, бодрствовать, плакать и молиться, — искупая его грех. В тайниках души, Магда произвела Кастэра в подобие мистического супруга и беременность т о й воспринимала с чувством гнева и отвращения. Мысль, что Сабина благополучно станет матерью, ей казалась недопустимой, равнозначущей смертному приговору. Исступленно молясь, она дала клятву умереть в тот же час, — если ребенок родится живым! Приняв решение, ей стало легче жить. Всегда мечтала о самоубийстве . . . теперь понятно, когда это надлежит сделать. Еще несколько месяцев сроку. Причину гибели Боба она видела в Сабине: кругом виновата. Да и теперь сбивает его с толку, разжигая похоть. Но уживала за нею добросовестно: могла бы подсыпать яду Сабине . . . Нет, разрешить спор: кто прав, кому наказание . . . она предоставляла Христу, уверенная в собственной непогрешимости.

Магда унесла украдкою шприц, забытый доктором Спартом. Лежа на полу, она доставала его и тыкала иглою, — в тело, в лицо, в уши. Улыбалась: до чего эта боль незначительна, по сравнению с душевною мукой. Застывала в полусне, полуобмороке. Муж, Боб, отец, сынишка, медленно вращались кругом нее, как по манежу, Суд, казнь, торжество. Дико вздыхая, молилась, бормотала нежные слова.

Там на полу, утром, ее иногда подбирал Боб. Придя в себя, успокоенная, она принималась смеяться, петь, шутить, делиться мыслями, догадками. Так, раз Магда сообщила: «У людей, что долго живут вместе, спят в одной постели, едят ту же пищу, читают те же книги, дышат одинаковым воздухом, образуется постепенно та же флора и фауна, — в кишках, в легких, в душе».

— Я не желаю иметь с тобою однородную флору и фауну! — яростно возмутился Кастэр. Ведь просто развязаться с нею. Но тогда она погибнет. Отречься от Сабины, от ребенка, от личного счастья, посвятить жизнь Магде: вдуть кислород,

дышать за нее. Не может и не должен. Значит: полумеры, ложь, жалость. — Я не намерен иметь одну флору и фауну с тобою! — повторял он сердито и обиженно.

А она в ответ улыбалась, лживо-кротко и свысока, точно внутренним взором разглядев уже место и время, когда это неизбежно случится.

36. Окно

Попрошавшись, — во второй или третий раз, — с Бобом и Сабиную, Прайт последним оставлял полюбившийся ему дом. Нажав кнопку лифта, он сразу, не дожидаясь, пускался, вприпрыжку, вниз по лестнице. Словно вспомнив про неотложное свидание, выбегал на крыльцо, суетливо спеша к автобусу (случалось, даже брал такси). Впрочем, иногда, он пересекал еще Авеню, чтобы за углом у ларька купить букетик цветов.

Жил Прайт на Вест 73-ей улице. Войдя в квартиру, он снимал пальто, пиджак, туфли и в одних носках проходил в темную уборную: из окна легко было разглядеть напротив, — ванную комнату соседей. Там, около полуночи, с регулярностью электрического робота, женщина занималась своим туалетом . . . Купалась, мыла волосы, делала педикюр, завивалась, стирала, голая, чулки и лифчики. Всю ее увидеть Прайту не удавалось: только поочередно, — торс, живот, ляжки. И хотя, за многие месяцы, он успел изучить подробно анатомию этих отдельных частей, но составить себе впечатление о целом — не сумел, даже приблизительный возраст — ускользал. Некоторые стати Прайту определенно нравились, другие — поменьше, например, лицо совсем не прельщало. И, вообще, он далек был от упоения. Но по вечерам, оставшись один, он с точностью маниака устремлялся к окну, считая долгом вежливости, что-ли, не пропустить этого дарового представления.

Минут двадцать, точно выполняя священную обязанность, Прайт, явно скучая, переминаясь с ноги на ногу, простаивал в ванной, терпеливо дожидаясь конца сеанса. Вот она готова, протягивает руку: свет погас. Вернется снова: забыла что-то. Исчезает опять: уже до завтра. По некоторым приметам он

догадывался: в квартире есть мужчина, но ни разу его не заметил — то ли он мылся на заре, то ли совсем не мылся.

Неудовлетворенно вздохнув, Прайт проходил в спальную; закулив трубку, с книгою укладывался в постель. Отставной критик теперь читал только детективные романы: классиков он знал, а современные писатели — продажные халтурщики.

Чета, жившая рядом с Прайтом, поселилась в Нью-Йорке недавно. Женщина родилась в штате Иллинойс, — ирландских и шотландских корней. Воспиталась в маленьком городке. В Америке сто тысяч таких собраний построек: среди пустыря, грустной, неопределенной степи, прокладывается дорога, вырастают здания, фабричные цистерны. Почтамт, банк, две церкви, drug stores, два кинематографа, бензин, гараж. Девушка, работавшая у нотариуса, могла бы сесть в кассу театра или преподавать в школе; пастор случайно не заведывал банком; директор банка отлично управлял бы универсальным, десятиэтажным магазином. Жена доктора могла бы быть матерью детей смотрителя музея “Art and business”. Все заменимо в этом городе: люди, машины, здания. Банк не трудно поместить в школу, почту — в церковь, а церковь — в синема. В церкви поставили громкоговоритель и священник наставлял грешников при помощи грамофона; кинематограф обзавелся тяжелым, во всю стену, органом и подолгу, особенно в большие праздники, надрывал уши псевдо-религиозным гулом.

Эмили посещала high school, там познакомилась с Диком, — ее первым мужем. Вместе ходили в drug store — ice cream soda — танцевали, целовались. Ясно: влюблены. 18-ти лет вышла замуж. Весь склад жизни, — воспитание, детство, зрелость, — неуклонно толкал к одному: брак! Это последнее, окончательное решение половых и экономических затруднений. Так учила школа, церковь, полиция, литература, Холливуд. Эмили регулярно, дважды в неделю, смотрела новые фильмы. Любовь бескорытна и священна, а брак нерасторжим. И хотя в газетах она читала про разводы, похабства и скандалы

кинематографических звезд, — да и в собственном окружении приходилось наткаться, — но связать вместе эти противоречивые явления ей не удавалось. «Если допустимо разводиться, изменять, снова жениться, — думала она, — то где же конец? Нет ничего больше верного, вечного, непоколебимого. Нет security! И жить нельзя и не стоит». Так многие купцы не обманывают и не воруют, чтобы не дать права другим их обмеривать и обвешивать: честность иногда диктуется эгоистическими соображениями.

На третий год замужества Дик ей начал изменять: его видели с разными женщинами. Эмили повадилась ходить в бар, где просиживала по четыре, пять часов у стойки. Возвращаясь домой, плакала, язвительно высмеивала Дика: какого типа бабы могут им прельститься! Этими припадками воспользовался Дик и добился развода, по причине mental cruelty. В Bill of Complaint так представлялась их жизнь...

... That the Plaintiff and the Defendant were lawfully united in the bonds of matrimony and that they lived together as husband and wife...

... That Plaintiff alleges that the Defendant was lazy and unkempt and kept their apartment in a dirty, unsanitary and filthy condition; that she would leave the dishes unwashed for several days at a time; that she would leave the garbage lying around for days at a time and that as a result the odor coming from their apartment was sickening; that the Defendant refused to send their linens to the laundry for cleaning until such time as they reeked with filth. That whenever Plaintiff would plead with her to keep the household in a more sanitary manner, she would become enraged, swear at him and call him indecent names in a loud voice; that on several occasions she threw dishes and books at him.

... That the Plaintiff's stomach and general physical condition became so impaired that he could not continue to live with the Defendant without becoming a total physical and mental wreck and he, therefore, separated from her as aforesaid.

Она иногда перечитывала этот документ: ее жизнь.

После Pearl Harbor Эмили поступила на завод в Индиане, там встретила Фреда. Обвенчались и устроились на завод в Нью-Йорке. Оба работали и жили в общем счастливо. Денег вдоволь, но война не вечно продлится, а там начнется депрессия. «Посмотрим, как это все обернется» — повторял Фред: он не был очень разговорчив. По вечерам заходили в соседний бар, там за стаканом пива или вина, беседуя со случайными знакомым, мило проводили время. Муж ей помогал в хозяйстве: мыл посуду, носил белье в прачешную. Изредка они ссорились, нехорошо, беспричинно.

В этот вечер они повздорили из за party у Джо. Друг Фреда устраивал попойку у себя, в будущую субботу и пригласил их. Ей бы хотелось пойти, но Фред противился: «Это не место для приличной женщины, — уверял он. — На такие вечеринки являются, чтобы напиться или подобрать доступную девочку. Это не место для тебя». Эмили возразила: в ее возрасте уже не опасно посмотреть, как подбирают доступных девиц, да и вообще интересно знать как живут эти люди.

Но пока она мылась и приводила себя в порядок, настроение мужа успело чудесно измениться. Когда Эмили вернулась в спальную, чистая, свежая, в распахнутом халатике, он жалобно простонал: — ты идешь, honey... Вся кровь бросилась ей в лицо. Страдальчески кусая свои губы, она еще пробовала ерзать рядом с ним, безнадежно борясь с холодом и скукою.

Чувствуя некоторую вину и мечтая о покое, Фред сказал:

— Впрочем, honey, если ты настаиваешь, мы можем туда поехать в субботу.

37. Подземелье

Пятьдесят часов в неделю отбирала служба. И Боб почти радовался этому обстоятельству: не знал бы, чем заполнить досуг. Думать, искать выхода, добиваться признания или любви — гораздо утомительнее и не оплачивается хозяином. Он начинал постигать судьбу тех миллионов мучеников, которые без «работы» не могут жить, покрывая внутреннюю пустоту внешней сумятицей. Труд не убивает, от него даже крепнет

тело. На заводе, в конторе, главным образом чахнет душа. Человек грубеет, сдается, мечтает о тихих радостях: поспать бы до десяти, сходить в синема... горд вниманием бессмысленного начальства. Тело его требует побольше мяса и прочего, подобного мясу. В свободные часы, он с разбега уже продолжает спешить, стучать, энергично суетиться, что-то делать; набивает рот резиною и жует; если остановится — его разорвет. Выдержать длительное бездействие и не разложиться, продолжать крепнуть, расти, совершенствуясь, готовясь к ответственному заданию — вот испытание. Лишь преодолев соблазны одиночества и скуки, — сорок недель или сорок лет, — душа возвращается из пустыни в город, чтобы созидать: разумеется не рентабельные пуговицы или подтяжки.

Боб Кастэр незаметно втягивался в жизнь миллионов. Здоровая усталость, узаконенный отдых, семейный уют, банковский счет, возможная обеспеченность. Как хитро все устроено. Бедный и богатый, казалось, испытывают те же волнения. Сидят в одном театре, — только на разных местах. На мягких креслах или на твердых, близко к сцене, с пахучими женщинами, или подальше, с бабами подешевле, — но видят, слышат, переживают почти то же. Чувство обывателя, думающего о своем банковском счете, однородно, — все равно, привык ли он выписывать чек на сто или на тысячу! Так мотылек, прозябающий только одну ночь и муравей три года — проходят через ту же гамму ощущений.

Но Боб Кастэр не желает равняться на муравья. Он еще не уступил. О, нет. Почему жизнь не позволяет ему быть хорошим, полезным, стоять на своем месте, выполнять заданное, почему? Жизнь или люди? Кто кому мешает?..

Мрачный, темный, почти ни с кем не общаясь, Боб пережидал ненавистные, священные восемь часов и убирался прочь, — с полным сознанием зря, и даже с вредом для души, потраченного времени. Карьера его в лифте резко оборвалась и Кастэр теперь подвизался в собвее. Обязанности заключались в следующем: стоял нелепо зажатый между двумя вагонами и, когда поезд подкатывал к станции, нажимал рычаг справа, затем

слева... Двери «автоматически» раздвигались, давая пассажирам относительную возможность проскочить. Затем Боб снова тянул рычаги: правый, левый... и поезд перед носом опоздавших неудачников, дергался, мигнув лампами отходил.

Унизительная поза: сгорбившись, вывернув колени, с ногами на разных вихляющих площадках, зажатый по бокам и сзади (чтобы не упал), просунув голову в щель меж двумя вагонами... Это страна предполагаемой высокой техники. Полное неуважение к человеку: его страхуют и кормят, — чего же больше! В Бруклине поезд выбегал наверх, в стужу, дождь, жару... Чтобы отдохнуть, позволялось между двумя станциями пройти в вагон и присесть на лавочке, если были свободные места. Для этого требовалось отворить и затворить (и снова отодвинуть и втиснуть), очень тяжелую дверь. А пробеги короткие: local.

Унылое подземелье с водой, просачивающейся по камням, древний инвентарь, серые, жующие люди, в пиджаках, шляпах и галстуках, все на один манер, духота, сквозные ветры, — злой сон, неправдоподобная сатира.

Боб Кастэр в прошлом чуждался социальных междоусобиц, классовых недоразумений, политических склок, но тут, в погребе, на положении раба, которому сознательно дают подешевле, похуже инструмент, советуя действовать часто даже во вред общественным интересам, его обуревала слепая ярость.

Эдмунд, непосредственное начальство, ирландец, сорок лет проторчавший под землей, не советовал проявлять инициативу и, Боже упаси, предлагать улучшения!

«Рутина, рутина, рутина, вот зачем вы здесь», — говорил он со вкусом, подобно апостолу Павлу, повторявшему: «будьте святы»... По началу, Эдмунд выделил Кастэра, относился к нему приязненно, обещал при случае обучить маневрированию и перевести в машинисты: благодаря войне и мобилизации несколько цветных проскочило на эту привилегированную должность. Но скоро он остыл к Бобу и начал держать себя вызывающе.

Как-то, на всем ходу, пьяный пассажир, следуя из одного

вагона в другой, ненароком толкнул Боба в спину, да так резво, — еще минута и Кастэр очутился бы под колесами! Компания не желала раздувать этой истории, — и подописка осталась невыясненной. Однако, Боб Кастэр, вспомнив разглагольствования Прайта о предполагаемом покушении, поспешил убраться, по добру, по здорову, из этого криминального туннеля.

Здоровье Сабины поправилось. Шел пятый месяц ее беременности. Радостная, полная тихих сил, она не могла усидеть на одном месте, целый день распевала, возилась по хозяйству, выдумывая себе занятие. Доктор Спарт решил: ей будет полезно месяц, два поработать. И Сабина, по утрам, начала снова посещать контору Макса, который очень ценил ее сотрудничество.

Боб Кастэр счел удобным воспользоваться этой благоприятною паузой и съездить в Вашингтон для серьезного объяснения.

38. Фантастический остров

Судьба играет человеком. Боб Кастэр не попал в Вашингтон. Накануне своего отъезда он получил special delivery от доктора с просьбою — немедленно пожаловать на прием! Причина нетерпения Поркина оказалась весьма основательною. Он давно уже собирался прибегнуть к помощи лучей радия, подвергнуть их действию участок кожи Боба. Но продукт этот дорогой и редкостный. Как раз теперь доктору удалось наладить соглашение с одним госпиталем, владеющим целым граммом драгоценного металла. Он советовал немедленно воспользоваться любезным предложением и слечь в больницу на две, три недели.

— Бумаги не убегут, главное здоровье, — простодушно убеждал Поркин. — Теперь у них свободная койка. Попадете в Вашингтон немного позже, кстати и японские вишни все зацветут.

Боб заколебался. Этот курс лечения все равно надлежало

испробовать и, разумеется, до хирургического вмешательства. Он согласился.

Так, в средних числах мая, Боб Кастэр очутился (собвей, автобус, паром), — в одной из клиник острова, обозначенного на картах зеленым пятном, поверх голубой ленты воды.

«Наш остров, — узенькая полоска земли, — тянется на тридцать, сорок кварталов; аборигены все хронические больные, разных местных госпиталей. Число жителей скажем 7000, кроме сестер милосердия, докторов и других работников: администрации, транспорта, кухни, складов», — писал Боб Сабине, в первый же вечер своего водворения на новое место жительства. И дальше: «Остров этот самый живописный уголок Соединенных Штатов. Единственное селение, которое может тягаться с прославленными кварталами Парижа, Лондона или Рима. К сожалению, мои и твои соотечественники не имеют чувства юмора: гордятся оперой, музеем, церквями, — дурные копии с европейских чудес, — а между тем, вышеуказанный остров явление вполне самобытное, оригинальное и нуждающееся в истолковании. Ты видела когда нибудь американский госпиталь в кинематографе? Ну вот: это не наш госпиталь. Наши учреждения не для показа. И этим они интересны для туристов и исследователей».

На острове еще в начале двадцатого века была тюрьма; потом тюрьму упразднили (только в одном корпусе продолжают отбывать наказание арестанты); воздвигли два вспомогательных, современных здания и навезли больных тысячами, в частности безнадежных: туберкулез, табес, рак, бездомные, нищие старцы, паралитики. Персонал, когда то служивший при тюрьме, удержался на новом положении; сохранились и некоторые давние нравы, повадки: атмосфера караулов, пропусков, сыска, — попасть туда или выйти не просто.

Павильон, где лежал Боб Кастэр, — древний, каменный, двухэтажный флигель. Имелись редкие окна, забранные решетками, но свет не проникал. Впрочем, свет и не нужен: по тридцать два больных в каждой из восьми палат, — и все обреченные смертники... Уже после бесчисленных даровых

операций, анализов, просвечиваний. Они ждали конца, — и морфий их единственная отрада.

Из распахнутых дверей, в солнечное утро, Боб разглядел зеленую лужайку, обрамленную чистеньким забором, а там несколько нарядных, пестрых, одноэтажных построек. Кот-тэджи эти, услужливо сообщил Бобу Кастэру старожил, предназначались для выздоравливающих туберкулезных: пожертвовали огромную сумму. Но исцеленных не оказалось, либо они предпочитали поправляться в других местах. Тогда филантропы решили свозить туда девиц, сифилитичек, прошедших курс лечения, — на отдых, две, три недели. Но и девицы не пожелали. Скучно, да и неловко: как на ладони, — всем видно. К тому же, многие из мужчин, работников, повадились залезать по ночам в уютные дортуары: это уже совсем противоречило первоначальному замыслу благодетелей. Девиц увезли, двери заколотили: и стоят модные домишки на лужайке, чистенькие и молчаливые. А в палате у Боба затхло, темно, тесно, обрубки тел, опухоли, органы, мучительно цепляются за жизнь.

Бобу Кастэру морфия не вспрыскивали. Раза два, три в неделю он шел в соседнее здание, к машине. Несколько минут насвечивания, а потом часы, часы томления и скуки (а самое непостижимое, — ночь!).

«Надо потерпеть, максимум месяц», — успокаивал себя. Сабина и друзья его еще не успели навестить, даже писем не получал. Был там, среди докторов, один венгерец, дравшийся за республику в Испании: очкастый, сутулый и злой. С ним Кастэр болтал по испански: сухо перечисляли названия рек и селений, запечатлевшихся в памяти. Однажды доктор неожиданно признался:

— Вы знаете, я не совсем понимаю ваше положение.

— То-есть? Вы разумеете мою болезнь?

— Нет, не болезнь, а вообще... Зачем вас здесь держат?

— Я получаю радий, — объяснил Боб.

— Вы не получаете радия, — возразил очкастый. — Мы это называем *placibo treatment*. Обреченных пациентов, чтобы

поддержать их морально, мы усаживаем перед аппаратом и зажигаем простую лампу: не отказываемся лечить, значит, есть еще надежда. Психология. Вы тоже получаете placebo. Но зачем, вот тайна.

— Спасибо, доктор, спасибо, товарищ! — догадался Боб: Поркин, трусливая тварь, его тоже предал, как раньше Прайт и еще многие.

Надо убраться отсюда поскорее; но уйти будет, вероятно, не легко. Начальство, в лице вразумительного и мрачного джентльмена, сообщило Бобу, что госпиталь не тюрьма, больной может, разумеется, получить discharge; однако, родные в таком случае должны взять на себя формальное обязательство опекать Роберта Кастэра. Социальный отдел проверит их способность заботиться о больном, удовлетворить его насущнейшие потребности. Тогда он свободен: закон, порядок.

Боб с радостью согласился. Отправил телеграммы Сабине и Сарту, многократно звонил. Но бесплодно. Ни ответа, ни отклика. Девушка, social worker, сухая, старая чиновница, приставала к нему с ворохом анкет, — помесь святой, Фрейда и Шерлока Холмса. И Кастэр понял: он в западне. Уходить надо по собственному почину. Начал оглядываться, примериваться, ища лазейку: как бежать, передать записку на волю, раздобыть одежду, деньги...

Пробраться на мост? Переплыть через реку: двести пятьдесят метров, сильное течение, и в какую сторону, — на восток или на запад? От любой случайности зависит успех: дважды ему не дадут бежать. Соорудить плот? Соседом Боба по койке был Джэк: ужасающая опухоль на все лицо, — перерождение тканей. Кажалось, голову его сунули в торбу из кожи и мяса, — мешок свисал до груди. Джэк не укладывался в привычные рамки: добрый он или злой, умный или глупый, блондин, брюнет, старый, человек или сумчатое животное, — не разберешь. Отвратительное, жалкое существо с предполагаемой бессмертной душой. Это он повадился нагло выслеживать Кастэра, — днем и ночью, — впрочем, даже иногда оказывая мелкие услуги: считался он в палате чем-то вроде старосты. При вся-

ком удобном случае повторял: «Когда больной кончает самоубийством или убегает, ответственна сестра. Я здесь двадцать лет и никому не позволю обидеть нашу сестру», — такие замечания, в перемежку с кваканием, бляением, ронял он в сторону Боба. У Джэка прорезался только один глаз и когда он, слегка отпяливая сумку кожи, поглядывал на Боба этим нечеловеческим оком, — мороз продирает по коже. «Хочешь, я тебя поцелую», — и смеялся, ржал. При еде, он рукою запихивал пищу куда то глубоко в полость рта. «Когда нибудь я тебя укушу вот этим самым ртом, ихи-хи».

Эта скотина обрела смысл жизни: впервые! Господа, поручившие Джэку сторожить Кастэра, очевидно, нуждаются в нем: лестно ведь. «У него появился стимул, теперь он счастлив и будет верным холопом, цепным псом, — решил Боб: — внимание, внимание».

Собственно, это помогло Бобу Кастэру, вдохнуло в него жажды победы, мести, злость, наконец! «Нет, гады, вы несомненно плохо меня знаете. Под Гуаделахарой я первый прыгнул с железнодорожного моста вниз на автомобильную дорогу и не разбился. Подождите, рано еще меня хоронить».

39. Западня

В палатах все еще соблюдалось отдаленное подобие жизни, с чинной сменой забот дня и ночи: сон, еда, уборка, обход врачей, отдых и прочее... Здоровые установили этот естественный порядок и больные, не рассуждая, подчинялись. Полумертвых заставляли принимать участие в условной игре и те не имели охоты и разума сопротивляться. На темных стенах висели плакаты военного времени. На одном, тонущий матрос, высунув руку из воды, гневно жаловался: «кто то проболтался»... Второй уверял: «И у стен имеются уши»... Buy War Bonds... Вид этих плакатов вызывал у Боба Кастэра неудержимый смех. В обстановке госпиталя весь ход войны казался детской забавою, по сравнению с удачно опорожняющимся желудком. Во мраке, в одиночестве, повернувшись спиною к самому себе, человек умирал и это было серьезно.

По утрам, кроме очкастого доктора, являлись еще другие, поважнее. К одиннадцати часам приносили завтрак. Пациенты, в жару, в поту, в блевотине, пихали себе куски в рот, в пищевод, иногда прямо в желудок, через резиновую трубочку у пупка, стараясь через силу зарядиться, — протянуть подольше. Напившись кофе, Боб поспешно выбегал наружу, если погода позволяла. Там, у захарканной травки, на лавочках сидели старцы из дома призрения: мудрые паралитики, выгнутые дугой в разные стороны, с язвами и маниакальными ужимками. Они курили, поплевывали, старушки ссорились, — все изнывали от скуки. Когда, издалека, мелькали белые штанины врача, кто мог подниматься, полз, ковылял навстречу, чтобы успеть крикнуть: Hello, doc... все таки развлечение.

Боб Кастэр медленно брел по тропинке; иногда к нему присоединялся очкастый. Шли у самой кромки набережной: внизу вода неслась мутная и бурная, причем не на юг, к морю, а на север! Военные корабли медленно плыли мимо, маленькие, коренастые буксиры тянули баржи-платформы, груженные теплушками. А на западном берегу высился, подобно отелю, модный госпиталь, где, следует полагать, все, — кроме боли и смерти, — образцово и добропорядочно.

— Почему вы не поступите туда? — спросил однажды Кастэр. — Ведь вам тоже противно здесь околачиваться.

— Там евреев не принимают, — объяснил очкастый.

— Впрочем, здесь у вас большое поле для научных экспериментов, — вежливо утешил его Боб.

— Научных экспериментов? — удивился тот. — Здесь доктор нужен только, чтобы засвидетельствовать смерть. Закон: to pronounce him dead... Когда меня зовут ночью к больному, я не думаю, как бороться за его жизнь: дать ли кислород, впрыснуть адреналин, сделать переливание крови... Нет, он уже скончался и я должен официально признать его мертвым. Вы знаете, — оживился очкастый. — Когда Микель-Анджело расписал храм картиною Страшного Суда, то папа нашел соблазнительным это обилие голых тел и поручил другому художнику, вполне благонадежному, надеть штаны на

всех интегральных нюдистов. Художник работал несколько лет и благополучно прикрыл их срам. Его прозвали «панталонщиком»; и когда он показывался на улице, мальчишки кричали: «Панталонщик идет, панталонщик» . . . Вот таким я себя чувствую, когда размеренно шагаю по острову из staff house к госпиталю. Я не доктор. Я Pronouncer of death, Pronouncer of death.

По вечерам на том берегу зажигались фонари, вдоль набережной бешено мчались автомобили, гуляли влюбленные парочки. «Там город, там город», — шептал Боб Кастэр, прильнув к дверному оконцу. Вспоминал Сабину, молодость, другой шум и огни . . . Хотелось немедленно прыгнуть, врезаться с обнаженною саблей в гущу жизни, погибнуть смертью храбрых или победить. Выполнить по совести не только свой долг, но и всех этих нищих, слабых, калек, обездоленных, сдавшихся, а теперь умирающих, бесславно, неудачников.

Боб Кастэр украдкой пробирался на террасу; в тысячный раз соображал: в каком месте благоразумнее нажать, ударить, прорвать окружение. Но в темноте за ним безмолвно следовал сторожевой пес, хитрый и назойливый Джэк.

Очкастый доктор отказался передать письмо Сабине. С растерянной улыбкою, не объясняя причин, уклонился.

40. PRONOUNCER OF DEATH

Ночь воцарялась в госпитале рано. Тухли огни, замирала жизнь. Изредка вздох, крик одурманенного больного; холодно блестящие, пригвожденные глаза в темноте. Сестра, негритянка, толстая, лоснящаяся, будто морж, дремала у столика с тусклой, замаскированной лампочкой. Запах. Падали, кала, агонии. И вдруг из мрака, фигура призрака, танцующего почти на четверенках, — это полумертвому вздумалось пробраться в уборную . . . Движения его подобны пляске дервиша.

Вот сестра склоняется над больным: смотрит, шупает. Нерешительно отходит. Через пол-часа возвращается, снова внимательно изучает его, потом расставляет кругом койки

полотнища ширм. Скоро телефонный звонок раздается там, где комнаты докторов. Хромой, уродливый детина, из бывших арестантов, проковыляет по коридору и громко застучит в дверь к очкастому. Пока очкастый выходит из комнаты к телефону, хромой успел уже скрыться за поворотом длинного, узкого коридора, — и неизвестно, стучал ли действительно кто-то видимый, трехмерный или это почудилось доктору.

Ночная сестра сообщает: смерть в А-2.

— Хорошо, — угрожающе отзывается очкастый. — Хорошо.

Возвращается к себе. Надо одеваться. Как хочется спать, закрыть глаза, раствориться. Его вырвали из самого центра сладчайшего забвения! Улыбается: если бы не разбудили, никогда бы не узнал этого. Пленительность сна проявляется только на границе, — когда тормозят и мучают. «В сладости сна есть что то похотливое: сладострастное стремление к небытию, — думает очкастый. — Так покойников придется поднимать к вечной жизни из объятий упоительного покоя и они будут греховно сопротивляться».

Он ложится в постель еще минут на пять, десять, как ему мнится, но шаги хромого, — снова за дверьми и наглый стук. Его жизнь принадлежит смерти, она ждет и заигрывает.

Одевается и выходит. Тюрьма, вселенная, остров. Он и смерть. Гулко раздаются шаги. Pronouncer of death.

Тень госпиталя, мрачные коридоры, темные лестницы, тишина, пустынный лифт, окна в ночь. Завидев очкастого, сестра, — от нее пахнет моргом, — говорит:

— Сюда, сюда, — она боится ответственности, пусть доктор проверит.

Очкастый не желает больше смотреть на трупы: точных границ нет, все условно. Лучше сразу подписать карточку: Patient pronounced dead at 3.15 A. M. . . Чтобы успокоить негритянку, подбегает к усопшему. Накануне он видел его, еще брал за руку, щупал пульс: слабое, страдающее существо. И вот теперь это плотный предмет, — подобно дереву, кости, камню. Смерть укрепляет тело. В жизни мучается, немощно

тело (а в смерти, быть может, начинаются испытания для духа, великие странствования). Плоть в смерти обретает неуязвимость, свое вечное бытие. Смерть только форма жизни.

Очкастый обходит и другие палаты: будут еще звонки, через час или два. А «подписать» их теперь запрещено... Этот, вероятно, — под утро! А сосед его еще протянет сутки. Оба без сознания. Но в то время как первый дышет напористо, рьяно, с переливом, второй тихонько, незаметно, — на самой границе колебания маятника. И это его спасает. Так, из сосуда вода уходит быстрее, если уровень жидкости выше.

Не хватает кислорода в крови и человек задыхается. А если дать ему много кислорода, он тоже перестанет дышать, за ненадобностью: арнеа, — некий кислородный рай. Вечность и противоположность, — небытие, — схожи. В обоих случаях не будут дышать: в одном не могут, а в другом не нуждаются в этом.

На своей койке сидит негр, Боб Кастэр. Очкастый опасно кивает ему головою: отчаянный, еще пырнет ножом.

«Нет, братец, мою карточку ты не подпишешь», — по волчьим скалит Боб зубы.

Доктор проходит в другую палату. Мрак, вздохи, запах, запах и неподвижные тела: беженцы с чемоданами на вокзале после бомбардировки...

Из ночи глядят их пасмурные лица: словно обуглившиеся. Вот в одном углу или в другом, на подушке, неожиданно светлый лик, почти лучеиспускание, нимб, — есть и такое, но редко, ох как редко. Чистые, свои краски они заработали раньше, в миру, или просто получили их по благодати. Очкастый готов поверить: «темные уходят в ночь, в минерал; тогда как этот светлый, кроткий на подушке, — для него смерть скачек из одной жизни в другую».

Вот женщина, тяжело, мучительно тужится, чтобы родить свою смерть: грузно упирается в подушки. Очкастый берет ее руку: липкий, густой, холодный пот... Что-то общее с роженицей. Такой же вязкий, пристающий пот, только другой температуры, и страдальческая растерянность. «Там тело ро-

жает новую душу, здесь душа убивает тело». Доктор смотрит ей в глаза: она злобно, умоляюще и беззащитно настораживается. Молодая. Обречена. Рак. Случайно у нее, а не у очкастого. Он здоров, — вот рядом с нею, все ему принадлежит и даром, незаслуженно! Какая несправедливость, бешеное везение. Надо бежать, спешить, делать что-то, пользоваться этим. Но он вернется к себе, ляжет в постель, утром нудная работа, снова сон, еда; в дни отдыха — кинематограф, знакомые... И бессмысленный ужас ее смерти помножался на ужасную бессмыслицу его жизни.

Очкастый изнеможенно присаживается за столик сестры. Перед ним под стеклом, отпечатанные инструкции, — на случай смерти пациента. Закурив папиросу, рассеянно пробегает взглядом знакомые параграфы...

“2. Return to the bedside, lower the gatch, place the patient in a recumbent position, straighten the limbs, place a pillow under the head, and see that the eyes and mouth are closed.”

“5. Assemble any property which the patient may have in the bedside unit, e. g., rings or any religious articles. Label these and put them in a safe place until they can be removed to the Property Office.”

“8. If the eyes did not remain closed, pull out the lower eyelid so as to make a pocket, place a few shreds of cotton or a small piece of thin paper in this pocket and bring the upper lid down over it.”

“14. Bath the face, neck and ears, and comb the hair. Pack the rectum with non-absorbent cotton.”

“18. Cross the hands over the chest and tie them together...”

Очкастый грузно спускается по лестнице, бредет по гулкому темному корридору, где рентгэн, машины, глухо запертые конторы. Кто то мелькнул за углом, крадется, а может почудилось. В такие часы начинаешь верить в любой вздор: смерть костлявыми пальцами вцепится в глотку. Впрочем, подстерегают и другие опасности... Года два тому назад здесь служил санитаром бородатый мужчина с тихой улыбкой (до того, сидевший в Bellevue в отделении для душевных больных); как то ночью, он прыгнул сзади на дежурного врача и полоснул его бритвою.

В пустые окна скребется ветер, царапает тонкие переборки. Смерть играет с очкастым в прятки. •Когда доктор в палате, она выбегает наружу (а только он уляжется, опять звонок: смерть в Д-2).

Мерно и веско звучат шаги по камням. Pronouncer of death. Небо, облака, звезды; крыса перебежала дорогу: прокралась к воде (вчера искусали паралитика) . . . Мимо морга: здесь стоит машина и по ночному хрипло и тихо беседуют рабочие. Вот Occupational Department. Там старцы могут учиться ремеслам и развлекаться. Дальше, огромный стеклянный ангар: здесь по вторникам и пятницам показывают большим фильмы.

Всё «ракет». Честная душа сидит десять лет в своей комнате, изобретает радио, витамины, группы крови, сыворотку. А потом это превращается в «ракет». Маленькую истину раздувают в гигантскую ложь. Зарабатывают деньги. Рекламируют. Статистика, аппендициты и амигдалы, психоанализ. Жулики с благоухающими лысынами. Но все умрут. И «ракетиры» и их жены и дети и даже враги «ракета». А в палате С-1 на тридцать старушек семь девственниц.

41. Чайки

Все увеличивая радиус своих прогулок, Боб Кастэр незаметно изучил остров во всех направлениях: профиль берегов, топографию, особенности реки и течения. С юга видна кромка почти открытого моря. Чайки, чайки кружили над камнями. Кто первый изобразил чаек белыми, поэтическими птицами? Вообще, сколько лжи и условных штампов в нашей культуре. Курицы будто бы не решаются перешагнуть через нарисованный круг, страусы зарывают голову в песок или прячут ее под крыло, голуби нежно воркуют . . . Чайки, жадные, хищные, трусливые птицы, серо-грязного цвета, издающие отвратительный, горловой звук.

Остров тянется к северу, расширяясь к центру и сужаясь на полюсах; мост, соединяющий оба берега канала, упирался в остров несколькими каменными башнями. Взобраться по

такому столбу на уровень десятиэтажного здания, по меньшей мере, рискованно.

Спасаться вплавь . . . Но в какую сторону? Хотелось бы на запад, поближе к дому; а там берег крутой, высокий, забран цементом и железом, — течение бурное, — не всюду вылезешь! Восточный берег отлогий; у самой воды расположены площадки заводов: склады, бараки, уголь, бочки. В темноте полыхало пламя печи, грохотали краны . . . Ночью проскользнуть не трудно. Но затем надо, как-то, пробираться через сеть недружелюбных кварталов: в мокром больничном халате, без единого цента. А на той стороне он бы сразу вынырнул у знакомых ему мест . . .

Итак, путь — на запад. В полночь выскользнуть из палаты, пробежать к воде . . . прыгнуть. Это выполнимо (не наткнуться бы на баржу, на буксир). Если ктонибудь его задержит в последнюю минуту: вот камень, камнем по голове и конец. Жаль: нельзя ударить по китам, затеявшим эту травлю. Поневоле воюешь с воробьями и плотвою, а экземпляры покрупнее при всех обстоятельствах уцелеют. Впрочем, Боб Кастэр надеется когданибудь побеседовать и с ними. Видит Господь: в Кремле, Ватикане или Белом Доме, — все равно! «Но что, если они и тут и там и во мне и в других местах? Что, если вся утвердившаяся жизнь против живого человека? — с ужасом спрашивал себя Боб: — Без замысла и расчета, а спонтанейшая, мировая, враждебная небрежность . . . Но чем больше трудностей, тем больше нужды их преодолевать. В этом диалектика творчества и преображения жизни, — озорно решал Кастэр: — «Нет, мы еще повоюем».

Вообще, с той поры, как борьба перешла в материальный план, — явные враги, стены, стража, — злое, торжествующее веселие воцарилось в его душе. Чувствовал прилив новых сил и дьявольскую решимость.

В этом настроении Боб однажды наградил увесистой оплеухой некстати подвернувшегося Джэка.

— Что вы делаете, вы играете им на руку, — укорял его потом очкастый доктор. — Назначена психиатрическая кон-

сультация. Придет лысый рамолик, ученик Шарко и будет вам задавать идиотские вопросы: число, день, год, имя, фамилия, возраст . . . Уколет булавкою и осведомится: острый конец или тупой? . . . Затем пробирки с водою: холодно, горячо? Вы ответите: тепло! Вы наверное попадетесь, смолкнете, удивляясь его глупости. Этого они добиваются: вас отправят на испытание в сумасшедший дом.

Они гуляли по набережной. Очкастый с отвращением ткнул рукою в сторону маленького парома, криво пересекающего канал:

— Посмотрите на этот паром и вы многое поймете. В зимние туманы он не может найти берега, машина слаба, не выгребает; его уносит к чорту на рога. А вот напротив модные здания, с джентльменами на хорошем жаловании. Но и там рутина, рутина, рутина. Ломать, так все ломать. Строить, так все строить. Нет места для частного случая. Сидите и не двигайтесь, ждите приказа. Пенициллин? Всем давать пенициллин! Витамины, — всем витамины! Рентген, психоанализ, Эйнштейн, Тосканини, ура! И писать, писать: отчетность. Если больной умрет, а chart его, — огромная, увесистая тетрадь, — в порядке: вы covered. Но если пациент выздоровеет, а chart не полная, это катастрофа, с точки зрения суда и страховых обществ. Милостивые государи, — воодушевился очкастый. — Известно ли вам, когда вы будете covered на все 100% и притом землю?

— Да. И по моим наблюдениям: медлительность, рутина и боязнь личной ответственности, — задумчиво согласился Боб. — Но чем вы однако объясните нашу успешность в войне: мы снабжаем пол-мира и спускаем чуть ли не ежедневно по большому кораблю?

— Это я называю чудом. Злое, соблазнительное и страшное чудо безличного производства, — охотно отозвался очкастый: — Чудесно, как процветает материальная цивилизация, если исключить элемент личности. Египетские пирамиды, римские акведуки. Понятие бессмертной, неповторимой, незаменимой каждой человеческой личности — необходимое

условие, климат, великой культуры; но оно мешает строительству дамб и конвейеров. Личность умирает и вместе с нею культура: мы входим в цивилизацию Великого Муравейника. Советский коллектив, американский team work и бюрократия. Говорят, что после этой войны уцелеют только две великие державы и конфликт между ними неизбежен. Я не вижу почему: они очень схожи и одинаково тяготеют к муравейнику. В Нью-Йорке никто не знает разницы между понятием личности и индивидуальности.

— Понятие личности и христианства связаны, — отзывался Боб Кастэр. — Я бы сказал так: в каждой великой культуре, даже древнейшей, есть элементы живого Христа, тогда как цивилизация неумолимо языческого происхождения. Цивилизация это внешний процесс усложнения во имя комфорта. Представьте себе двух человек, тянущих за разные концы канат: есть такая детская игра. Потом их четыре, восемь, двадцать, миллион, с каждой стороны. Скоро уже нет места для желающих вцепиться в канат, а приложиться необходимо, иначе не проживешь. Изнемогая, тащат, толкаются, извиваясь: где тут думать о личности! Положение становится все более и более неустойчивым, как в металле со сложной атомной конструкцией... Наконец все летит к черту, распадается: катастрофа. Только тогда освобожденная личность оживает и вместе с нею возможность великой культуры. Вот наше позорное прошлое. А задача в том, чтобы сочетать существование личности со сложной цивилизацией. Личность готова к этому, она изнутри возвращается к обществу: только с целым живет. Индивидуум отрезывает себя от мира, исключает себя, и потому он мал, ограничен, как бы ни была велика данная индивидуальность. Индивидуальность центростремительна, а личность центробежна. Парадокс личности в том, что она сливается с миром. Можно сказать, что в основе цивилизации лежит индивидуум, а в основе культуры личность. Я думаю, что уровень и ценность данной культуры измеряется правом и возможностью личности жить и служить, не искажая своего образа: свобода от внешних указок, в том числе и биологических.

Если негр утверждает, по совести, что он белый, старуха, что она молода, а юноша, что он поэт, им должны верить.

Так они беседовали, как два беглеца с окраин империи в римских катакомбах. А в среду пришел лысый ученик Шарко. На его вопросы нельзя было отвечать без улыбки, а он вопил и требовал кратких, точных определений. Вода в пробирках, пока за них принялись, была одинаковой температуры. Булавку тот совал не равномерно: иногда тупой конец колот, а острый не задевал. И опять Шарко обиженно кричал.

— Вас назначили к переводу в психиатрическое отделение, — сообщил Бобу Кастэру очкастый: — Для систематического наблюдения. Я могу оттянуть денька на два, а там «викэнд», скажем до будущего понедельника, это все, что я могу сделать.

— Спасибо, — равнодушно поблагодарил Кастэр: «сегодня ночью бегу», — прозвучало.

А во время дневной прогулки, молодая сестра, красавица мулатка с Ямайки, сверкнув очами, сунула ему промасленную записку. Первое впечатление: влюбилась, назначает ему свидание. Всего две строки: Сегодня в «Аляске», займите стул в 3-м ряду, крайний слева.

Сердце благодарно сжалось. Кто-то близкий, родной, Сабина... А почерк незнакомый, мужской.

42. Аляска

Ангар, где по вторникам и пятницам развлекали больных, почему-то назывался Аляской. Представление обычно началось в 6 часов вечера. Но уже с пяти часов к длинному, куполообразному, крытому стеклом, зданию, тянулись, со всех концов, хромые, горбатые, слепые, изуродованные, так в канун престольного праздника бредут, издалека, униженные и страждущие, — в Лавру, приложиться к мощам, испить святой водицы.

Ехали на креслах-самокатках, на велосипедиках, приводимых в движение ручной педалью, собирались стайками, по принципу взаимной пользы, обмена услугами. Выбирали место

поудобнее, устраивали свои возки, окликали друг друга, лениво шумели; угомонившись, поздоровавшись со случайными или желанными соседями, стихали, курили, сплевывали, кашляли. Старушки сплетничали, грызли орехи, леденцы... Вообще вели себя как зрители в любом театре на Бродвее. Смеялись шуткам любимых комиков, сочувствовали влюбленному герою; а когда на экране дива надевала чулки или халатик, — вынырнув из пенистой ванны, — вскрикивали, улюлюкали, свистали. (Ночью в палатах темно. Подрублены корни. Куда убежать, где спасение)...

Боб Кастэр один из первых занял место: третий ряд, слева, — как надлежало по записке. Присматривался к тускло-живописной толпе: жалкие, бьются, верещат, словно мухи попавшие на клейкую бумагу. «Люди читают в газетах о зверствах и казнях, ужасаются. Но ведь мы все тоже обреченные заложники, дожидаемся очереди у крематория. И чем ближе конец, тем слабее человек и ему труднее пролезть в дверцы».

Бобу недавно вырывали зуб: было похоже на казнь. А первый зуб ему удалили в Париже, без укола... и молодой, веселый, он тотчас же поехал в Сорбонну, на практические занятия. «Юноша может легко и без страха умереть. Но какая несуразица: итти на эту мучительную операцию, дряхлым, слабым. Отправиться в опаснейшее путешествие на полюс в самое неподходящее время года».

Напрасно Кастэр озирается, ищет, ждет сигнала, знакомого лица. Кругом шепчутся, беснуются уроды. Все тягостнее, все мучительнее неизвестность: с ним сыграли злую шутку, высмеяли, где Джэк...

В шесть часов грянула музыка: классическая. Накормив публику отрывком из Бетховена, заведующий зрелищами энергично промчался несколько раз взад и вперед по залу, выключая свет. Лицо у него было зверское: гангстер раннего периода Холливуда. ("It's a good racket", — одобрительно прошептали зади Боба).

Фильм оказался из жизни ирландской семьи в Америке. В госпитале большинство сестер ирландки, католические свя-

щенники ирландцы, шоферы автобусов, пожарная команда . . . (В Нью-Йорке нет осознанных классов; имеются касты, цехи, по расовому признаку, с жесткой иерархией: от париев-негров медленно поднимаясь до хозяев англо-саксов). Все они порядком надоели Бобу и он без особой симпатии следил за перипетиями любовной драмы. Сзади, опять кто-то шопотом заявил, что на постановку этого фильма истратили два миллиона. Цифра утешила Кастэра: только, чтобы спасти дрянь, нужно вложить такой капитал; хорошие вещи: воздух, виноград . . . даются дешевле. Не сразу почувствовал, как его осторожно дергают за локоть: в кресле-самокатке, укутанный шалью старик. Нежно и благодарно рванулось сердце Боба.

— Смотрите вперед, на экран, — приказал доктор Спарт. — В субботу или воскресенье, зависит от погоды, ровно в полночь ждите сигнала с лодки: электрический фонарик. Два длинных, затем три коротких: 23. Я причаляю у католической церкви: ясно?

Боб кивнул головою.

— Вот сверток: макинтош, туфли и деньги. Под стелькой найдете пилочку, на всякий случай. Мы им наставим длинный нос.

Ему хотелось еще поговорить с близким человеком, узнать новости. Сабина . . . Но Спарт боялся:

— В порядке, в порядке. Сабина нас будет ждать в баре на 2-м Авеню, — и откатил кресло.

Немного погода, пробираясь к выходу, Боб заметил Джэка: откинув рукою грыжу с лица, он пристально глядел на экран своим удивленным, лошадиным оком.

— Погодите, будет еще Walt Disney, — любезно осклабился Джэк.

— Н-нет.

— У вас не будет папироски? — спросил он, догоняя Боба.

— Нет. Или, вернее, есть, но не дам. Скажи, ты очень сильный? — Боб внимательно ощупал его коренастые, чудовищные плечи.

— А что? — ухмыльнулся Джэк. — Это ваш пакет?

— Я очень сильный, когда обозлюсь, такое совпадение, — и зашагал прочь, весело насвистывая.

43. Бегство

Последующие дни протекали без осложнений. Внешне Боб, казалось, примирился со своей судьбою: всем было известно, — назначен к переводу в госпиталь Bellevue. Исподтишка за ним посматривали: со страхом и жалостью, а кое кто из умирающих и завистливо.

Много спал, раскладывал пасьянсы, иногда помогал сестрам разносить завтрак, обед. Место, где, предполагалось, пристанет лодка, Боб Кастэр изучил досконально: почти руками обмерил, обшупал подступы. Церковь можно обогнуть справа и слева; перепиливать стены или решетки нет надобности. Одна забота: Джэк. О нем Боб решил временно забыть. Эта дикая скотина все равно не поддается учету.

В субботу, под вечер, чтобы отвлечь подозрение, Боб сразу завалился спать. И, действительно, Джэк, посидев рядом, приняхиваясь и почесываясь, успокоенный отлучился: он изредка ходил к соседям играть в грошевый покер. (Смесь Тулуз-Лотрека и Гойя: карлики, злокачественные опухоли, язвы, — возбужденные, за картами).

Душно, белье липнет к телу, кружится голова. После одиннадцати Боб прокрался в коридор на второй этаж, жадно прилип к грязному окну: казалось стекло нарочно и старательно замарали, такой толстый и густой слой липкой пыли был на нем.

Видимость плохая, туман, возможен дождь. Сзади страшный, нелепый и чем то заслуженный ад, а впереди столб пламени, накал ламп, — неопределенное зарево города. Вот он, Кастэр, на подобие графа Монте-Кристо, узник несправедливо осужденный и мечтающий о свободе, мести.

Полночь. И еще четверть часа; 12 с половиною, а сигнала нет. Боб утешает себя: ничего, вот если завтра фонарика не

будет, это беда. Впрочем, тогда он попытает счастье на собственный страх и риск: благо деньги есть.

Тихохонько проскользнул к своей койке, — на ощупь. Джэка рядом еще не было.

Воскресенье выдалось жаркое, но с ветерком, ясное. Дух в госпитале царил праздничный, весенний. Сестры сходили к ранней обедне, помыли больных. Люди стали чище и мягче (кроме тех, на очереди, — одурманенных болью и морфием). Боб понял вдруг, что у каждого у них за плечами длинная жизнь с удачами и потерями: жена, дети, ремесло, болезни, выкидыши, внуки . . . Как у Рокфеллера, у микадо, у малайского рикши.

Джэк пытался даже острить, забавляя молодых сестер: смех его, густой, звучал прямо из кишек. Завтрак был лучше: даже полумертвые пихали себе в рот или трубки сладкое желэ. И все таки, томительно медленно тянулся этот день.

К вечеру погода опять переменилась и ночью заморосил редкий, парной дождик. Боб избрал новую тактику . . . Долго путал по коридорам и лестницам, изводя Джэка: тот мечтал о покое и сне, после предыдущей гулянки. В десять они улеглись и сразу стихли: любопытно, Джэк никогда не храпел.

И опять Боб всматривался в ночь над рекою; он стоит со свертком подмышкою, на открытой террасе, у самой лестницы, готовый по первому знаку ринуться вниз. Но, когда запульсировал огонек: два тире, затем три точки . . . Кастэр замер от неожиданности, застигнутый врасплох.

Через минуту уже мчался огромными скачками к условленной площадке. У самой воды, над обрывом, застыл, вперив лицо в даль: туман, завеса, где-то идет буксир и его грубое дыхание колотится о берег.

Вот, показалось, слабый огонек, шагах в пятидесяти от земли и скрип, словно, уключин. Боб достал спички и под халатом, изловчившись, хотел было зажечь одну. В это время на него что-то сзади навалилось, теплое, обхватило тисками и начало давить. Боб метнулся в сторону и, оступившись, шлепнулся в реку. Ледяная вода полоснула, — ножом, — захлебы-

ваясь, всплыл... Попытался нащупать, разобрать: зверь ли, человек насел... и где верх его, где низ? Но ничего этого в мягком, мохнатом и могучем теле врага не удавалось отличить. «Иисусе, Иисусе», — взмолился Боб и последним усилием, отчаянным, судорожным броском, подмял его под себя, зажимая и все таки брезгливо отстраняясь. Страх, злость, покорность и безвозвратная решимость... Это ли испытывал Яков, когда боролся с таинственным Ангелом, на пол-пути!

Очнулся Кастэр на спине: его несло, болтало стремительным потоком.

«Чей это неприятный хрип?» — подумал и догадался: его собственный, испуганный и яростный. Кромешная тьма: один на вселенную. Где друг, где отец? Лодки не видно. Только очертания влажных бесформенных масс повисли над самой головой. Опять буксир: тяжело и добросовестно вздыхает.

Разбитый, замерзший, наглотавшись воды, Боб Кастэр, не размышляя, поплыл в сторону, подальше от машины и вскоре очутился под выступом берега: чуточку повыше места, откуда упал.

Обдирая руки, вскарабкался и быстро зашагал прочь, хромя, не замечая, что повредил себе ногу. Холодно: всего трясет. И все таки: странное удовлетворение, полная ясность, душевный покой. Тишина. И что-то понятно.

«Надо передохнуть», — шепчет неповоротливыми губами Боб, устало озирается: где Джэк, его не видно.

Ночь, ночь. Кругом ни огня. Ковыляет человек, а за ним, слегка отстав, вечность.

Боб знает: в палату он не вернется. С этим покончено. Надо отдышаться. Придерживая ногу, бредет к скамейке.

Задремал или впал в забытие: минута, час... Когда опомнился, небо уже прояснилось, очистилось, светлело. Редкий, весенний ветер разгонял туман.

— Вы простудитесь, безумец, — говорил знакомый голос: очкастый доктор склонился над ним.

— Ах, это вы, — искренне обрадовался Боб. — Вы видите,

я покидаю остров. Я уже прыгал в воду и сейчас опять попробую.

— Да? — серьезно и задумчиво осведомился тот и неожиданно добавил: — Идемте, идемте со мною.

Боб беспрекословно повиновался. Они пересекли остров с запада на восток, подошли к старенькому, каменному павильону, обросшему не то мхом, не то плющом; по витой лестнице поднялись на второй этаж и на ципочках прокрались в комнату к очастому, похожую на монастырскую келью или тюремную камеру.

— Быстро, меняйте платье, — сказал доктор, явно волнуясь.

— У меня был сверток, — попробовал объяснить Боб, но не закончил и начал облачаться. Надел белье, потрепанные брюки, светер и куцый плащ.

Не мешкая пустились вниз... Пустырь, лужи, затем, по виду, модный отель, снова пустырь и вот, — мост. Небрежно прошли мимо привратников: те глянули профессионально-зорко на доктора и его спутника. А дальше лифт, тяжелый, медлительный и огромный: подкинул их на уровень моста. Опять рогатка.

— Hallo Smithy, — кивнул очастый.

— Нí doc, — с достоинством отозвался ирландец Смит.

Железные прутья последней преграды: шелк, шелк, — пропускает только по одному человеку зараз. Крытый коридорчик. Свобода: мост, шоссе, рельсы, надписи, — запрещено, штраф. Дребезжа подкатил старенький трамвайчик; Боб шагнул, дал никель, звякнул счетчик. «До свидания, amigo». И трамвай затрясся, мигая лампами, унося запах морга и крыс.

Ровно через час, Боб, счастливый, разморенный, уже сидел в баре на 2-м Авеню, — рядом Сабина, вымокший Спарт и Прайт, — глотал scotch рюмку за рюмкою и с любовью прислушивался к взволнованным голосам, — не понимая их рассказа.

— Ну что ты, ну что ты, говори, — бессвязно повторяла Сабина и заливалась смехом...

А утром его и Сабину разбудил тревожный звонок:

— Special Delivery! — Сабина приняла пакет, не успев вручить мальчишке четвертака (по отцу англичанка, она, однако, не была скупа).

“To whom it may concern”... — значилось на официальном бланке... Принимая во внимание обстоятельства, изложенные в прошении от 1.3.1943, настоящим удостоверяем, что Роберта Кастэра, — 36 лет, местожительство г. Нью-Йорк, — несмотря на темную окраску кожи, надлежит считать расы неопределенной (indefinite) ...

— Ох-хо-хо-хо, — утробный, безудержный, отвратительный хохот потряс Боба до основания. — Милая, милая, — силится он произнести: — Ты замечаешь, как это просто.

— Для начала это не плохо, — рассудительно подтвердила Сабина. — Знаешь, давай обвенчаемся.

В. С. Яновский.

(Окончание следует)

АНАПЕСТЫ

1.

Ты, быть может, давно умерла, —
были: голод, война и блокада;
и ни месяца и ни числа
Я не знаю . . . И знать их не надо!

Часто вижу, как бы наяву:
за глухой и высокой стеною,
ты зимою глядишь на Неву,
как глядела когда-то со мною.

Снова чувствую теплой щеки
мимолетные прикосновенья . . .
Отзвучали и так далеки
эти годы, часы и мгновенья.

Как жила ты вдали от меня?
Не моей, а чужою женою
все ждала непришедшего дня
недозволенной встречи со мною.

Вспоминала: в ночной синеве
екатеринославские степи ,
поцелуй на весенней траве
и созвездий летучие цепи.

Словно льдинки, в поток снесены
наши жизни слепую волною.
А бывшее — минутные сны
примерещившейся стороны,
где была ты когда-то со мною.

2.

Ни обрывка письма . . . Ничего
твоего не осталось на память.
Все лишь творческое колдовство
да стихов этих бледное пламя.

По ночам, точно в темном кино,
одержимый мечтою шальной,
жду, что вот оживет полотно
и появишься ты предо мною.

Пережитым страданьем горда,
улыбнешся знакомой улыбкой;
и останешься так навсегда
на поверхности бледной и зыбкой.

Отыскать хоть какой-нибудь след
твоего на земле пребывания.
Кинематографический бред . . .
Звукозрительные сочетанья . . .

Максимилиан Ильин.

БАРАТЫНСКИЙ

Средь тощих мхов и валунов гранитных,
Где небеса лазури голубей,
Внимая отгул водопадов слитных,
Любовь он пел чухоночки своей.

Взыскупя смерти с благовестьем мира,
Как разрешенья всех земных цепей,
Он зрел в пустом круговороте мира
Бессмысленное повторенье дней.

Он плыл навстречу золоту и свету,
Но серых сумерок сгустилась тень,
И смерть пришла к избраннику-поэту
И увела в заоблачную сень.

Глеб Струве.

Калифорния, 1947 г.

БЕССОННИЦА

Нам не дано ни в жизни, ни во сне
Земных путей закон нарушить строгий.
Скажи, в какой неведомой стране
Идешь теперь невиданной дорогой?
Какое солнце светит над тобой?
И так же ль вечер, как большие крылья,
Наводит в поле сумрак голубой
И грусны дня последние усилья?
И тот же ль ходит ветер полевой?
И так же ль ветви, как больные руки,
В осенний вечер мертвою листвою
Стучат в окно . . . и плачут о разлуке?
Что делать всем печальным и больным
И любящим такой любовью нежной?
Лишь дальний поезд голосом стальным
В ночи поет о встрече неизбежной . . .

ЛЕКСИКОНЫ

Свободной речи звонкие законы
Как бабочек на полках приколов,
Хранят в пыли седые лексиконы
Музейный ряд угасших, серых слов.
Живому слову скучно с мертвым роем:
Столбцы слогов, как длинный ряд гробниц,
И крылья ранит беспощадным строем
Тяжелый груз слежавшихся страниц.
Но мысль придет, надгробный сдвинет камень,
Раскроет запыленный переплет —
И взмлет к солнцу, как большое пламя
Живого слова радостный полет!

Елизавета Шувалова.

*
**

Поэт возлюбленных своих
Дарит, как дарят только боги:
Коленопреклоненный стих
Ведет их в вечности чертоги.

Потомки через ряд веков
Их видят в славе и величьи,
Одетых в магию стихов
Лауру, Ризнич, Беатриче.

Не в темном и немом гробу, —
Оне в поющей, светлой дали.

.
Благословим свою судьбу,
Что мы вблизи их не видали.

Сергей Яблоновский.

ПАРИЖСКИЕ МОТИВЫ

Сиреневые сумерки струят
Прозрачный дождь, — парижский, серебристый.
Над Сеною у букинистов
Любители листают наугад
Старинные страницы:
Дуэль, пастушки, рыцарь
Из мира, потонувшего давно,
Встают на миг и падают на дно.

Прозрачный дождь. И на чудесный миг
В чуть зримой, легкой дымке паутины
Нисходят со страниц старинных,
Расставшись с переплетом книг, —
Пастушки из невинной сказки
И дуэлянты в полумаске, —
Жеманный, странный мир, — как сон.
Да был ли в самом деле он?

Застыли у ларьков своих,
Нахохлившись, седые букинисты.
Как этот зыбкий мир, затих
И дождь над Сеною. Под зов горниста
Синь нежных сумерек над ней
Легла монашескою рясой, —
Простор парижский опоясав
Жемчужной ниткой фонарей.

Г. Яковлев.



Она одна в наивной нише,
Среди разметанных камней,
И ветер улицы колышет
Цепь четок на руке у Ней.

Вокруг Нее светло и голо,
На небе липы спят окрест.
С нагого страшного престола
Истерзанный склонился крест...

Она слыхала вой сирены,
Снарядов вой, разрывы бомб,
Вокруг Нее упали стены,
Ее поруган тихий Дом.

У ног Ее неугасимо
Пылает рошица свечей.
Она все так же просит Сына
Равно за жертв и палачей...

1947 г.

Галина Кузнецова.

РАЗРУШЕНИЕ ИЛЛЮЗИЙ

1.

Быть может, правы те, кто утверждает, что коммунистический переворот в Чехословакии не произвел решающего изменения в реальном соотношении сил в мире. Этим не уменьшается его огромное морально-политическое значение. Достаточно указать на то необычайно сильное впечатление, которое трагедия Чехословакии произвела в демократических странах. Здесь действовали психологические причины разного характера. Для тех, кто уже и раньше с возрастающей тревогой следил за повторными актами советской агрессии в восточной Европе, пражский переворот явился последней каплей, переполнившей чашу давно накоплявшегося негодования. Одновременно этот переворот не мог не нанести тяжелого удара тем иллюзиям, которые, вопреки всему после-военному опыту, все еще были широко распространены в некоторых общественных кругах западного мира.

Втечение почти трех лет Чехословакия представлялась этим кругам как своего рода исключение среди советских «сателлитов». До известной степени она и была таким исключением — и оставалась им до тех пор, пока это было выгодно советскому правительству. Правда, для более осведомленных и внимательных наблюдателей давно уже было ясно, что в точном смысле слова о независимости Чехословакии говорить не приходится. При вынужденной полной координации чехословацкой внешней политики с советской, иллюзорной была возможность для Чехословакии быть «мостом между Западом и Востоком», свободной посредницей между Советским Союзом и западными демократиями. Трудно было говорить о полной независимости Чехословакии и для тех, кто знал о таких фактах, как аресты и вывозы в Советский Союз русских политических эмигрантов, проживших многие годы в Чехословакии и когда-то пользовавшихся поддержкой и доверием чехословацкого правительства.

Не было и полной демократической свободы внутри страны — и не могло быть при влиятельном положении в прави-

тельстве коммунистов, за которыми стояла вся мощь Советской России. Не было и не могло быть полной свободы прессы там, где разрешение на издание газет и журналов и распределение бумаги зависело от руководимого коммунистами правительства и где было запрещено критиковать советскую политику, при неограниченной возможности для коммунистических органов вести самую яростную кампанию против западных демократий. Ни на один момент после окончания войны не была новая Чехословакия свободной страной в той мере, в какой она была в довоенное время. Но все же, по сравнению с другими странами советской зоны, границы чехословацкой свободы оставались гораздо более широкими. Разные направления политической мысли и разные идеологии все еще могли проявляться в публичных дискуссиях, в органах печати и на профессорских кафедрах. Если нельзя было критиковать Советский Союз, то можно было оспаривать коммунистическую идеологию и вести политическую борьбу с местными коммунистами. Непроницаемый «железный занавес» еще не опустился над Чехословакией, и в Прагу находили доступ иностранные книги, журналы и газеты.

Вот это положение и питало иллюзии, которым недавно был нанесен такой удар. Сколько раз в течение последних лет приводился пример Чехословакии в доказательство возможности честного и дружного сотрудничества с Советским Союзом и с коммунистами! Сколько красноречивых слов было написано и сказано по этому поводу публицистами и ораторами так называемого «левого лагеря»! Очень распространенным аргументом в этих кругах было сравнение между судьбами Чехословакии и Польши. Разумная политика Бенеша и Яна Масарика противопоставлялась неразумной и «самоубийственной» политике лондонских поляков. В отличие от польского правительства в изгнании, чехословацкие государственные деятели обеспечили независимость и внутреннюю свободу своей страны тем, что своевременно поняли необходимость соглашения с Советской Россией, вперед договорились со Сталиным, согласились на потерю Карпатской Руси, согласились на образование дружественного к России правительства, пошли на все необходимые и диктовавшиеся обстановкой уступки. Удовлетворенная в своем стремлении к «безопасности», Москва могла не применять к Чехословакии тех крутых мер, которые ей пришлось применить к Польше, оставив за Чехословакией ее независимость и не вмешиваясь в ее внутренние дела.

И внутри страны гражданский мир был обеспечен согла-

шением с коммунистами. Разумные и реалистически-мыслящие государственные деятели признали не только необходимость, но и желательность сотрудничества с коммунистами. На основании демократических принципов, коммунистической партии, как собравшей наибольшее число голосов на свободных выборах, по праву должно было принадлежать руководящее положение в правительстве. И никакой опасности в этом не было. Чешские коммунисты, конечно, были совсем не такими, как другие коммунисты. Во-первых, они были прежде всего чехи, а потом уж коммунисты, и потому на поводе у Москвы итти не собирались. Во-вторых, воспитанные в демократической атмосфере, они были готовы действовать в самом корректном парламентском стиле. Революция им была не нужна в виду возможности провести все желательные для них социальные реформы мирным и законным демократическим способом. Так намечался «средний путь» — синтез «восточной» и «западной» демократии. В глазах энтузиастов этой идеи новая Чехословакия должна была служить примером и поучением для всей Европы, а может быть и для всего мира.

Было у этой теории и историческое обоснование, заключавшееся в ссылке на силу и прочность чехословацкой демократической традиции. В Чехословакии не случилось и не могло случиться то, что произошло в Польше, потому что в отличие от «феодальной, панской» Польши, управлявшейся до войны «фашистскими» правительствами, Чехословакия в междувоенный период была страной политической и социальной демократии.

И вдруг все это построение рухнуло и все его составные элементы оказались иллюзией. Безжалостно были разбиты надежды на то, что политика уступок Кремлю сможет обеспечить государственную независимость и внутреннюю свободу Чехословакии. По трагическому совпадению, в те самые дни, когда добивались остатки свободы и независимости в Чехословакии, в американских газетах печатались главы из воспоминаний Бенеша, в которых чехословацкий президент рассказывал о своих переговорах во время войны со Сталиным, о полученных им от Сталина обещаниях и о своей надежде на то, что эти обещания будут исполнены. Оказалось, что на сталинское слово полагаться нельзя. Оказалось, что для советской «безопасности», то есть для безопасности сталинской диктатуры, недостаточно было уступки Карпатской Руси, полного координирования чехословацкой внешней политики с советской, вхождения Чехословакии в «советский блок», вынужденного отказа

от участия в плане Маршалла, подчинения чехословацких военных сил советскому руководству и приспособления экономической жизни страны к советским интересам. Сталинская политика «безопасности» требует полной советизации зависимых стран, подведения их всех без исключения под один и тот же советский ранжир.

Оказалось также, что чешские коммунисты ничем не отличаются от коммунистов любой другой страны. Что и они прежде всего коммунисты, а уж потом чехи. Что и для них недостаточно положение руководящей партии в коалиционном демократическом правительстве; что ни на какую честную кооперацию они органически неспособны; что им, как и Кремлю, нужно полное и безраздельное господство, полное поглощение и обезличение всех других политических сил в стране, хотя бы эти силы и готовы были с ними сотрудничать.

И оказалось, наконец, что наличие в стране демократических традиций, отсутствие «феодализма» и резких социальных контрастов, сравнительно устойчивое экономическое положение — все это не является еще гарантией против торжества коммунизма. Пробыл час, и демократическая, внутренне здоровая Чехия пала жертвой коммунизма наравне с «папской» Польшей, «боярской» Румынией и «феодальной» Венгрией. Пала не в результате народной революции, а от полицейского переворота, исподволь подготовленного захватившими командные высоты коммунистами, за спиной которых была поддержка самого мощного тоталитарного режима в мире.

Как карточный домик, рассыпались все построения, связанные с идеей о возможности и желательности среднего пути — между «капитализмом» и «социализмом», между «западной» и «восточной» демократиями, между «индивидуализмом» и «коллективизмом». Рассыпались потому, что самые эти противопоставления не имели отношения к реальности, что на самом деле — в Чехословакии, как и во всем мире — выбор был между свободой и деспотизмом, между «биллем о правах» и концентрационными лагерями. О каком «среднем пути» можно говорить при таком выборе? И в чем он, этот «средний путь», может заключаться? Немного меньше прав, с одной стороны, и немного меньше концентрационных лагерей, с другой?

2.

Для Америки реакция на чехословацкие события явилась новым, и очень существенным, этапом на пути постепенного уяснения задач и методов американской внешней политики —

политики, в которой почти каждый вопрос упирается в основную проблему американско-советских отношений. В момент окончания войны многое в этой области оставалось еще в значительной мере туманным. Понадобилось почти три года колебаний, ошибок и разочарований для того, чтобы американская внешняя политика приняла более определенные очертания — и в своих целях, и в своей тактике. И сейчас еще эта политика может иногда казаться лишенной нужной твердости и ясности — достаточно указать на ряд противоречивых шагов американской дипломатии в палестинском вопросе, — но в своей основе пути американского международного действия определились и определились, надо думать, бесповоротно.

Недавно, в одной из своих речей, государственный секретарь Маршалл с полной откровенностью говорил о неподготовленности Америки к выпавшей на ее долю международной роли. «В прошлом — сказал Маршалл — отдельные страны достигали руководящего положения в мире в результате постепенного и длительного процесса, обычно измерявшегося столетиями. Это делало возможным соответственный рост национального сознания — понимания той ответственности, которая с таким положением связана. Нам, в Америке, такая возможность дана не была. Втечение одного десятилетия Соединенные Штаты были брошены (projected) в положение, возлагающее на них ответственность может быть бóльшую, чем какая когда-либо лежала на любой другой стране в новое время». Отсюда необходимость для Америки в ускоренном порядке пройти своего рода курс международно-политического воспитания, необходимость, которая, как мы это теперь знаем, существовала не только для американского народа в целом, но и для руководителей американской политики. Из воспоминаний Бернса*) видно, как медленно даже среди этих руководителей рассеивалась иллюзия возможности по настоящему, «всерьез и надолго», договориться с советским правительством; как после всякой очередной международной конференции снова и снова возникала надежда, что может быть на этот раз соглашение окажется прочным. Было ли это долготерпение целиком основано на искреннем заблуждении или оно в какой-то мере было продиктовано отсутствием уверенности в том, что более твердый курс встретит поддержку со стороны американского общественного мнения, сказать трудно, но по существу это дела не меняет. Со страниц книги Бернса встает

*) См. рецензию Ю. П. Денике в 17-й книге «Нового Журнала».

образ не «агрессивной» и «империалистической» Америки, рвущейся в бой, чтобы выполнить свою миссию в мире, а Америки еще не вполне уверенной в самой себе и недостаточно решительной в отстаивании своих позиций.

Только постепенно приходила Америка к сознанию своей новой роли в мире, и так же постепенно уходили в прошлое иллюзии, связанные с Советским Союзом. До недавнего времени в Америке — и притом не только в «левых кругах» — все еще шли споры о том, можно ли считать советскую политику агрессивной, а кое-где эти споры идут и сейчас. До недавнего времени в достаточно широких кругах американского общества все еще жили надежды на возможность коренного перерождения советского режима, и нельзя сказать, чтобы эти надежды исчезли бесследно. Психологическая основа такого настроения понятна: казалось, что колоссальное потрясение, внесенное в мир войной, не может не отразиться и на природе московской диктатуры. И нужно ли удивляться, что эти иллюзии могли возникнуть у американцев, если и в русской эмигрантской среде их разделяли люди, более близко знакомые с коммунистическим режимом, иногда даже по личному своему опыту?

В разрушении иллюзий и надежд, или по крайней мере в значительном их ослаблении, события сыграли гораздо большую роль, чем чьи-либо прогнозы, предсказания и доказательства. Сталинские дипломаты на международных конференциях и его генералы в оккупированных странах оказались наиболее успешными анти-советскими пропагандистами. Больше чем кто-либо другой содействовали они тому, что и американское правительство и несомненное большинство американского народа наконец пришли к заключению, что взаимное понимание и прочное соглашение с советским режимом для демократии невозможны.

В последних выступлениях руководителей американской политики это положение было высказано с небывалой до сих пор резкостью. В послании президента Трумана Конгрессу (16-III) вся ответственность за создавшийся международный кризис целиком возлагалась на советское правительство. Оно одно «не только отказалось сотрудничать в установлении справедливого и честного мира, но — хуже того — активно старалось такой мир предотвратить». Оно одно «систематически игнорировало или нарушало» уже заключенные международные соглашения. Оно одно «систематически срывало работу Объединенных Наций постоянным злоупотреблением правом вето».

И оно же разрушило внешнюю независимость и внутреннюю свободу целого ряда стран в восточной и средней Европе и обнаружило явное намерение распространить тот же «беспощадный образ действий» на пока еще свободные европейские страны.

В речах, сказанных вскоре после выступления президента, Маршалл прямо назвал советскую политику в Европе повторением политики нацистского режима и говорил об идущей в мире борьбе между «свободой и тираннией», как об основном содержании международного кризиса. В этой борьбе Америке неизбежно должна принадлежать главная роль, и без ее активного вмешательства дело свободы спасено быть не может. Это и есть та ответственность, к пониманию которой Маршалл призывал американский народ.

Первоочередная задача Америки заключается в том, чтобы остановить дальнейшее продвижение советской агрессии в Европе. Центральное значение Европы было подчеркнуто и Труманом и Маршаллом. Основной «предмет (issue) борьбы нигде не выражен так ясно, как в Европе». И так как средства Америки не неограничены, и ей нужно концентрировать свои усилия в наиболее угрожаемых пунктах, то Европе и должно быть уделено сейчас преимущественное внимание.*) На первом плане продолжает оставаться «программа европейского восстановления», только что (2-IV) принятая в Конгрессе внушительным большинством голосов — значительно скорее, чем можно было предполагать, и с менее существенными изменениями, чем можно было бояться.

Интересно отметить, как в процессе обсуждения плана Маршалла и в особенности под давлением последних событий, была укреплена и ясно формулирована тесная связь между экономикой и политикой, между планом Маршалла и доктриной Трумана. Сам автор плана Маршалла все еще говорит о нем, как о «чисто экономическом начинании», но добавляет, что «последствия его выйдут далеко за пределы экономической сферы». Еще определеннее высказался по этому поводу пре-

*) Маршалл прямо сравнивал свою теперешнюю стратегическую задачу с той, которую ему приходилось решать во время войны, распределяя наличные силы и ресурсы между отдельными фронтами. Может быть, только в свете этой «политической стратегии», для данного момента сосредоточенной на Европе, можно понять американское «отступление» в палестинском вопросе и нерешительный характер американской политики в Китае.

зидент Труман: «Меры по экономическому восстановлению Европы сами по себе еще недостаточны . . . Это экономическое восстановление должно быть в какой-то степени защищено от внутренней и внешней агрессии». В этом заявлении значительно не только признание необходимости активной политической борьбы во всей Европе, но и введение понятия внутренней агрессии. Пусть методы защиты от внутренней агрессии остались пока еще неопределенными, важна уже самая постановка этого вопроса, как придающая американской политике в Европе более реалистический характер.*)

Тем же политическим реализмом были отмечены в выступлении президента Трумана и предложенные им меры по усилению американской национальной обороны (как необходимое условие увеличения американской политической силы) и его формулировка позиции Соединенных Штатов по отношению к Объединенным Нациям. Америка не отказывается от идеи установления «господства права» в международных отношениях, но она не может «закрывать глаза на тот печальный факт, что, вследствие обструкции и даже прямого вызова со стороны одного из государств, эта великая мечта пока еще не получила полного осуществления».

Ни Труман, ни Маршалл не скрывают от американского народа трудностей, стоящих на пути выполнения намеченной ими внешне-политической программы. Президент говорил о риске, сопряженном со всяким действием, но сопоставил его с еще бóльшим риском, связанным с бездействием. Маршалл указал, со ссылкой на опыт последней войны, на те первоначальные преимущества, которыми обладают диктаторские режимы, но говорил о своей вере в то, что «в конечном счете демократии всегда побеждают». Но помимо этих трудностей

*) Недавно европейский корреспондент «Нью Йорк Таймса» Сульцбергер очень кстати напомнил об одном эпизоде из истории летних переговоров 1939 года об образовании «единого фронта» против гитлеровской Германии. 4-го июля Молотов предложил Англии и Франции включить в текст обсуждавшегося союзного договора статью о совместной защите малых государств (непосредственно имелись в виду балтийские государства) не только от прямой, но и от косвенной агрессии. В препроводительном письме понятие косвенной агрессии раскрывалось, как обозначающее «внутренний переворот или политическую перемену, выгодную для агрессора», причем в пояснение приводился пример... Чехословакии!

общего характера надо дать себе отчет и в тех вполне конкретных трудностях, перед которыми стоит сейчас американское правительство. Ему приходится проводить свою внешнеполитическую программу в условиях отсутствия полного единства между демократической администрацией и республиканским Конгрессом — более того, в условиях отсутствия единства в самой демократической партии, раздираемой внутрипартийными конфликтами, обострившимися в связи с начавшейся уже избирательной кампанией. В стране ему приходится считаться и с пережитками изоляционизма — изоляционизм, как обще-американское явление, нужно считать безвозвратно отошедшим в прошлое — и с элементами «пацифизма», столь сильными в американской психологии. Достаточно указать на распространенность и на остроту оппозиции к отстаиваемому правительством проекту всеобщей воинской повинности, идущему вразрез со всеми американскими традициями. Нужно ли говорить, что в этом «пацифизме» есть и своя положительная сторона, как есть она и в гарантирующей страну от военных авантюр конституционной связанности исполнительной власти? Есть или нет в американском правительстве «военная партия», мечтает она или нет о «превентивной войне», решающим остается факт, что не только война не может быть объявлена иначе, как постановлением Конгресса, но и самое скромное ассигнование на военные нужды не может быть получено без согласия Конгресса. И в момент кризиса опасаться можно скорее того, что пацифистские и анти-милитаристические традиции страны помешают Конгрессу с достаточной быстротой и в достаточном объеме провести необходимые меры предосторожности, подобные тем, на которых сейчас настаивает правительство и в которых оно — по моему убеждению, вполне искренно — видит единственный возможный способ предотвратить войну.

На стремлении использовать страх перед войной и построена главным образом политическая тактика Уоллеса и его сторонников. Созданная ими «третья партия» рекламирует себя как единственную «партию мира» и изображает демократов и республиканцев одинаково как «ведущих страну к войне». Не надо преуменьшать эффективности этой пропаганды. Правда, Уоллес оказался в значительной мере изолированным даже среди «прогрессивной» и «либеральной» американской общественности. Резко отрицательное отношение к его кандидатуре заняли не только более умеренные союзы Американской Федерации Труда, но и руководящие силы более радикальной

организации С. И. О. Отошли от него и другие «либеральные» группировки, органы печати и отдельные политические деятели, ранее относившиеся к нему сочувственно. Его компрометирует, с другой стороны, горячая поддержка американской коммунистической партии и разных заведомо попутнических элементов. Но его безответственная демагогия находит достаточно широкий отклик в некоторых кругах идеалистически настроенной интеллигенции, среди ищущей «чего-то нового» молодежи и в чувствующих себя обойденными социальных и расовых группах населения.

Во всем этом движении преобладает ярко выраженный эмоциональный элемент, и в соответствии с этим вся программа самого Уоллеса сводится к ряду хорошо звучащих лозунгов, точное содержание которых он предпочитает не раскрывать. Такой же характер носит, в частности, и его внешне-политическая платформа. Она поражает полным отсутствием реализма, предельным непониманием происходящих в мире событий — и в первую очередь непониманием природы современных тоталитарных режимов. Обвиняя американское правительство в том, что оно всюду поддерживает «реакционные» режимы (сюда относятся очевидно и рабочее правительство Англии, и демократические коалиции во Франции и в Италии, и социал-демократические правительства скандинавских стран), Уоллес не в состоянии понять, что главный и страшнейший оплот реакции находится как раз там, где ему угодно видеть источник прогресса. Он готов принять полицейский переворот за народную революцию, и полицейское государство за новую форму демократии. Трудно найти более яркий пример политической слепоты.

«Практическое» предложение Уоллеса сводится к тому, чтобы немедленно отменить и план Маршалла и доктрину Трумана. Вместо плана Маршалла он предлагает Америке предоставить средства для помощи всем странам, без каких-либо ограничительных условий, в распоряжение организации Объединенных Наций, — в том виде, в каком она существует сейчас, с сохранением права вето, т. е. в условиях, которые сделают возможным и дальнейшее применение советской обструкции. При очевидной невозможности принятия подобной программы американским Конгрессом, фактически Уоллес настаивает на немедленном прекращении какой-либо помощи Европе. Для упраздняемой по его плану доктрины Трумана он не предлагает никакой замены. Здесь его предложение сводится к тому, чтобы немедленно прекратить всякую помощь Греции

и Турции, предоставив их своей судьбе, т. е. неизбежному поглощению коммунистической агрессией. Он стоит и за медленный отказ Америки от «монополии» на атомную бомбу, прежде создания организации международного контроля — согласно известному советскому предложению. Главное же, он не перестает настаивать на том, что «надо сговориться со Сталиным». И так как он никогда не говорит о тех условиях, которые должны быть поставлены Сталину, и вместе с тем неизменно осуждает всякий шаг американской дипломатии как агрессивный, то очевидно сговор со Сталиным должен произойти на основе принятия советских условий. В лучшем случае вероятно придется предоставить Сталину безраздельное господство над фактически им уже занятыми частями Европы и Дальнего Востока — с одновременным отступлением Америки со всех ее европейских и азиатских позиций.

Так как все это преподносится под флагом мира, международной дружбы, социального прогресса и защиты прав «простого человека», то соблазненных могут оказаться миллионы — сколько именно, покажут предстоящие в ноябре выборы. Но как бы внушительно ни оказалось это меньшинство, оно все-таки останется меньшинством и с этой стороны американской внешней политике опасность не угрожает. Независимо от результатов выборов, все равно будут ли у власти республиканцы или демократы, страна пойдет путем выполнения возложенной на нее историей задачи — отстаивать свободу в мире и тем самым отстаивать и собственную свою свободу.

3.

За исключением коммунистических попутчиков, общественное мнение демократических стран смотрит на установленные в советской сфере режимы, как на насильственное господство меньшинства над большинством. Как это ни странно, но в применении к той стране, откуда заимствован самый образец «новой демократии», понимание истинной ее природы становится менее отчетливым. О том, что русский народ, вот уже больше тридцати лет, живет под диктатурой меньшинства, говорят как-то меньше и менее уверенно, а иногда об этом просто забывают. Даже и в анти-коммунистических кругах, встревоженных распространением диктатуры за пределами России, и сейчас еще можно встретить с высказанным или подразумеваемым мнением, что там, в этих пределах, народ диктатуру принял и с ней примирился. Беспремерный и пора-

зительный факт наличия в западных оккупационных областях сотен тысяч бывших советских граждан, отказавшихся после войны вернуться на родину, по настоящему еще не дошел до сознания западного мира и надлежащие политические выводы из него еще не сделаны. Но ведь и без этого факта — о непрекращающейся войне советской власти с собственным народом, казалось бы, достаточно громко говорят и самое существование диктатуры, и небывалые размеры созданного ею полицейского аппарата, и повторяющиеся чистки, и пребывание миллионов людей в концентрационных лагерях. Если и эти, современные свидетельства не производят должного впечатления, то можно ли удивляться тому, что история, хотя бы и недавняя, подчас забывается с еще большей легкостью? Многие ли из людей западного мира помнят сейчас о том, что в октябре 1917 года большевики фактически пришли к власти не на волне народной революции, а в результате партийного заговора; что избранное уже после переворота Учредительное Собрание на две трети состояло из противников нового правительства; что для укрепления своей власти этому правительству пришлось вести гражданскую войну, подавлять крестьянские восстания, расстреливать матросов и рабочих и завоевывать отпавшие окраины? Многие ли отдают себе отчет и в значении многолетней борьбы диктатуры с крестьянством, от «продразверстки» до коллективизации включительно?

Могут сказать, конечно, и совершенно справедливо, что одним принуждением торжество большевиков в России объяснить нельзя, что огромную роль сыграла и большевицкая пропаганда. Но ведь и в восточной (да и в западной) Европе есть сейчас миллионы людей, соблазненных коммунистической пропагандой. Это, однако, не мешает западному общественному мнению понимать, что решающими моментами все-таки остаются захват власти организованным меньшинством и создание полицейского государства для упрочения этой власти. Почему же делать исключение для России? Как не понять, что и там основным, решающим фактом является непримиримая противоположность между диктатурой и огромным большинством народа?

Отождествлять страну с режимом, народ с «представляющим» его вонне правительством, для средней человеческой психологии очевидно является естественным. И чем дольше данный режим существует, тем труднее становится от этого отождествления отделаться. Так понемногу «советы» и «Россия», «красные» и «русские» делаются привычными ассоциа-

циями — и в словоупотреблении, и в мыслях. И не только для обывателей, но и для многих интеллигентов, политических деятелей, писателей и ученых. Здесь, на этом более высоком уровне, к соблазну отождествления народа с держащим его в неволе режимом присоединяется соблазн вывести теперешний политический строй России из ее исторического прошлого, связать Россию сталинскую с Россией «вечной».

Поиски исторической преемственности — занятие, конечно, вполне законное и почтенное. Но надо избегать грубого упрощения этой преемственности. Кто из нас не читал в статьях и книгах иностранных авторов рассуждения на тему о том, что «русский народ всегда жил под сильной и неограниченной властью; и только такой власти привык подчиняться?» Кому не знакомы фаталистические выводы об исторической неизбежности перехода России «от белого царизма к красному», от диктатуры царского самодержавия к диктатуре коммунистической партии?

При таком упрощении исторической преемственности приходится забыть ряд основных исторических фактов. Приходится забыть о том, что на протяжении первых пяти столетий своей государственной жизни русский народ не знал сильной и неограниченной власти; что в дальнейшие века этой сильной и неограниченной власти никогда не удавалось справиться до конца с народным сопротивлением; что в течение последнего столетия своего существования эта власть, вопреки всем видимостям, становилась все менее сильной и неограниченной; что в стране росло и ширилось освободительное движение, против этой власти направленное и в конце концов ее победившее.

В то же время ставить знак равенства между царским самодержавием и коммунистической диктатурой значит игнорировать специфическую природу большевизма, то существенно новое, что было им внесено в русскую историю. Даже и в периоды своего высшего могущества царское самодержавие не было ни «идеократией», ни «диктатурой», ни тоталитарным или полицейским государством. Не было хотя бы уже потому, что никогда не обладало тем аппаратом принуждения и пропаганды, которым располагает коммунистическая диктатура. Если оно не умело принудить народ к полному повиновению, то еще меньше умело оно завоевать его душу, соблазнить его идеей государственного всемогущества. Вспомним о силе противогосударственных настроений и в крестьянских восстаниях 17 и 18 веков, и в народных религиозных сектах, и в славнофильстве, и у Толстого, и среди радикальной интеллигенции

нового времени. Можно сказать без преувеличения, что своим историческим прошлым русский народ ни в какой мере не был подготовлен к добровольному принятию теории и практики тоталитарного государства.

Значит ли это, что торжество большевизма было случайностью, своего рода историческим недоразумением? Конечно, нет. Конечно, большевизм не восторжествовал бы в России, если бы почва для того не была подготовлена некоторыми сторонами русского прошлого. И все же — в том варианте исторической преемственности, который осуществился в октябре 1917 года, не было ничего фатально неизбежного. Возможность осуществления другого варианта — варианта свободы, а не рабства — была и тогда, остается она открытой и сейчас. И у этого другого варианта есть исторические корни в русском прошлом. Большевизм вырос на ошибках и провалах русской истории, а не на ее достижениях. Или иными словами — русское прошлое обусловило временное торжество большевизма отрицательно, а не положительно: не потому русский народ сделался жертвой советской диктатуры, что стремился вручить свою судьбу в руки этой диктатуры, а потому, что, не имея ни достаточно развитого политического сознания ни достаточно длительного опыта самоуправления, он не сумел своевременно разобраться в лживости большевицких посулов, как не сумел своевременно организовать для защиты своей свободы.

В «холодной войне», не меньше, чем в войне настоящей, надо, прежде всего, хорошо знать врага — знать и его сильные и его слабые стороны. И надо уметь находить возможных союзников. Если главной задачей Соединенных Штатов является борьба за торжество свободы в мире, то, без риска для успеха этой борьбы, ни американская дипломатия ни американское общественное мнение не могут оставить вне поля своего зрения — русский народ. Не только исторически неверно, но и политически опасно говорить о том, что народ этот принимает свою теперешнюю власть, как нечто для него естественное и привычное, что всей своей историей он был воспитан для рабства, а не для свободы.

В процессе разрушения иллюзий должно быть окончательно изжито и это, могущее оказаться роковым, заблуждение: мысль о тождестве советского режима с русским народом и о его укорененности в исторических традициях России.

М. Карпович.

ВОЗМОЖНА ЛИ ДЕПРЕССИЯ В С.-ШТАТАХ ?

(ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ)

I.

Современная экономическая наука, поставленная перед рядом новых явлений в хозяйственной жизни, страдает от отсутствия достаточной терминологии. Как назвать теперешний хозяйственный строй в Соединенных Штатах? Обычный на это ответ: капитализм. Однако, американский капитализм, с момента своего возникновения и по настоящий момент, прошел через ряд очень существенных видоизменений, особенно радикальных со времени рузвельтовских реформ, и все его фазы одним словом покрыть невозможно.

Известный американский экономист, Луи Хэкер, в книге, озаглавленной «Триумф американского капитализма», различает четыре стадии в американском экономическом развитии. Первоначальная стадия, — меркантильный капитализм, — длилась до конца Гражданской Войны. Последующий период, — эра индустриального капитализма, — длился четверть века, до депрессии 1893-1896 годов.

После этой депрессии, по терминологии Хэкера, наступила эра финансового капитализма. Создание U. S. Steel Corporation, подчиненной Моргану, он считает символом этой эпохи, отмеченной созданием гигантских корпораций почти во всех областях индустрии и транспорта, с нитями управления, во многих случаях, ведущими на Волл Стрит. Новый этап в этом развитии, начавшийся с приходом Рузвельта к власти в 1933-м году, проф. Хэкер рисует следующим образом:

«В результате длительной депрессии, наступившей в 1930 году, началась новая эра в американском капитализме. Рузвельтовские реформы положили начало государственному капитализму ("state capitalism") в Соединенных Штатах. Государство стало дополнять и, во многих случаях, выполнять хозяйственные функции». ¹⁾

¹⁾ Louis M. Hacker: "The Triumph of American Capitalism", p. 433.

Другой американский экономист, Кливланд Роджерс, обозревая историю хозяйственного развития в Соединенных Штатах, справедливо замечает, что элемент государственного регулирования и планировки экономических сил начался с самых истоков американской истории. В позднейшем ее периоде, Роджерс уделяет большое место президенту Хуверу, большому поклоннику «свободной экономики». Хувер — фигура очень сложная. Во время его администрации, в душе его боролись две стихии: политический философ старой школы и поклонник Адама Смита боролся со смелым организатором-практиком и широко образованным, талантливым инженером, привыкшим к большому размаху в мышлении и практике.

Когда во время депрессии 1930-1932 годов цены на сельскохозяйственные продукты начали катастрофически падать, Хувер создал Farm Board, с оборотным капиталом в пол-миллиарда долларов, для поддержания этих цен. Когда зашатались банки, железные дороги и страховые общества, Хувер создал Reconstruction Finance Corporation, работа коей, в значительно расширенном виде, стала одной из важнейших баз для Рузвельтовской администрации. Подводя итоги деятельности Хувера в этом направлении, Роджерс пишет, что «он заложил основу для многих из Рузвельтовских реформ. Критиковать его можно только за то, что, в этом отношении, он не пошел достаточно далеко». ²⁾

Рассматривая вопрос в исторической перспективе, нельзя не согласиться с Роджерсом, что зерна того, что проф. Хэкер называет государственным капитализмом, были посеяны с самого начала американской истории. «Свободная экономика», в этом отношении, всегда была миражем. По мере того, как хозяйственный механизм Америки разрослся и усложнялся, государственное регулирование и планировка важнейших сторон хозяйственной жизни неизбежно должны были возрасти. «Быстрый прогресс науки и новейшие изобретения и открытия сделали для нас планирование абсолютно необходимым во многих областях», пишет Роджерс. «Этот процесс находится в полной гармонии с лучшими американскими традициями. В нем нет ничего чужеземного или противоречащего принципам демократии». ³⁾

Эпоха рузвельтовских реформ представляет собою, с одной стороны, завершение большого исторического процесса, а, с

²⁾ Cleveland Rodgers: "American Planning — Past, Present, Future", p. 162.

³⁾ Ibid, p. 283.

другой, базу для новой эры в политическом и хозяйственном развитии Америки. Эта эра должна сочетать сохранение полной индивидуальной и политической свободы и максимума хозяйственной свободы с условиями, гарантирующими непрерывное экономическое благосостояние для широких масс американского населения. Периодические кризисы, сопровождаемые массовой безработицей и почти безумной растратой хозяйственных средств страны, должны уйти в прошлое.

Банкротство в этом отношении довоенной экономической системы видно из того, что в Англии, в промежутке между первой и второй мировой войной, безработица покрывала от 10% до 22% всех рабочих рук. В 1931-1933 годах она равнялась 21.3%. Накануне войны, в 1939 году, она равнялась 10.3%. В Америке в 1931-1933 годах безработица покрывала 23.8% всех рабочих рук. Накануне вступления Америки в войну, в 1940 году, количество безработных равнялось 7.500.000, — 13,8% всей рабочей силы.⁴⁾

На понимании абсолютной необходимости положительной послевоенной экономической программы была построена одна из лучших речей Рузвельта, произнесенная им в Чикаго, 28-го апреля 1944 года. Будущий историк отметит эту речь, как один из важных документов не только американской, но и всей демократической цивилизации. В этой речи, в прямом обращении к американскому народу, покойный президент Соединенных Штатов развил идею «декларации экономических прав», включающей для каждого гражданина «право на полезную и хорошо оплачиваемую работу»; «право каждой семьи на приличные жилищные условия»; «право на нормальное здоровье и достаточную медицинскую помощь»; «право на хорошее образование» и «право на достаточное социальное страхование всех категорий».

II.

Многие из зерен, посаженных Рузвельтом, взойдут богатым посевом в течение десятилетия после его ухода с исторической арены. Право на работу было выражено, после его смерти, в «Законе о занятости рабочих рук» (“Employment Act”), проведенном в Конгрессе в 1946 году. Революционное значение этого законодательного акта совершенно просмотрели советские экономисты и публицисты, все еще рассматривающие американскую

4) Потеря от недопроизводства в Соединенных Штатах в 1929-1941 годах определяется в 355 миллиардов долларов.

экономическую действительность в свете дорозвельтовского капитализма, все еще надеющиеся на новую депрессию в Америке.

Значение этого закона, открывшего новую эпоху в американской жизни, заключается в том, что в нем, впервые на всем протяжении американской истории, Конгресс Соединенных Штатов признал «ответственность Федерального Правительства за создание условий, при которых полезная работа была бы обеспечена для всех способных и желающих работать». Задача закона определена как «обеспечение максимальной занятости рабочих рук, максимального развития производства и покупательных средств населения».

Механизм работы органов исполнительной и законодательной власти Федерального Правительства разработан в этом законе в деталях, тем самым гарантируя действенность его применения в жизни. Закон предписывает создание при президенте Соединенных Штатов специального Комитета Советников по экономическим вопросам (“Council of Economic Advisers”). Комитет этот обязан представлять президенту доклад в декабре каждого года.

Президент, в свою очередь, обязан представлять Конгрессу, в течение 60-ти дней по получении им доклада, подробный обзор текущей экономической жизни страны и ее экономических проблем. Обзор этот, согласно закону, должен заключать следующий материал: 1) данные о текущем состоянии занятости рабочих рук, производства и покупательных средств населения; 2) меры, которые, по мнению президента, должны быть приняты для поддержания максимальной занятости рабочих рук; 3) характеристику текущих тенденций во всех областях экономической жизни; 4) обзор текущей экономической политики Соединенных Штатов и 5) программу дальнейших действий правительства во всех областях экономической жизни.

Для изучения этих экономических обзоров, представляемых президентом, учреждена, согласно закону, Объединенная Комиссия Конгресса, составленная из семи членов Сената и семи членов Палаты Представителей. Доклад этой комиссии должен быть представлен Конгрессу не позже 1-го мая каждого года.

Таков этот замечательный закон, смысл которого заключается в установлении постоянного внимания, постоянной чуткости к экономическому пульсу страны. Наличие этого нового закона является одним из главных факторов, делающих

невозможной новую депрессию в Америке, типа 1930-1932 годов. Колебания в степени экономического благосостояния в стране возможны, и даже неизбежны, но новая экономическая катастрофа в Америке невозможна. В виду важности вопроса не только для Америки, но и для всего мира, на этом положении следует остановиться.

После депрессии 1930-1932 годов, как последствие катастрофы, приведшей страну к 13 миллионам безработных и к параличу всей банковской системы, правительство и Конгресс Соединенных Штатов, под руководством Рузвельта, выработали целый ряд предупредительных мер, на случай приближения нового экономического кризиса. База в этом отношении заложена такая прочная, что даже и оппозиционный, республиканский Конгресс не решился на нее посягнуть.

Не преуменьшая значения таких важных рузвельтовских реформ, как контроль биржевой спекуляции и государственное страхование всех банковских вкладов, в пределах пяти тысяч долларов на вклад, — депрессия 1930-1932 годов началась с биржевого краха и привела к параличу банковской системы, вследствие массового выбора вкладов, — главная гарантия против повторения экономической катастрофы в Соединенных Штатах заключается в новом материальном положении американских рабочих и фермеров, т. е. огромного большинства населения, созданном эпохой рузвельтовских реформ.

Один из основных рузвельтовских законов, *Wagner Labor Relations Act*, подтвердил и разработал технику защиты государством права рабочих на организацию. Под влиянием этого закона, количество организованных рабочих в Америке повысилось с 3½ миллионов в 1933 году, до 15 миллионов в настоящий момент. Впервые в американской истории организованы рабочие в основных, массовых индустриях — стальной, автомобильной, электрической и т. п.

Эти пятнадцать миллионов рабочих, с их семьями, составляют почти контролирующую силу в избирательных кампаниях в Соединенных Штатах. Обычно, почти по всем вопросам, эта сила политически не монолитна и распределяется по разным политическим партиям и группам. Не может быть сомнения, однако, что на развитие массовой безработицы она ответила бы таким нажимом на правительство и на законодательный аппарат страны, что политика слабого и запоздалого сопротивления катастрофе, такая, которой была отмечена администрация Хувера в 1930-1932 годах, повториться не может. К тому же вышеприведенный «Закон о занятости рабочих рук»

не только дает возможность, но прямо обязывает правительство и Конгресс к поддержанию, при всех условиях, максимальной занятости рабочих рук страны.

Перейдем теперь к новому положению фермеров в Америке. Одним из главных факторов, способствовавших развитию депрессии в 1930-1932 годах, было катастрофическое падение цен на сельско-хозяйственные продукты. Farm Board, созданный Хувером для поддержания этих цен, был организован с большим опозданием и не располагал достаточными средствами. Только проведенный Рузвельтом "Agricultural Adjustment Act", внесший элементы центрального планирования в американское сельское хозяйство, на основе свободной кооперации миллионов фермеров с правительством в Вашингтоне, и установление так называемых "parity prices", — баланса между ценами на сельско-хозяйственные продукты и на продукты индустрии, — спасли фермеров от окончательной катастрофы в 1933 году и создали для них, в течение последних 15 лет, твердую хозяйственную базу и прочное благосостояние. Существование "parity prices" заключается в том, что правительство, в начале каждого сезона, устанавливает минимальные цены на фермерские продукты на основе текущих цен на продукты индустрии. В качестве базы взято соотношение цен между сельско-хозяйственными и индустриальными продуктами, существовавшее в течение периода 1909-1914 годов. Если цены на рынке падают ниже этой нормы, фермеры располагают правом сдать свои продукты специально законом созданной Commodity Credit Corporation и получить от правительства ссуду в размере 90% установленных минимальных цен. На хлопок ссуда доведена до 92%.

Таким образом, новые законы охраняют интересы и благосостояние рабочих и фермеров. Новое законодательство признает взаимность и гармонию интересов этих двух классов американского населения и отождествляет их с интересами всех остальных групп и страны в целом. Если налицо полная занятость рабочих рук, если процветает индустрия, этим самым создается громадный и устойчивый рынок для сельско-хозяйственных продуктов. Одновременно, если фермерам обеспечены цены, которые дают им возможность покупать все для них необходимые продукты индустрии, для последней тоже создается большой и устойчивый рынок. Благосостояние этих двух классов населения влечет за собою благосостояние всей страны.

III.

Обозревая мысленно всю совокупность того обширного и сложного законодательства, которое теперь направляет экономическую жизнь Америки, нельзя не согласиться с профессором Хэкером, что теперешний американский хозяйственный строй представляет собою новую фазу в экономическом развитии Америки, которую со значительным основанием можно назвать государственным капитализмом.

Если бы преданные Сталину советские экономисты, — преданные, несомненно, во многих случаях, «не за совесть, а за страх», — прочитали книгу Хэкера, их обвинения попавшего в опалу Е. Варги были бы еще более злостны. Мнение Варги о том, что не монопольный капитал, а государственная власть, представляющая все классы общества, является руководящим фактором в хозяйственной жизни демократических стран нашего времени, вполне совпадает с заключениями проф. Хэкера о новой фазе капитализма в Соединенных Штатах. Как бы на это ни смотрели приспешники кремлевской диктатуры, процесс, начатый эпохой Рузвельтовских реформ, имеет громадное и положительное значение не только для Америки, но и для всего мира.

Всякое человеческое общество, кроме, быть может, самых примитивных, распадается на классы. Этим, однако, характеристика современного общества ограничиться не может. Общественные интересы так же реальны, как и классовые; и общечеловеческие интересы так же реальны, как и национальные. Политика, построенная не на глубоко-заложенной гармонии, а на поверхностном конфликте этих интересов ведет к катастрофе, в которой страдают, а подчас и гибнут, целые классы и целые нации.

С приходом Рузвельта к власти в марте 1933 года, в Америке на смену финансового капитализма пришел капитализм государственный. Как в то время говорили, Рузвельт перевел правительство Соединенных Штатов с Волл-Стритта в Вашингтон, — где ему, кстати, и подобает быть. Характерно, что американские коммунисты, атакуя Рузвельта во время избирательной кампании 1932 года, полагали, вполне справедливо, что рузвельтовские реформы, если он придет к власти, спасут американский капитализм. Историческая заслуга Рузвельта заключается в том, что он спас Америку от катастрофы, переведя контроль американской хозяйственной системы с классовой на национальную базу.

Этим самым он спас все классы Америки, включая капиталистический класс, от тех ужасов и страданий, которые современная революция приносит почти всем без исключения. Этим самым он установил непререкаемую реальность и приоритет национального интереса, который стоит выше всех отдельных классовых интересов, потому что он представляет собою гармоническое и органическое сочетание всех истинных интересов современного демократического общества.

В результате рузвельтовских реформ, в Америке, в гораздо большей степени, чем в предшествующие периоды американской истории, установлен режим «смешанной экономики». Основные факторы в хозяйственной жизни страны планируются или, во всяком случае, регулируются правительством. Одновременно, во многих секторах и под-секторах народного хозяйства царит частная инициатива и свобода. Возражая на аргументацию известной книги, «Дорога к рабству», Ф. Хайека,⁵⁾ проф. Алвин Хансен, американский экономист и один из главных вдохновителей рузвельтовских реформ, в этой «смешанной экономике» видит гарантию против эволюции современных демократий к тоталитарному режиму.⁶⁾

Интересно отметить, что Клемент Эттли, глава рабочего правительства в Англии, в речи, произнесенной в парламенте 24-го января настоящего года, указал, что страны, вступившие на путь демократического социализма, тоже идут к «смешанной экономике». Современная социалистическая мысль и практика демократического социализма движутся, повидимому, в этом направлении. Р. Абрамович, в интересной и содержательной статье, появившейся в «Modern Review», указывает, что если бы коммунизм не победил в России, и ее послереволюционное развитие направлялось коалицией социалистических и других демократических сил, «экономическая система российской демократической республики была бы 'смешанная система', с основными индустриями в руках государства, с транспортом, внешней торговлей и банками, в подчинении государственному регулированию; со свободой частной инициативы в торговле, мелкой и средней индустрии и в сельском хозяйстве».⁷⁾

На такую же точку зрения встал Д. Ю. Далин, в статье «Новая платформа РСДРП», напечатанной в «Социалистиче-

5) Frederick A. Hayek: "The Road to Serfdom".

6) Alvin H. Hansen: "Economic Policy and Full Employment". p. 246.

7) Raphael Abramovich: "From Socialist Utopia to Totalitarian Empire". "Modern Review", June 1947, p.p. 255-6.

ском Вестнике», от 26-го января 1948 года. Статья эта представляет собою интересный политический документ и могла бы, мне кажется, стать отправным пунктом дискуссии о путях России завтрашнего дня. Намечая программу демократической реорганизации России по свержении коммунистической диктатуры, Д. Ю. Далин, в ее экономической части, предлагает, наряду с сохранением в руках государства и органов местного самоуправления крупных индустриальных единиц и транспорта, «поощрение частной инициативы в мелкой и средней промышленности»; «свободу частной торговли, в особенности розничной»; «привлечение иностранного капитала» и «право крестьянства свободно выбирать форму землевладения и хозяйства (частная собственность, община и переделы; коллективные хозяйства и др.)».

Приглядываясь к тенденциям в современной американской экономике и в государственной практике демократического социализма наших дней, установление «смешанной экономики» является, повидимому, точкой соприкосновения между этими двумя течениями в нашей демократической цивилизации. Разными путями, но с полным сохранением личной и политической свободы, оба движения ведут к одной и той же великой цели: к экономической эмансипации человечества, которая вполне возможна и неизбежна в условиях современного научного и технического прогресса. Через освобождение человечества от экономических пут, оба эти движения открывают для него возможность небывалого прогресса — на пути к новым культурным и духовным высотам.

Идеал социалистический сливается здесь с идеалом общедемократическим и религиозным. Читатели «Нового Журнала», мне кажется, должны быть обязаны Г. Я. Аронсону за то, что в своей очень интересной и по обстоятельствам времени важной статье: «Социализм в наши дни», появившейся в 17-й книге журнала, он напомнил следующую мысль Каутского: «Строго говоря», — писал Каутский, — «не социализм составляет нашу конечную цель, а устранение всякого рода эксплуатации и угнетения, будут ли они направлены против одного или другого класса, партии, пола или расы . . . Если б нам доказали, что освобождение пролетариата и человечества целесообразнее всего может быть достигнуто на основе частной собственности на средства производства, как это допускал Прудон, то мы должны были бы выбросить социализм за борт, нисколько не отказываясь от нашей конечной цели. Мы обязаны были бы это сделать как раз в интересах этой конечной цели».

IV.

На предыдущих страницах дана была попытка осветить тенденции современной американской экономики. На основании этих тенденций, как можно определить ее перспективы? Что, в этом отношении, готовит Америке грядущий день? И те дни, которые за этим грядущим днем последуют?

У советских экономистов на этот вопрос есть готовый ответ, который они, по приказу свыше, как попугаи, варьируют на все лады в течение последних трех лет. Тон в этом отношении был задан Сталиным, который в июле 1944 года, во время беседы с Эриком Джонстоном, в то время председателем Торговой Палаты Соединенных Штатов, заявил: «После войны депрессия неизбежна в капиталистических странах. У вас будет депрессия после войны».⁸⁾ Несчастный Варга, очевидно, в стремлении реабилитировать себя в глазах Сталина, оповестил читателей «Правды» в августе 1947 года, уже после осуждения его «ереси» высшими партийными кругами, что «сейчас в США уже повсюду признают приближение кризиса» и что «экономический смысл плана Маршала заключается в том, чтобы дать возможность США расширить еще больше сбыт своих товаров на внешнем рынке».⁹⁾ Возвращаясь к той-же самой теме в «Новом Времени», ныне опальный советский экономист не только подтверждает, что «план Маршала является попыткой предотвратить приближающийся экономический кризис в Соединенных Штатах Америки», но и решает на следующее прочтение: «Даже при самых оптимистических подсчетах план Маршала не может спасти Соединенные Штаты от неотвратимого экономического кризиса, зловещая тень которого уже нависла над Америкой».¹⁰⁾

Согласно советским экономистам, эта «зловещая тень» висит над Америкой с конца войны, то-есть уже почти три года, а страна продолжает процветать, и на горизонте, как будет показано ниже, нет никаких угрожающих громовых туч.

8) Eric A. Johnston: "My Talk With Joseph Stalin", "The Reader's Digest", October 1944.

9) Е. Варга: «Предстоящий экономический кризис в США и план Маршала», «Правда», 5-го августа, 1947 года.

10) Е. Варга: «План Маршала и надвигающийся экономический кризис в Соединенных Штатах»; «Новое Время», № 39, 24 сентября, 1947 года.

Был у Америки очень серьезный вопрос к концу войны: вопрос о том, сумеет ли она справиться, без опасной массовой безработицы, с демобилизацией 12 миллионов солдат и моряков; с необходимостью быстрого перевода в нормальную индустрию 9 миллионов рабочих, целиком работавших на войну, и трех миллионов людей, втянутых в работу правительственного аппарата, очень сильно расширенного в связи с войною. Не радикальные писатели, а руководители американского промышленного мира ставили этот вопрос с полной определенностью.

Глава General Electric Company, Чарльз Вилсон, писал, что, если после войны продуктивная работа не будет дана миллионам освободившихся рабочих рук, «эти миллионы поставят вопрос: что это за цивилизация? Она дает нам работу, когда нужны пушки и танки, а когда начинается работа на мирные нужды — для нас места нет. Если это так, пускай правительство возьмет на себя руководство всей экономической жизнью. Пускай правительство наладит опять производство полным ходом и установит справедливое распределение продуктов».¹¹⁾ Высказываясь по тому же вопросу, Эрик Джонстон заметил: «Капитализм стоит перед судом истории: он должен оправдать свое существование».¹²⁾

Несмотря на предсказания пессимистов, — к которым, кстати сказать, ни Вилсон, ни Джонстон, несмотря на полное понимание ими серьезности проблемы, не принадлежали, — с этим критическим моментом начала послевоенной эры американская хозяйственная система справилась. Огромные нужды мирной экономики, накопленные за годы войны, вместе со скоплением также колоссальных покупательных средств в руках американского населения, в виде индивидуальных сбережений, дошедших до небывалой цифры свыше 100 миллиардов долларов, дали возможность быстро и безболезненно распределить около 25 миллионов рабочих рук по разным отраслям восстановленного мирного хозяйства. Оправдались предсказания Бернарда Барука, что стране, после войны, обеспечено от 5-ти до 7-ми лет «небывалого экономического расцвета». Эти свои выводы Барук базировал, главным образом, на накопленных войною нуждах самой Америки. В своем замечательном комментарии на план Маршалла, представленном сенатской комиссии по иностранным делам 19 января настоящего года, Барук, в обзоре

11) Charles E. Wilson: "Can We Save Free Economy?" "The American Magazine", November 1941.

12) The New York World Telegram, September 27, 1944.

потенциального спроса на американские продукты во внешнем мире, предсказал, что, в общем, Америке в послевоенный период обеспечено около 15 лет благосостояния.

Замечательно, что этого маститого государственного деятеля, официального и неофициального «советника президентов», вопрос об американской инфляции не особенно тревожит. Он видит в ней неизбежное послевоенное явление и не рассматривает ее как угрозу, с которой американская хозяйственная система не может справиться. Вместе с тем он вполне справедливо замечает, что для окончательной нормализации и стабилизации цен не только в Америке, но и во всем мире, нужна международная политическая стабилизация, нужен прочный мир. Только тогда будет возможно полностью восстановить и расширить производственные процессы во всем мире и довести их до уровня колоссально возросшего мирового спроса на продукты индустрии и сельского хозяйства.

Инфляция в Америке была бы опасным явлением, если бы в ее результате понижалась реальная рабочая заработная плата. К счастью для страны и благодаря, главным образом, организованности американских рабочих, положение в этом отношении благополучно. Номинальная заработная плата в Америке, с 1939 года до осени 1947 года, повысилась, в среднем, с 23 долларов 86 центов до 50 долларов 42 цента в неделю, — на 112%. Одновременно произошел, конечно, очень большой рост цен на предметы первой необходимости, и, все-таки, реальная заработная плата за этот период повысилась на 30%.¹³⁾

При полной занятости рабочих рук; при повышенной заработной плате и при наличности огромных индивидуальных сбережений в руках большей части американского населения, активный массовый спрос почти на все продукты индустрии и сельского хозяйства значительно превышает существующее производство. Цены начнут понижаться, когда предложение начнет догонять спрос. Сильное падение цен на сельскохозяйственные продукты в начале февраля объясняется, главным образом, перспективой очень хорошего урожая в настоящем году на американском континенте, в Австралии и в Европе.

В Кремле, конечно, сильное падение цен на американской продовольственной бирже воскресило старую надежду на экономическую катастрофу в Америке. Основываясь, быть может,

¹³⁾ По данным Департамента Труда в Вашингтоне, опубликованным 20-го октября 1947 года.

на услужливом сообщении своего агентства «Тасс» из Нью-Йорка, что «падение цен на американской бирже представляет собою начало резкого поворота в экономическом положении в Соедин. Штатах»,¹⁴⁾ советский радио-комментатор «Аналист» оповестил своих слушателей, что Америка переживает биржевую катастрофу, «подобную той, которая произошла в 1929 году». ¹⁵⁾ В советских высказываниях нет, — и, конечно, в виду категорических директив свыше, не может быть, — понимания того, насколько сильна, устойчива, динамична и прогрессивна американская экономика наших дней.

V.

В тот момент, когда пишутся эти строки, есть основание полагать, что цены на продовольственной бирже в Соединенных Штатах стабилизируются в недалеком будущем. В крайнем случае, они могут понизиться только до 90% "parity", где, согласно закону, их удержит правительство. База эта, основанная на теперешних ценах на индустриальные продукты, достаточно высока, и возможность фермерского кризиса, поэтому, исключена. Вместе с тем, есть вероятность, что понижение цен на съестные продукты будет достаточным в том смысле, что не окажется основания для дальнейших требований повышения заработной платы со стороны рабочих союзов. В перспективе — не экономическая катастрофа, а весьма значительная стабилизация послевоенных цен.

На ближайшие годы судьба мира связана с судьбою Америки. Восстановление разрушенного войною хозяйства во всех странах мира зависит от продолжения американского благосостояния, от удержания американского производства на максимальном уровне. Интересно, поэтому, разобрав гипотетический случай: допустим, что, по той или иной причине, в Америке началось то, что теперь называют экономической «рецессией». Могут ли, при настоящих условиях, первые искры экономического кризиса в Америке превратиться в пожар, подобный трагедии 1930-1932 годов?

Ответ на этот вопрос, я думаю, должен быть совершенно отрицателен. Продолжая аналогию, можно сказать, что, в эко-

14) Сообщение это было воспроизведено в каблограмме Associated Press из Москвы, 8-го февраля настоящего года.

15) Цитирую по статье, "A Soviet Forecast", появившейся в The New York Post, 17-го февраля, с. г.

номическом смысле, Америка построила для себя гораздо более огнеупорное здание, чем то, в котором она жила 20 лет тому назад, и на лицо теперь имеется пожарная команда, вооруженная такими средствами борьбы против катастрофы, которых не было в 1930-1932 годах.

Нормальная цифра американской безработицы, — приблизительно два миллиона человек. При первых признаках роста безработицы, президент Соединенных Штатов, согласно «закону о занятости рабочих рук», должен был бы рекомендовать Конгрессу немедленные и конкретные меры борьбы. Нет сомнения, что рекомендация его в этом случае шла бы в трех направлениях: усиление темпа в разрешении жилищного вопроса; увеличение общественных работ, и расширение, путем либерализации кредитов, американской торговли с внешним миром.

Жилищный вопрос остается до сих пор ахиллесовой пятой в экономике и в социальных отношениях американской демократии. До сих пор около 10 миллионов американских семей, — почти четвертая часть всего американского населения, — живет в совершенно невозможных по убогости жилищных условиях. Достижения рузвельтовской эпохи, в этом отношении, были более чем скромны. До сих пор остается в силе то резкое заключение, которое в 1936 году сделал Натан Штраус, один из лучших знатоков этого вопроса: «Жилищные условия в Америке так ужасны, что говорить о них приходится, как о национальном позоре».¹⁶⁾

Обходится этот позор федеральному, штатным и муниципальным правительствам Америки в несколько миллиардов долларов в год, уходящих на борьбу с преступностью, пожарами, проституцией и заразными болезнями, которых в трущобах, пропорционально, гораздо больше, чем в хотя бы минимально благоустроенных частях американских городов. Так, например, анализ муниципального бюджета Кливленда показал, что в то время, как население кливлендских трущоб составляло 2,5% всего населения этого города, количество убийств, совершенных в этой части города, составляло 21,5%. На полицейскую охрану этой части города тратилось 6,5% муниципального бюджета; на санитарные меры — 7,3%; на противопожарные меры — 14,4%.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Цитирую по тексту лекции Натана Штрауса в Принстонском Университете, в апреле 1936 года.

¹⁷⁾ "P. M.", January 21, 1945.

Даже до войны, жилищные нужды Америки определялись не меньше, чем в 15 миллионов жилищных единиц. Во время войны, частное строительство почти целиком прекратилось. Со времени окончания войны, вследствие громадного роста цен на все строительные материалы и на рабочий труд, жилищное строительство развивается медленным темпом. Обе главные политические партии признают теперь необходимость государственной планировки и финансовой поддержки в разрешении жилищного вопроса в Америке. В этом отношении интересен законопроект, внесенный на рассмотрение Конгресса, авторами которого являются, с одной стороны, консервативный сенатор Тафт, один из наиболее влиятельных лидеров республиканской партии, а с другой — сенатор Вагнер, прогрессивный и просвещенный лидер демократической партии, близкий сподвижник Рузвельта в разработке и проведении многих из его реформ.

Независимо от того, будет ли на предстоящих осенью выборах продолжена администрация президента Трюмана, или он будет заменен даже таким консервативным республиканским лидером, как Тафт, темп разрешения жилищной проблемы в Америке был бы радикально повышен, в случае приближения депрессии. Возможности в этом отношении очень велики, потому что американская нужда определяется теперь приблизительно в 20-25 миллионов жилищных единиц.

Национальная ассоциация по жилищному вопросу полагает, что около 20 миллионов жилищных единиц должно быть построено в Америке к 1960 году.¹⁸⁾ В специальном исследовании по жилищному вопросу, помещенном в капитальном труде известного американского экономиста Фредерика Дюхерста и его сотрудников: «Американские потребности и ресурсы», намечена программа строительства в Соединенных Штатах на ближайшие 15 лет, в результате которой должно быть построено 19.670.000 новых жилищных единиц и перестроено 5.438.000 старых домов.¹⁹⁾ Насколько велика нужда в этом отношении, видно из того факта, что из 37.300.000 жилищных единиц в Америке в 1940 году, 40,8% были построены свыше 30 лет тому назад.²⁰⁾ Только что предложенная Конгрессу программа президента Трюмана предполагает постройку

18) "P. M.", November 19, 1947.

19) J. Frederic Dewhurst and associates: "America's Needs and Resources", p. 166.

20) Ibid. p. 143.

10 миллионов жилищных единиц в течение ближайших десяти лет.

Характер этих жилищных программ таков, что хотя при нормальных условиях их осуществление предполагается растянуть на 10-15 лет, выполнение их, в случае кризиса, можно сильно ускорить. Так как экономический кризис является главным образом кризисом тяжелой индустрии, большая и активно проводимая жилищная программа, требующая для своего выполнения громадные количества стали, цемента, электрических установок и т. п., является одним из самых действенных способов предупреждения и преодоления экономической катастрофы.

Вышеупомянутое исследование Дюхерста определяет стоимость осуществления жилищной программы в Америке, в надлежащем масштабе, в сумме свыше 86 миллиардов долларов. Филипп Флеминг, глава федерального агентства по общественным работам, определяет, что накопившиеся в этой области строительные проекты, федеральные и штатные, должны обойтись, приблизительно, в 75 миллиардов долларов.²¹⁾ Программа Флеминга рассчитана на 15 лет, но в случае признаков кризиса, выполнение ее тоже может быть, — и, несомненно, будет, — ускорено. Выполнение проектов в этой области тоже явилось бы прямой помощью тяжелой индустрии и разбило бы главную базу экономического кризиса.

VI.

В заключение, необходимо остановиться на американской планировке в области внешней торговли. Эта сторона современной американской экономики важна и сама по себе, а также и потому, что в расширении почти неограниченных и, вместе с тем, вполне практических возможностей в этой области заключается одно из самых действенных средств для предупреждения развития начальных признаков кризиса, если бы они появились, в экономическую катастрофу.

Еще до конца войны, Америка осознала свою послевоенную мировую экономическую миссию. Из всех стран, вовлеченных в войну, она одна вышла не только с полностью сохраненным, но и со значительно расширенным производственным аппаратом. Послевоенные экономические задачи, в мировом масштабе, включают не только восстановление хозяйства разо-

21) The New York Times. December 31, 1947.

ренных стран, но и развитие экономических ресурсов пробудившихся к новой жизни стран; среди них, таких гигантов, как Индия и Китай.

Специальный комитет, созданный при Национальной Плановой Ассоциации в Вашингтоне, работавший над проблемами американской внешней торговли после войны, пришел к заключению, что индустриализация Европы в целом потребует в течение ближайшего десятилетия капиталовложения в размере 70 миллиардов долларов, и что мировая потребность в этом отношении определяется в размере от 150 до 200 миллиардов долларов.²²⁾

Из этого видно, что план Маршалла — только первая ласточка в приближающейся весне мирового экономического расцвета. В интересном и знаменательном комментарии на этот план, *The New York Herald Tribune*, орган прогрессивного крыла республиканской партии, заявил в передовой статье, что «мы приведены к необходимости заложить начало замечательной попытки в международном планировании, такой, какой свет до сих пор еще не видал.²³⁾

Вполне понимая сущность своей экономической миссии после войны, и понимая также, что в выполнении этой миссии Америка должна играть роль нации-кредитора, в Вашингтоне был создан Экспорт-Импортный Банк, ресурсы которого к концу войны были увеличены с 700 миллионов до 3½ миллиардов долларов. С активным американским участием были созданы также Мировой Банк для Реконструкции и Фонд для стабилизации международной валюты, с ресурсами свыше 17 миллиардов долларов.

В правительственных и парламентских кругах Вашингтона уже создаются проекты дальнейшего и значительного увеличения ресурсов Экспорт-Импортного Банка. Учреждение это чисто американское, и ресурсы его могут быть увеличены в любой момент актом Конгресса. Идут также разговоры о применении принципов плана Маршалла к странам Центральной и Южной Америки и о распространении этой-же программы, в надлежащий момент, на Азию.

В тот момент, когда начнется хотя бы частичная политическая стабилизация в мире, для американской внешней торговли откроются громадные возможности. Степень их реали-

22) "America's New Opportunities in World Trade", p. 20. Published by the National Planning Association, Washington 23, 1947.

23) *The New York Herald Tribune*, September 23, 1947.

зации будет зависеть только от суммы и условий долгосрочных займов, которые Америка будет готова отпустить внешнему миру. В этом отношении, в данных Англии и Франции больших займах, — на общую сумму около 6 миллиардов, — и в намеченных операциях плана Маршалла, уже установлены важные прецеденты. При первых признаках депрессии, если бы таковые появились, дальнейшая либерализация американской политики в этом отношении была бы действенным фактором в предупреждении экономической катастрофы.

Спасти коммунистический режим в России, уже изолируемый возрождением демократических сил на европейском континенте, могла бы только депрессия в Америке. Поэтому, советские экономисты и публицисты с назойливостью твердят о «неотвратимом экономическом кризисе» в Америке, о «зловещей тени», которая якобы висит над страной. Никакой зловещей тени на американском экономическом горизонте нет. И если бы даже она, по той или иной причине, появилась, в руках американского правительства и народа имеются средства, необходимые не только для предупреждения хозяйственной катастрофы, но и дающие возможность превратить временную заминку в базу для нового экономического и социального прогресса.

А. И. Зак.

ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ ТЮТЧЕВА

Ничто не способно биографа так увлечь, как история любви или влюбленности его героя, хотя очень часто истории эти ничему пищи не дают, кроме неумного любопытства и вялого сочувствия. Конечно, в любви раскрываются глубочайшие недра человеческой личности, — но не во всякой любви, и редко удается нам заглянуть в чужую любовь так глубоко, чтобы и для нас в ней что-либо раскрылось. Есть, правда, письма Китса к Фанни Браун и самой жизнью рожденная трагедия Гельдерлина и его Диотимы; есть поразительный в своей законченности роман Жорж Санд и Мюссе, и «образцовая» любовь Браунинга и Елизаветы Баррет. Есть и у нас история женитьбы и смерти Пушкина, да еще вот эта, названная им последней, тютчевская любовь, значительная именно тем, что в ней он сказался весь, сказался так, как больше ни в чем другом из того, что мы знаем о его жизни. Тютчев неуловим; и если в чем-нибудь можно почувствовать его, так это в этой поздней, тяжелой, изнуряющей любви, начавшейся бурно и кончившейся так грустно. Однако, чтобы понять эту любовь и то, что она значила для него, нужно вспомнить и кое о чем, что было пережито им до знакомства с Еленой Александровной Денисьевой.



Сохранились отзывы о Тютчеве его детей. Из них самые интересные два: его старшей дочери от первого брака и сына его от Елены Александровны. Анна Федоровна писала о нем сестре в 1854 году: «Он мне представляется одним из тех безначальных духов, таких тонких, умных и пламенных, которые не имеют ничего общего с материей, но у которых нет, однако, и души. Он совершенно вне всяких законов и правил. Он поражает воображение, но в нем есть что-то жуткое и беспокойное. Сегодня он показался мне еще более странным, чем всегда, и особенно смутил меня...» Федор Федорович, потерявший отца в тринадцать лет, руководясь семейным преданием, говорил, что ему было свойственно «какое-то особенное, даже редко встречающееся в такой степени, обожание женщин и

преклонение перед ними». В своих отношениях к ним, по словам сына, он «походил больше на жреца, преклоняющегося перед своим кумиром, чем на счастливого обладателя». Оба эти свидетельства подтверждаются другими данными и между ними есть внутренняя связь. Тютчев не был «обладателем», но и им нельзя было обладать. Елена Александровна говорила ему: «Ты мой собственный», — но, вероятно, именно потому, что ни ее, ни чьей другой он не был, и по самой своей природе быть не мог. Отсюда то пленительное, но и то «жуткое и беспокойное», что в нем было: и в самой страсти неутрачиваемая духовность, и в самой нежности все же нечто вроде отсутствия души.

В стихотворении «Не верь, не верь поэту!», написанном еще в тридцатых годах, читаем:

Твоей святости не нарушит
Поэта чистая рука,
Но ненароком жизнь задушит
Иль унесет за облака.

Некоторое расстояние должно было всегда чувствоваться, некоторая отчужденность, отъединенность. И вместе с тем, у самого Тютчева была огромная потребность в любви, но потребность не столько любить, сколько быть любимым. Без любви нет жизни; но любить для него, это узнавать, находить себя в чужой любви. В стихотворении 30-го года «Сей день, я помню для меня был утром жизненного дня» поэт видит новый мир, для него начинается новая жизнь не потому, что он полюбил, как для Данте, — *incipit vita nova*, — а потому что

Любви признанье золотое
Исторглось из груди ее,

т. е. мир преобразился в ту минуту, когда поэт узнал, что он любим. При таком переживании любви, неудивительно, что любившие Тютчева оставались неудовлетворенными его любовью; неудивительно и то, что для него существовала верность, не исключавшая измены, и измена, не исключавшая верности. Однажды осуществившаяся близость уже не исчезала больше из его памяти и воображения; но потребность в любви, в чужой любви к нему, была так неиссякаема, так ненасытна, что Тютчев искал все новых близостей. Тема неверной верности и любви других к нему проходит через всю его жизнь и получает отражение в его поэзии.

Первое увлечение Тютчева, о котором нам известно, отно-

сится к началу мюнхенского периода его жизни, вероятно, к 1824 году, когда ему было немногим больше двадцати лет, а графине Амалии Максимилиановне фон-Лерхенфельд всего шестнадцать. Впоследствии она вышла замуж за первого секретаря посольства в Мюнхене бар. Крюднера, а после его смерти за финляндского генерал-губернатора, гр. Адлерберга. В стихах, обращенных к ней («к Н.») уже подчеркнут мотив ее любви:

Твой взор живет и будет жить во мне . . .

Дружеское отношение к ней со следами былой влюбленности сохранилось на всю жизнь. Это она в 36-ом году привезла в Петербург рукопись стихотворений Тютчева, которая была передана князем Гагариным Вяземскому для пушкинского «Современника». Позже он запрашивал о ней родителей, писал, что считает ее несчастливой в замужестве. После возвращения в Россию виделся с ней в Петербурге. В Карлсбаде в 1870-ом году, повстречав ее, он написал «Я встретил вас, и все было . . .», стихи, кончавшиеся так:

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь . . .

В то лето им было обоим за шестьдесят.

*
**

В 1826 году в Мюнхене Тютчев женился на гр. Эмили-Элеоноре Петерсон, рожденной графине Ботмер (ее первый муж был чиновником русской службы, и сыновья от первого брака жили в России). Кое-что мы знаем о ней по письмам к брату и родителям Тютчева, изданным, к сожалению, лишь в отрывках. У нее были пышные светлые волосы и не очень гибкий стан, но слыла она красавицей. Гейне восхищался ею и, повидимому, был влюблен в ее сестру. Тютчев был глубоко ей предан и привязан к ней, хотя за двенадцать лет их совместной жизни у него бывали и другие увлечения. Кризис его отношений с женой наступил в 1836 году. — В начале этого года в Мюнхене произошло нечто, в результате чего Элеонора Федоровна или, как ее звали в семье, Нелли, нанесла себе несколько ударов в грудь маленьким кинжалом, оставшимся, по словам Тютчева, «от прошлогоднего маскарада», а затем, в

полубезумном состоянии выбежала на улицу, где ее встретили и привели к себе жившие неподалеку друзья. Тютчев рассказал об этом в письме к Гагарину, усердно прося его объявить друзьям, что происшествие произошло не по каким-нибудь романтическим причинам, а единственно вследствие сильного прилива крови к голове, объясняемого в свою очередь тем, что Элеонора Федоровна незадолго до того отняла от груди последнего ребенка. Но дело было, вероятно, серьезней: это видно из самого тона Тютчевского письма. Мы знаем, кроме того, что в ту зиму он познакомился с баронессой Эрнестиной Федоровной Дерберг, рожд. Пфэффель, полу-француженкой из Эльзаса, которой суждено было стать его второй женой; знаем также, что Нелли хлопотала о командировке ее мужа, дабы он мог уехать из Мюнхена, и писала родителям его о собственном желании покинуть Мюнхен и уехать в Россию. Ее письма того года не раз настаивают на том, что ей необходимо покинуть Мюнхен. На следующий год, в мае месяце, Тютчев и в самом деле отвез жену в Россию, а сам вернулся в августе за-границу старшим секретарем русской миссии в Турине. В конце ноября в Геную на свидание с ним приезжала Эрнестина Дерберг. Об этом свидетельствуют найденные среди ее бумаг после смерти два засушенных цветка — бессмертник и анютины глазки с надписью на бумажке “Gênes. Décembre 1837”. Предполагалось, что свидание это будет последним. О нем говорят стихи:

Так здесь-то суждено нам было
Сказать последнее прости —
Прости всему, чем сердце жило,
Что, жизнь твою убив, ее испепелило
В твоей измученной груди!

Прости . . . Через много, много лет
Ты будешь помнить с содроганьем
Сей край, сей брег с его полуденным сияньем,
Где вечный блеск и долгий цвет,
Где поздних, бледных роз дыханьем
Декабрьский воздух разогрет.

Заметим, что и здесь речь идет не о моем страдании, а о твоём, не о моей любви, а о твоей любви ко мне.

Через пять месяцев, в мае 1838 года, Нелли с детьми выехала на пароходе «Николай I» из Петербурга в Любек. Она держала себя героически во время кораблекрушения, вызванного ночным пожаром и описанного впоследствии Тургеневым, ехав-

шим на том же пароходе. Потрясение это отразилось на ее здоровье. Проболев три месяца, она умерла в Турине 27 августа 1838 года. По семейному преданию, Тютчев поседел за ночь, проведенную у мертвого тела жены. К горю его примешивалось, должно быть, и раскаяние. 6-го октября он писал Жуковскому: «Есть ужасная година в существовании человеческом. Пережить все, чем мы жили в продолжение целых двенадцати лет . . . что обыкновеннее моей судьбы и что ужаснее? Все пережить и все-таки жить . . . Есть слова, которые мы всю жизнь употребляем, не понимая, и вдруг поймем . . .» Однако, через неделю, повстречавшись с ним на одном из верхне-итальянских озер, Жуковский записал в свой дневник: «Во время плавания рисование и приятный разговор с Тютчевым. Глядя на север озера, он сказал: «За этими горами Германия». Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене». Действительно, помолвка с Эрнестиной Федоровной состоялась в Генуе, повидимому, еще в конце того же или в начале следующего года. 1-го марта Тютчев испрашивал у своего начальства отпуск и разрешение жениться на баронессе Дернберг. Разрешение он получил, но отпуска ему не дали, вследствие отлучки русского посланника в Турине, которого он должен был заменять. В мае Тютчев провел недели две или три в обществе баронессы и ее брата. Отпуска ему все не давали. Тогда он решился на рискованный шаг, и в июле без разрешения уехал в Берн, где в часовне при русском посольстве и был обвенчан с Эрнестиной Федоровной. Ждать дольше было и в самом деле неудобно; первый ребенок от нового брака родился 23 февраля.

Все-таки через десять лет после смерти Нелли память о ней была еще жива. Тогда были написаны стихи:

Еще томлюсь тоской желаний,
Еще стремлюсь к тебе душой,
И в сумраке воспоминаний
Еще ловлю я образ твой,

Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда.

*
**

Эрнестина Федоровна была женщина умная, уравновешенная, твердого характера. Она выучилась по-русски, чтобы

читать стихи мужа, но еще на смертном одре Тютчев пришел в ярость от того, как она записала продиктованное им стихотворение. В отличие от ее предшественницы, ее как то неловко называть уменьшительным именем: Нетти. Ее, кажется, мало любили; доброта и сердечность ее, повидимому, прикрывались некоторым холодком, а может быть и скукой. Она воспитала дочерей своего мужа от первого брака и дала ему еще троих детей. В 1844 году Тютчевы переехали в Россию, а к последующим годам относится кратковременная, вероятно, связь Тютчева с некоей г-жей Лапп, эльзасской, с которой он познакомился в Страсбурге. На старости лет она сошла с ума, и в 1900 году Лев Толстой получил от нее из Вены чрезвычайно странное письмо. Однако, некоторые факты, упомянутые в нем, неоспоримы. Повидимому, Тютчев имел от нее двоих детей. Известно во всяком случае, что Эрнестина Федоровна отказалась после смерти мужа от причитавшейся ей пенсии, в пользу г-жи Лапп. Когда именно она узнала об этой связи — неизвестно. Тютчев всем этим глубоко захвачен не был; его отношения с женой были дружескими и сердечными, но особого огня в них незаметно. Об остальном мы не знаем ничего.

В эти годы чувствовал он себя плохо, и физически и душевно. Привыкнуть к русской жизни было нелегко. К начинавшейся литературной известности он был равнодушен. Все чаще приходили мысли о смерти, уже не оставлявшие его до конца. Он ощущал себя постаревшим. Ему казалось, что жизнь кончилась. Тогда-то и пришла в нее та любовь, которую он назвал сам последней.

Две младших дочери его от первого брака, Дарья и Екатерина, учились в Смольном институте. Одной из его инспектрис состояла уже с давних пор Анна Дмитриевна Денисьева. В ее доме в 1850 году Тютчев встретился с племянницей ее, Еленой Александровной Денисьевой, Леленькой, как звали ее близкие. Денисьевы были дворянского рода, дед Елены Александровны еще владел поместьями, а отец разорился и служил исправником где-то вдалеке. Мать рано умерла, и воспитывала ее тетка, которую она называла татап. В ту пору было ей двадцать четыре года, а Тютчеву сорок семь. Повидимому, встреча их тотчас привела к любви, а любовь очень быстро перешла в связь. Передают, что Тютчев увез Елену Александровну с бала. Во всяком случае, мы знаем точную дату, когда начался этот роман. Через год после смерти Елены Александровны Тютчев вспоминал:

Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло
С того блаженно-рокового дня,
Как душу всю свою она вдохнула,
Как всю себя перелила в меня.

Эти стихи помечены 15 июля 1865 года.

Сохранилось три портрета Елены Александровны. У нее были темные волосы, причесанные на прямой пробор, узкое лицо, глубоко запавшие черные глаза.

В непостижимом этом взоре,
Жизнь обнажающем до дна,
Такое слышалось горе,
Такая страсти глубина.

Дышал он грустный, углубленный
В тени ресниц ее густой,
Как наслажденье утомленный
И как страданье роковой.

Когда смотришь на ее портреты, особенно на дагерротип, снятый, должно быть, еще до встречи с Тютчевым, не сомневаешься, что эти стихи относятся к ней. В ее художавом, смуглом лице есть что-то обуглившееся, сожженное. Бывают такие русские лица: в них одновременно упрямство и обреченность, беззаветность и упрек. Елена Александровна ничего не рассчитала, ни о чем не пожалела, ничего не сохранила для себя. Она называла Тютчева «Ты мой собственный». И она же называла его «мой Боженька» и еще “*mon Louis XIV inamuable*”. Ее отношение к Тютчеву приближается к тому, что один французский писатель назвал абсолют человеческой любви. Такая любовь не может не быть страдальческой любовью, а в данном случае страдание было предопределено уже тем, что для Тютчева оказалось невозможным бросить семью, разойтись с Эрнестиной Федоровной.

Все, что сберечь мне удалось
Надежды, веры и любви,
В одну молитву все слилось:
Переживи, переживи!

Стихи эти обращены к жене; а с чем они умоляют ее примириться, это — связь Тютчева с Еленой Александровной. Для него началась мучительная двойная жизнь на два дома, на две семьи, а для нее — мука еще куда горшая. И на него смотрели

косо; ей же пришлось прекратить знакомство с большинством прежних друзей, выслушивать укоры, терпеть обидное снисхождение. Но мучило ее не только это: она сомневалась в тютчевской любви. То, что она переживала, пережил и Тютчев, как поэт; он от нее и имени написал пронзающие душу всем памятные стихи; но исцелить эту рану был не в силах.

*
**

20-го мая 1851 года у Елены Александровны родилась дочь Леля. Позже она родила Тютчеву еще двух сыновей: Федора в 60-м году, и умершего в младенчестве Колю в 63-м. К рождению дочери относятся стихи, впервые напечатанные всего несколько лет тому назад:

Не раз ты слышала признание:
«Не стою я любви твоей».
Пускай мое она созданье —
Но как я беден перед ней . . .

Перед любовью твоею
Мне больно вспомнить о себе —
Стою, молчу, благоговею
И поклоняюсь тебе . . .

Когда порой, так умиленно,
С такою верой и мольбой
Невольно клонишь ты колена
Пред колыбелью дорогой,

Где спит она — твое рожденье —
Твой безымянный херувим, —
Пойми ж и ты мое смирение
Пред сердцем любящим твоим.

Тютчев все тот же — для него есть только ее любовь, свою он умалывает сам, — но от этого не легче Елене Александровне. В эти годы, пока продолжалась их связь, он не изменился. Он постоянно бывает в «свете», ездит за-границу, иногда с Еленой Александровной, а иногда с женой, скучает по жене и дочерям, когда он с ними разлучен, встречается с баронессой Крюднер, самым старинным увлечением своим, и пишет мадригалы племяннице Горчакова Н. С. Акинфиевой. Политика попрежнему составляет главный интерес его жизни. Порой Елена Александровна не выдерживает его рассеянности, его «отсутствия»;

дело доходит до объяснений, истерик, тяжких ссор. Муж ее сестры А. А. Георгиевский передает, что однажды, будучи в гостях у свояченицы, он заметил, что из печки выпал изразец. Тютчев поспешил замять разговор на эту тему, а когда Елена Александровна вышла из комнаты, объяснил, что это она, в порыве гнева, бросила ему в голову пресс-папье. По счастливой случайности пострадала одна печка. — Всего лучше вырисовывается вся сложность этих отношений в письме, посланном Тютчевым Георгиевскому через несколько месяцев после смерти Елены Александровны:

«Вы знаете, как при всей своей высоко-поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, она в грош не ставила стихов, даже и моих, и только те из них ей нравились, где выражалась моя любовь к ней, выражалась гласно и во всеуслышание. Вот чем она дорожила, чтобы целый мир узнал, чем она для меня: в этом заключалось ее высшее не то, что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее . . . Я помню раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся вторичным изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью созналась, что как отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но она), и что же — поверите ли Вы этому? — вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как то показалось, что с ее стороны подобное требование не совсем великодушно, что зная, до какой степени я весь ее («ты мой собственный», как она говорила) ей нечего, незачем было желать и еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, слишком Вам известных, которые все больше и больше подтачивали ее жизнь и довели нас — ее до Волкова поля, а меня — до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке. О! Как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при этом тупом понимании того, что составляло жизненное для нее условие! Сколько раз она говорила мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал и не понимал; я, вероятно, полагал, что как ее любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистощимы, и так пошло, так подло на все ее вопли и стенания отвечал ей эту глупую фразу: «ты хочешь не-

возможного». — Права ли была Елена Александровна или нет, — мучения были несомненны.

Так прошло четырнадцать лет. Под конец Елена Александровна много хворала (она была туберкулезна). Сохранились ее письма к сестре, относящиеся к последним полутора годам ее жизни. В них-то она и называет Тютчева «мой Боженька», в них и сравнивает его с неразвлекаемым французским королем. Из них явствует также, что в последнее лето ее жизни дочь ее Леля почти каждый вечер ездила с отцом кататься на Острова. Он угощал ее мороженым; они возвращались домой поздно. Елену Александровну это и радовало и печалило: она оставалась в душной комнате одна или в обществе какой-нибудь сердобольной дамы, вызвавшейся навестить ее. В то лето Тютчев особенно хотел уехать за-границу, тяготился Петербургом; это мы знаем из его писем к жене. Но тут и постиг его тот удар, от которого он уже не оправился до смерти.

При жизни Елены Александровны жертвою их любви была она; после ее смерти жертвою стал Тютчев. Быть может, он любил ее слишком мало, но без ее любви он жить не мог. Мы точно слышим, как он говорит: «Твоя любовь, твоя, а не моя, но без этой твоей нет жизни, нет и самого меня». У Китса было прозрение о том, что поэту свойственно быть лишенным ясно очерченной, выпуклой личности; к Тютчеву это приложимо больше, чем к какому-либо другому из русских поэтов. Еще в 51-м году он жаловался жене: «Я чувствую, что мои письма самые пошло-грустные. Они ничего не говорят и похожи на окна, замазанные летом, сквозь которые ничего не видно и которые свидетельствуют об отъезде и отсутствии. Вот в чем несчастье быть так вполне лишенным личности». Гораздо позже, через три года после смерти Елены Александровны, он писал другому корреспонденту: «благодаря моей мало-энергичной и неустойчивой личности, мне кажется, что нет ничего естественней, чем потерять меня из виду». А через два месяца после ее смерти он дал, в письме к Георгиевскому, ключ ко всей своей судьбе: «Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви (. . .) я сознавал себя».

*
**

Елена Александровна умерла в Петербурге или на даче под Петербургом 4-го августа 1864 года. Похоронили ее на Волковом кладбище. На ее могиле стоял крест, ныне сломанный,

с надписью, состоявшей из дат рождения и смерти и слов «Елена — верую, Господи, и исповедую». О ее предсмертных днях или часах и об отчаянии Тютчева говорят стихи:

Весь день она лежала в забытьи —
И всю ее уж тени покрывали —
Лил теплый, летний дождь — его струи
По листьям весело звучали.

И медленно опомнилась она —
И начала прислушиваться к шуму,
И долго слушала — увлечена,
Погружена в сознательную думу . . .

И вот, как бы беседуя с собой,
Сознательно она проговорила:
(Я был при ней, убитый, но живой)
«О, как все это я любила!»

.

Любила ты, и так, как ты, любить —
Нет, никому еще не удавалось —
О Господи! . . и это п е р е ж и т ь . . .
И сердце на клочки не разорвалось . . .

В день после похорон, Тютчев писал Георгиевскому: «Все кончено . . . Вчера мы ее хоронили . . . Что это такое? Что случилось? О чем это я Вам пишу — не знаю . . . Во мне все убито: мысли, чувства, память, все . . . Я чувствую себя совершенным идиотом. Пустота, страшная пустота. И даже в смерти не предвижу облегчения. Ах, она мне на земле нужна, а не там где-то . . . Сердце пусто, мозг изнеможен. Даже вспомнить о ней, вызвать ее живую в памяти, как она была, глядела, говорила, и этого не могу. Страшно, невыносимо . . . Писать более не в силах, да и что писать? . . .»

Через пять дней он писал ему же: «О, приезжайте, приезжайте, ради Бога, и чем скорее, тем лучше. Благодарю, от души благодарю Вас. Авось либо удастся Вам, хоть на несколько минут, приподнять это страшное бремя, этот жгучий камень, который давит и душит меня . . . Самое невыносимое в моем теперешнем положении, это то, что я с всевозможным напряжением мыслей, неотступно, неослабно, все думаю о ней, и все-таки не могу уловить ее . . . Простое сумасшествие было бы отраднее . . . Но . . . писать об этом я все-таки не могу, не хочу; как высказать этакий ужас . . .»

К этому же времени относится, вероятно, отрывок из письма к неизвестному адресату, сообщенный в свое время Ф. Ф. Тютчевым, сыном Елены Александровны: «Мое душевное состояние ужасно. Я изнываю день за днем все больше и больше в мрачной бездонной пропасти . . . Смысл моей жизни утрачен, и для меня ничего больше не существует. То, что я чувствую, невозможно передать словами, и если бы настал мой последний день, то я приветствовал бы его, как день освобождения . . . Дорогой друг мой, жизнь здесь на земле невозможна для меня. И если «она» где-нибудь существует, она должна сжалиться надо мной и взять меня к себе . . .»

Фет посетил Тютчева в те дни и так рассказал об этом в своих воспоминаниях: «Безмолвно пожав руку, Тютчев пригласил меня сесть рядом с диваном, на котором он полулежал. Должно быть его лихорадило и знобило в теплой комнате от рыданий, так как он весь покрыт был с головою темно-серым пледом, из под которого виднелось только одно измогающее лицо. Говорить в такое время нечего. Через несколько минут я пожал ему руку и тихо вышел».

Остаться в Петербурге было невозможно. Тютчев хотел было поехать к Георгиевским в Москву, но передумал, быть может, вследствие зова жены, и в конце месяца выехал к ней за-границу. Через Германию, несколько раз останавливаясь в пути, он поехал в Швейцарию, а оттуда на французскую Ривьеру. Тургенев, повидавший его в Бадене, писал графине Ламберт: «Я видел здесь Ф. И. Тютчева, который очень горевал, что не свиделся с Вами. Состояние его весьма тягостно и печально. Вы, вероятно, знаете почему».

Вспоминая об этом времени, Анна Федоровна записала позже в своем дневнике: «Я причащалась в Швальбахе. В день причастия я проснулась в шесть часов утра и встала, чтобы помолиться. Я чувствовала потребность молиться с особенным усердием за моего отца и за Елену Д. Во время обедни мысль о них снова явилась мне с большой живостью. Несколько недель спустя я узнала, что как раз в этот день и в этот час Елена Д. умерла. Я увиделась снова с отцом в Германии. Он был в состоянии близком к помешательству. Какие дни нравственной пытки я пережила! Потом я встретилась с ним снова в Ницце, тогда он был менее возбужден, но все еще повергнут в ту же мучительную скорбь, в то же отчаяние от утраты земных радостей, без малейшего проблеска стремления к чему либо небесному. Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало. И это горе, все увеличи-

ваясь, переходило в отчаяние, которое было недоступно утешениям религии и доводило его, по природе ласкового и справедливого, до раздражения, колкостей и несправедливости по отношению к его жене и ко всем нам. Я видела, что моя младшая сестра, которая теперь при нем, ужасно страдала. Сколько воспоминаний и тяжелых впечатлений прошлого воскресло во мне. Я чувствовала себя охваченною безысходным страданием. Я не могла больше верить, что Бог придет на помощь его душе, жизнь которой была растрочена в земной и незаконной страсти».

*
**

В начале октября, из Женевы, Тютчев писал Георгиевскому: «...Память о ней — это то, что чувство голода в голодном, ненасытимо голодном. Не живет, мой друг Александр Иванович, не живет... Гноится рана, не заживает. Будь это малодушие, будь это бессилие, мне все равно. Только при ней и для нее я был личностью, только в ее любви, ее беспредельной ко мне любви я сознавал себя... Теперь я что-то бессмысленно живущее, какое-то живое, мучительное ничтожество. Может быть и то, что в некоторые годы природа в человеке теряет свою целительную силу, что жизнь утрачивает способность возродиться, возобновиться. Все это может быть; но поверьте мне, друг мой Александр Иванович, тот только в состоянии оценить мое положение, кому из тысячи одному выпала страшная доля — жить четырнадцать лет сряду, ежечасно, ежеминутно, такую любовью, как ее любовь, и пережить ее... Теперь все изведено, все решено; теперь я убедился на опыте, что этой страшной пустоты во мне ничто не наполнит. Чего я ни испробовал в течение этих последних недель, и общество, и природа, и, наконец, самые близкие родственные привязанности; Саша*), ее участие в моем горе. Я готов сам себя обвинять в неблагодарности, в бесчувственности, но лгать не могу: ни на минуту легче не было, как только возвращалось сознание. Все эти приемы опиума минутою заглушают боль, но и только. Пройдет действие опиума и боль все та же...»

Душевное состояние Тютчева, как это видно из записей его старшей дочери, не могло не огорчать и не раздражать членов его семьи. Однако, Дарья Федоровна вряд ли была права, когда писала в ноябре из Ниццы своей младшей сестре в

*) Кн. А. М. Мещерская.

Москву: «У папы здоровый вид. Он уходит из дому на целый день. Когда он не думает о б э т о м, он развлекается. Впрочем, он хочет казаться печальным . . . » Тютчев, действительно, пытался развлечься. В Лозанне, в Уши, в Монтрэ он посещал друзей, ходил на лекции и в театр, из Женевы ездил с большой компанией в Фернэй. Берега Женевского озера были ему издавна милы. Но забыть «об этом» было не так легко. Однажды, вернувшись домой, с проповеди епископа Мермию, он продиктовал младшей дочери, Марии, той самой, о которой упоминает Анна Федоровна и дневнику которой мы обязаны сведениями о времяпрепровождении Тютчева за-границей, стихи:

Утихла биза . . . Легче дышит
Лазурный сонм Женевских вод —
И лодка вновь по ним плывет,
И снова лебедь их колышет.

Весь день, как летом, солнце греет,
Деревья блещут пестротой —
И воздух ласковой волной
Их пышность ветхую лелеет.

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра, —
Сияет Белая Гора,
Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы все забыло,
Забыло б муку всю свою,
Когда бы там — в родном краю —
Одной могилой меньше было . . .

По дороге из Женевы в Ниццу Тютчев осматривал Лион, Марсель, Тулон, Канн. В Ницце старался развлечься, как и в Женеве, катался по окрестностям, виделся с многочисленными знакомыми и друзьями. Но восьмого декабря писал Полонскому: «Друг мой Яков Петрович. Вы просили меня в Вашем письме, чтобы я писал Вам, когда мне будет л е г ч е, и вот почему я не писал к Вам до сегодня. Зачем я пишу к Вам теперь, не знаю, потому что на душе в с е т о ж е, а что-это — то же — для этого нет слов. Человеку дан был крик для страдания, но есть страдания, которых и крик вполне не выражает . . . С той минуты, как я прошлым летом встретил Вас в Летнем саду и в первый раз высказался перед Вами о том, что мне претило, — и до сей минуты, если б год тому назад все мною пережитое и перечувствованное приснилось мне, с некоторою живостью,

— то, мне кажется, — я — не просыпаясь, тут же на месте и умер от испуга. Не было, может быть, человеческой организации, лучше устроенной, чем моя, для полнейшего восприятия известного рода ощущений. Еще при ее жизни, когда мне случалось при ней, на глазах у нее, живо вспомнить о чем-нибудь из нашего прошедшего, — я помню, какую страшную тоскою отравлялась тогда вся душа моя, — и я тогда же, помнится, говорил ей: «Боже мой, ведь может же случиться, что все эти воспоминания — все это, что и теперь, уже теперь так страшно, — придется одному из нас повторять одинокому — переживши другого — но эта мысль пронизывала душу — и тотчас же исчезала. А теперь? Друг мой, теперь все испробовано, ничто не помогло, ничто не утешило — не живет — не живет... Одна только потребность еще чувствуется, поскорей торопиться к вам, туда, где еще что-нибудь от нее осталось, дети ее, друзья, весь ее бедный домашний быт, где было столько любви и столько горя, но все это так живо, так полно ею — так, что за тот бы день, прожитый с нею, тогдашнюю мою жизнь я охотно бы купил, но ценою — ценою чего? Этой пытки, ежеминутной пытки — этого удела — чем стала теперь для меня жизнь... О, друг мой Яков Петрович, тяжело, страшно тяжело, я знаю, часть этого Вы на самом себе испытали, часть — но не все — Вы были молоды, Вы не четырнадцать лет... Еще раз, меня тянет в Петербург, хоть я и знаю и предчувствую, что и там, но не будет по крайней мере того страшного раздвоения в душе, какое здесь. Здесь даже некуда и приютить своего горя... Мне бы почти хотелось, чтобы меня вытребовали в Петербург именем нашего комитета, к чему кажется есть и причина — вследствие нездоровья гр. Комаровского, — что он, бедный? Очень, очень отрадно будет мне с Вами увидеться, милый мой Яков Петрович. Скажите то же от меня и Майкову. Обоих вас от души благодарю за вашу дружбу и много, много дорожу ею... Господь с Вами. Простите и до близкого свидания. Ф. Тютчев».

Через два дня он пишет Георгиевскому: «Друг мой Александр Иванович! Роковая была для меня та минута, в которую я изменил свое намерение ехать с Вами в Москву... Этим я себя окончательно погубил. Что случилось со мною? Чем я теперь? Уцелело ли что, от того прежнего меня, которого Вы когда то, в каком-то другом мире, — там при ней знали и любили — не знаю. Осталась обо всем этом какая-то жгучая, смутная память, но и та часто изменяет — одно только присутствие и неотступно — это чувство беспредельной, бесконечной, удушающей пустоты. О, как мне самого себя страшно...

Но погодите . . . Я теперь продолжать не в состоянии. Сколько времени я носился и боролся с мыслью, писать ли к Вам или нет . . . Горе, подобное моему, это та же проказа. И нуждаешься в людях и дичишься людей. Невольно чувствуешь, что нельзя, не должно, не позволительно приближаться к ним, рассчитывать на их сострадание, что есть такие болезни, которые просто отталкивают участие и должны замкнуться и совершить до конца свой процесс внутри человека . . . »

В конце ноября или в декабре были написаны стихи:

О этот юг, о эта Ницца! . .
 О, как их блеск меня тревожит!
 — Жизнь, как подстрелянная птица,
 Подняться хочет — и не может . . .
 Нет ни полета, ни размаху —
 Висят поломанные крылья —
 И вся она, прижавшись к праху,
 Дрожит от боли и бессилья . . .

Это и два предшествующих стихотворения Тютчев послал в начале декабря Георгиевскому. «Вы знаете, — писал он, — как я всегда гнушался этими мнимо-поэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выставкою своих язв сердечных. Боже мой, Боже мой. Да что общего между стихами, прозой, литературой, целым внешним миром и тем . . . страшным, невыразимо невыносимым, что у меня в эту самую минуту в душе происходит, — этою жизнью, которую вот уже пятый месяц я живу и о которой столько же мало имею понятия, как о нашем загробном существовании, и она то — вспомните же, вспомните о ней — она — жизнь моя, с кем так хорошо было жить, так легко и так отрадно, она же обрекла теперь меня на эти невыразимые адские муки . . . » Далее идет ранее приведенный нами рассказ о ссоре с Еленой Александровной, объясняющий желание Тютчева опубликовать посвященные ее памяти стихи.

В конце января Тютчев был, по свидетельству дочери, нездоров и полон грустных предчувствий; Средиземное море не могло исцелить его печаль. В начале февраля он выдал дочь замуж, а через месяц выехал с женой в Россию. По дороге он остановился на десять дней в Париже, виделся там с друзьями, обедал с Герценом (который писал Огареву: «Тютчев еще больше мед и млеко»), и еще раз говорил о своем горе с Тургеневым, вспоминаям позже: «Мы, чтобы переговорить, зашли в кафэ на бульваре и, спросив себе из приличия моро-

женого, сели под трельяжем из плюща. Я молчал все время, а Тютчев болезненным голосом говорил, и грудь его сорочки под конец рассказа оказалась промокшею от падавших на нее слез . . . »

*
**

В последних числах марта, все еще в очень подавленном состоянии духа, он вернулся в Петербург. Здесь с него потребовали стихов по случаю сотой годовщины со дня смерти Ломоносова, исполнявшейся 4-го апреля, и он накануне этого дня переслал их Майкову с припиской: «Вот вам, друг мой Аполлон Николаевич, несколько бедных рифм для вашего праздника, в теперешнем моем расположении не могу больше». Вскоре должна была его постигнуть новая утрата. Туберкулезом, унаследованным от матери, заболела старшая дочь Елены Александровны, Леля, носившая фамилию отца, как и ее два брата (все трое были усыновлены Тютчевым с согласия его жены). Девочке шел четырнадцатый год. Зимой, когда Тютчев был за-границей, случилась неприятность, тяжело отозвавшаяся на ее здоровье. На приеме в известном пансионе Труба, где она воспитывалась, какая-то незнакомая с семейными обстоятельствами Тютчева дама спросила ее, как поживает ее татап, имея в виду Эрнестину Федоровну. Когда Леля Тютчева поняла причину недоразумения, она убежала от г-жи Труба к А. Д. Денисьевой и объявила, что в пансион больше не вернется. У нее сделался нервный припадок, а к весне обнаружилась скоротечная чахотка. 2-го мая она умерла, и в тот же день умер ее маленький брат Коля, которому не было еще и года. Один лишь пятилетний Федя выжил и на много лет пережил отца.

Два года спустя, совсем по другому, не касавшемуся его лично, поводу, Тютчев писал жене: «Вот разница между ранами физическими и духовными: первые складываются одна с другой, тогда как вторые чаще всего исключают друг друга». Быть может, мысль эта явилась плодом собственного его опыта, того, что было пережито той весной, после возвращения из Ниццы в Петербург. Можно предположить, что эта новая двойная утрата не столько стала для Тютчева новым горем, сколько углубила и продлила старое. В эти дни он написал «Певучесть есть в морских волнах . . . » П. В. Быков, видевший его тогда же, вспоминал через полвека: «Тютчев в то время был страшно удручен потерями дочери и особы, горячо им любимой. Я выразил ему мое соболезнование. Он почти со слезами благодарил меня и сказал: «Нет пределов моему стра-

данию, и нет выше моей любви к той, которая дала мне столько счастья. Испытали ли вы такое состояние, когда все существо проникается, каждая вена, этим всеобъемлющим чувством, «И если загробная жизнь нам дана», — как говорит Боратынский, — я утешаю себя только загробным свиданием... Но ведь это утешение все-таки не примиряет с действительностью...» Тогда же писал он Полонскому в ответ на его стихи:

Нет более искр живых на голос твой приветный —
 Во мне глухая ночь и нет для ней утра...
 И скоро улетит — во мраке незаметный —
 Последний, скудный дым с потухшего костра.

Правда, через неделю после этих строк было написано мадригальное стихотворение, посвященное Н. С. Акинфиевой, но оно свидетельствует лишь о той потребности в обществе, особенно женском, которое Тютчева никогда не покидало. Под этим покровом нежности, общительности, разговорчивости, продолжала зиять полная опустошенность получившая самое глубокое свое выражение в стихах: «Есть и в моем страдальческом застое...» Мертвенность души, тупая тоска, невозможность осознать самого себя, противопоставлены в них жгучему, но живому страданию, точно также, как при жизни Елены Александровны противопоставлялось могущество ее любви той неспособности любить, которую испытывал поэт, когда сознал себя «живой души твоей безжизненным ку-миром».

В конце июня он пишет М. А. Георгиевской: «Я должен признаться, что с той поры не было ни одного дня, который я не начинал бы без некоторого изумления, как человек продолжает еще жить, хотя ему отрубили голову и вырвали сердце». Две годовщины помянул он тем летом скорбными стихами: 15-го июля в Петербурге написал: «Сегодня, друг, пятнадцать лет минуло...», а 3-го августа в Овстуге:

Вот бреду я вдоль большой дороги
 В тихом свете гаснущего дня,
 Тяжело мне, замирают ноги...
 Друг мой милый, видишь ли меня?

Все темней, темнее над землею —
 Улетел последний отблеск дня...
 Вот тот мир, где жили мы с тобою,
 Ангел мой, ты видишь ли меня?

Завтра день молитвы и печали,
 Завтра память рокового дня . . .
 Ангел мой, где-б души ни витали,
 Ангел мой, ты видишь ли меня?

В этом месяце Тютчеву было особенно тяжело. Близкие отмечают его раздражительность: ему хотелось, чтобы они высказывали больше участия к его горю. 16-го августа он пишет М. А. Георгневской: «Мои подлые нервы до того расстроены, что я пера в руках держать не могу . . .», а в конце сентября ей же из Петербурга: «Жалкое и подлое творение человек с его способностью все пережить», — но сам он полгода спустя в стихах к гр. Блудовой скажет, что «пережить не значит жить». «Нет дня, чтобы душа не ныла . . .» написано в том же году поздней осенью. Следующей весной Тютчев не хотел ехать за-границу и писал Георгиевским: «Там еще пустее. Это я уже испытал на деле». Летом того года он жаловался из Царского жене: «Я с каждым днем становлюсь все несноснее, и моему обычному раздражению способствует немало та усталость, которую я испытываю в погоне всеми способами развлечься и не видеть перед собой ужасной пустоты».

*
 **

Конечно, время, как принято выражаться, «делало свое дело». Прошел еще год. Упоминание о Елене Александровне в переписке исчезает. Но известно, что осенью этого года на одном из заседаний Совета Главного Управления по делам печати, которого он состоял членом, Тютчев был весьма рассеян и что-то рисовал или писал карандашом на листке бумаги, лежавшей перед ним на столе. После заседания он ушел в раздумьи, оставив листок. Один из его сослуживцев, гр. Капнист, заметил, что, вместо деловых записок, там были стихотворные строчки. Он взял листок и сохранил его на память о Тютчеве:

Как ни тяжел последний час —
 Та непонятная для нас
 Истома смертного страданья, —
 Но для души еще страшней
 Следить, как вымирают в ней
 Все лучшие воспоминанья.

Прошла еще одна петербургская зима, потом весна . . . В июне Тютчев написал:

Опять стою я над Невой,
И снова, как в былые годы,
Смотрю и я, как бы живой,
На эти дремлющие воды.

Нет искр в небесной синеве,
Все стихло в бледном обаянье,
Лишь по задумчивой Неве
Струится лунное сиянье.

Во сне ль все это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?

Понимать это следует буквально. Ему не хватало жизни;
и ему оставалось не долго жить.

В. Вейdle.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О С. В. РАХМАНИНОВЕ

(К пятилетию со дня смерти)

Осенью 1887 года я поступил в Московскую консерваторию. В первый же день П. И. Чайковский представил меня профессорам Н. С. Звереву и А. И. Зилоти. Тут же я познакомился с учениками — Рахманиновым, Максимовым и Прессманом; все трое жили у профессора Зверева. Я сразу подружился с этой молодежью, и дружба с ними оказалась «до гробовой доски».

Через несколько дней я был приглашен к Н. С. Звереву на завтрак и там я увидел, как живут мои новые друзья. Воскресные завтраки у Зверева были хорошо известны в Москве: большой хлебосол, гастроном, он прямо священнодействовал, когда угощал своих гостей. Я вскоре сделался завсегдаем этих завтраков и до сих пор вспоминаю о них с радостью. Кто только на них не бывал! А. Г. Рубинштейн, П. И. Чайковский, А. С. Аренский, С. И. Танеев, профессор П. А. Пабст, известные общественные деятели и меценаты как С. И. Мамонов и многие другие. Видная фигура в старой Москве, бывший помещик, Зверев был большим баринном. Никто из нас не знал, какое он получил музыкальное образование. Известно было только, что он смолоду был дружен с Н. Г. Рубинштейном, который и угадал в нем замечательного педагога. Через руки Н. С. Зверева прошли лучшие московские пианисты. Но самое замечательное в этом человеке было его отношение к молодежи. Если поступающий в консерваторию талантливый ученик-пианист не имел ни достаточных средств, ни родителей в Москве, у которых он мог бы жить, Н. С. предлагал взять юношу к себе. Платы он при этом никакой не брал, но ставил одно условие: родители теряли всякое право вмешиваться в дело воспитания их сына; он как-бы становился сыном Зверева. Так росли и воспитывались А. И. Зилоти, С. В. Рахманинов, Л. А. Максимов, М. Л. Прессман. Питомцев своих Зверев любил как отец и баловал их — водил в театр и на концерты, (это он, впрочем, считал не баловством, а необходимою частью образования), а иногда и в хорошие рестораны. В занятиях же он был строг и лентяев не любил. Мне часто потом говорил А. И. Зилоти: «Да если

бы не строгость Николая Сергеевича, разве я был бы Зилоти?» Другие мои друзья — братья Конюсы, Скрябин, Левин, Буюкли, как и я сам, вели жизнь «студенческую», то-есть жили у себя дома и пользовались полной свободой; «зверята же» (так их называли в консерватории) были лишены свободы, у них весь день был расписан по часам. Я был особенно дружен с Максимовым. У него был увлекающийся, горячий темперамент и он был отчаянный спорщик. Мы дали ему прозвище «Дон-Кихот», а П. И. Чайковский называл его «нахал Лёля».

Совершенно другого характера был другой «зверёныш» — Сергей Рахманинов. В противоположность Максиму, Рахманинов был уравновешенный, спокойный юноша; никогда не спорил и не кричал; много смеялся, любил наши шутки и дурачества, но сам в них участия не принимал. Во время нашего пребывания в консерватории в жизни ее произошел перелом. Новый директор В. И. Сафонов принес с собой «новый дух» — начались трения, которые повели к выходу из состава дирекции П. И. Чайковского, к отставке Зилоти и некоторых других преподавателей. В консерватории образовались две партии — сафоновская и оппозиционная (старая рубинштейновская). Мы, конечно, были в оппозиции. С уходом Зилоти учеников его класса пришлось перевести к другим профессорам и только Рахманинов, который некоторое время перед тем стал учеником Зилоти по желанию самого Зверева, не захотел перейти к другому профессору и держал выпускной экзамен от себя. Кончил он консерваторию блестяще по обоим специальностям (как пианист и композитор) — ему была присуждена большая золотая медаль. Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что у Рахманинова уже в возрасте 17-18 лет был вполне сложившийся характер: он был самолюбив, но не заносчив, держал себя с достоинством, с нами был прост, мил, но ни с кем не был то, что называется «за панибрата». Мне часто потом говорили, что он «надменный и с самомнением». Смею заверить, что ни надменности, ни самомнения в нем и следа не было. Если же у него и был такой вид, то как это ни странно, происходило это от его застенчивости.

За некоторое время до окончания консерватории у Рахманинова произошел разрыв с Н. С. Зверевым и они расстались. Мы знали, что оба они тяжело переживали этот разрыв. Зверев безусловно очень любил своего питомца; Рахманинов же при всей признательности и любви к Н. С., не мог перенести его тяжелого характера и деспотизма. К общей радости примирение произошло во время выпускного экзамена. Обыкновенно перед

выпуском бывал концерт «выпускных» в зале Благородного Собрания; в этот раз играли Рахманинов, Скрябин, Альтшулер, Максимов и я. После концерта Н. С. Зверев устроил ужин в Эрмитаже, на котором кроме нас были профессора Габст и Аренский с женами. Хотя ужин был дан в нашу честь, как кончающих, но все чувствовали, что Зверев праздновал примирение с Рахманиновым. Ужин был веселый, с речами. Отвечая на тост Аренского, я между прочим сказал, что счастлив получить высокое звание «свободного художника», но хотел бы знать, какие права это звание дает. На это Аренский с улыбкой ответил мне: «Милый друг, давно всем известно, что звание свободного художника дает неоспоримое право свобод-
но «х у д о ж и т ь».

После Зверева Рахманинов жил у своей тетушки В. А. Сатиной, где мы опять часто встречались, так как я давал уроки ее сыну Володе. Здесь же мне впервые пришлось познакомиться с Рахманиновым на «деловой» почве. Нам с ним предложили дать несколько концертов на юге России. Кроме сольных номеров, рахманиновских и моих, в программе нашей была соната Грига для фортепиано и скрипки, и вот, репетируя эту сонату, я узнал какой Рахманинов был требовательный не только к другим, но и к себе. Он первый научил меня по-настоящему работать над вещами. В 1896—1904 г.г. я жил в провинции, бывал в Москве редко, наездами, но всякий раз виделся с Сергеем Васильевичем. За это время он вырос и как композитор, и как пианист (хотя тогда он играл только свои сочинения). В бытность мою на Кавказе я узнал, что с Рахманиновым случилось какое-то нервное расстройство и что он перестал сочинять. Это привело в уныние не только его родных и друзей, но и всю музыкальную Москву. К счастью все обошлось благополучно — его вылечил гипнозом милейший доктор Н. В. Даль, общий друг московских музыкантов, и после тяжелого перерыва Рахманинов подарил миру свой чудесный 2-ой фортепианный концерт, который он и посвятил доктору Далю.

В 1904 году я вернулся в Москву и был приглашен профессором в Филармоническое музыкальное училище; здесь мы опять часто встречались с Рахманиновым. Мы оба были членами концертной комиссии, в которой кроме нас состояли еще член дирекции Ю. Ю. Осберг и А. И. Зилоти. В это же время Рахманинов невероятно быстро сделал блестящую карьеру как дирижер. Начал он ее в частной опере С. И. Мамонтова, а продолжал в Большом театре. Впервые в Москве стали интересоваться дирижером в опере; спектакли при участии Рахмани-

нова имели огромный успех. Я помню, какую сенсацию произвели «Русалка» и «Жизнь за царя» под его управлением. В это же время он начал появляться за дирижерским пультом и в симфонических концертах и вскоре уже имел успех едва-ли не такой же, как Никиш.

В 1912 году я был назначен директором в Ростовское на Дону отделение Русского Музыкального Общества. Я окунулся с головой в административную деятельность, до тех пор мне совершенно чуждую. По уставу Музыкального Общества директора консерваторий и музыкальных училищ являлись не только руководителями музыкального преподавания, но также были ответственны за хозяйственную и административную часть. Дел было много, а главное совершенно мне незнакомо — приходилось учиться. Помню, я получил от моего бывшего директора В. И. Сафонова письмо, в котором он писал: «Поздравляю тебя с назначением на ответственный пост; верю, что ты окажешься хорошим администратором; но должен тебя предупредить: надолго придется тебе отказаться от веселой и беспечной жизни».

Началась работа — начало было трудное, но все же за два года мне удалось многое сделать. Больше всего меня радовала концертная деятельность нашего отделения. Концерты наши имели огромный успех. На них выступали такие артисты, как Рахманинов, Шаляпин, Зилоти, Брандуков, Собинов, Артур Рубинштейн, Сафонов, Белоусов. Была и серия симфонических концертов с участием оркестра Кусевицкого под его управлением: весь цикл Бетховенских симфоний, включая 9-ую, с хором из моих учащихся.

В 1914 году началась война и к нам в Ростов эвакуировалась Киевская консерватория. За все эти годы Рахманинов ежегодно приезжал с концертами в Ростов. Играл он всегда только свои сочинения и только один раз он приехал с программой из сочинений Скрябина — это было в 1915 году, после смерти Скрябина.

Неожиданно для себя я получил извещение, что Рахманинов назначен главной дирекцией Музыкального Общества ревизовать консерватории и музыкальные училища. Я ждал его приезда с нетерпением, мне хотелось похвастаться перед старым другом и замечательным музыкантом своими достижениями. Обыкновенно Рахманинов, приезжая в Ростов, останавливался у меня (у меня была хорошая казенная квартира при консерватории). По обыкновению я поехал на вокзал встречать его; но, к моему удивлению, он заявил мне, что не может

ехать ко мне, так как приезжает в качестве ревизора и считает для себя неудобным останавливаться у меня. «Ну, что же . . . Может быть ты и прав».

На другой день он явился на ревизию. Волнение было всеобщее: и в канцелярии и среди преподавателей и среди учащихся. Началась ревизия. Рахманинов остался верен себе в смысле добросовестного отношения к своим обязанностям. Проревизовал бухгалтерию, причем привел в страшное смущение нашу делопроизводительницу, задавая ей вопросы по разным статьям. Затем, осмотрев весь инвентарь, отправился по классам: он побывал в классах у всех преподавателей и просиживал иногда около получаса, чем немало мучил и преподавателей, и учащихся. Наконец, на третий день ревизия кончилась концертом учащихся, с хором и оркестром под моим управлением. Зал был переполнен учащимися и родителями; в публике были все профессора и преподаватели Киевской консерватории во главе с директором М. Р. Глиэром, старым моим товарищем по Московской консерватории. Концерт прошел очень хорошо. По окончании программы, Рахманинов подошел к эстраде, протянул мне руку и сказал довольно громко, что было не в его привычке: «Благодарю Вас, Николай Константинович! Все, что я видел здесь у Вас, и в музыкальном отношении и в отношении порядка и дисциплины, превзошло все мои ожидания!» Я был на седьмом небе от радости; моему самолюбию льстило еще и то, что свидетелями моего торжества были товарищи киевляне. Но что меня удивило и рассмешило, это то, что после концерта, когда мы остались с ним вдвоем, Рахманинов мне сказал: «А ты знаешь? . . . я боялся тебя ревизовать! . . . Тяжело ревизовать старого друга. А в тебе я был неуверен: я думал — какой Авьерино директор? . . . может быть там Бог знает, что делается?! . . . и серьезно подумывал: не проехать ли мне мимо Ростова? . . .» Через несколько месяцев я был в Петербурге с обычным докладом в главной дирекции и воочию убедился, какое значение для меня имел отчет Рахманинова: председательница дирекции, великая княгиня Елена Георгиевна, сказала мне, что она была счастлива слышать от С. В. Рахманинова, в каком порядке он нашел Ростовское отделение.

В 1916 году я приехал в Москву венчаться. Свадьбу мою справляли у моего брата присяжного поверенного С. К. Авьерино. Народу было много, все самые дорогие мне друзья: артисты Художественного театра, Шаляпин, Собинов, художники: барон Клодт и Коровин. Я боялся, что Рахманинов не придет,

так как знал его страх перед многолюдными собраниями. Поэтому я сам поехал его приглашать и при этом клялся ему, что доставлю его домой не позднее двенадцати часов ночи. Он честно исполнил свое обещание и приехал. Был чудесный ужин и чудесное настроение. За ужином веселые тосты; особенным остроумием отличался Ф. И. Шаляпин. За всем шумом и весельем я забыл о своем обещании Рахманинову доставить его домой к двенадцати часам. Было уже около двух часов, когда я об этом, наконец, вспомнил. В зале стоял хохот: Москвин и Шаляпин танцевали польку и при этом выделявали нечто, не поддающееся описанию. На фортепиано играл Ф. Ф. Кенеман, а около него, согнувшись и спрятавшись за инструмент, сидел Сергей Васильевич и буквально плакал от смеха. «Ну, Сережа, пора домой!.. Я тебя обещал доставить к двенадцати, а теперь много позднее», сказал я. — «Ну, брат, нет, сейчас не уйду!..» В широкой публике сложилось мнение, что Рахманинов был угрюмый и мрачный. Могу сказать, что я знал немногих, которые бы так любили веселье, как он его любил и смеялись бы так, как он смеялся. За мной укрепилась репутация «анекдотиста» — и вот, бывало, придешь к Рахманинову и первое, что он говорил мне, было: «Ну, вот, Николай, меньше, чем на три анекдота не согласен, не отпущу!»

Пришла февральская революция, а за нею большевики — пришлось бежать, и я очутился в Афинах. Там я играл с пианистом — композитором М. Якобсоном в одном из лучших отелей. В один прекрасный день я встретил в этом отеле Н. П. Кошиц, которая была в Афинах проездом в Америку. «Что ты тут делаешь? Почему не едешь в Америку? Там сейчас Сергей Васильевич — он тебя наверное устроит!..» Очевидно, по прибытии в Америку она сказала Рахманинову о нашей встрече, так как я вдруг получил из Америки перевод на 1500 драхм, что тогда была порядочная сумма, а через несколько времени и письмо от С. В., где он писал мне, что с горечью узнал о том, что я играю в отеле. Тем не менее он не советовал мне ехать в Америку, где и без того «музыкантов слишком много». Заканчивалось письмо словами: «Забудь Принцессу Долларов».

Вместо Америки я из Афин поехал в Париж. Там я узнал, что Зилоти жив, а не расстрелян, как о том писали (я по нем служил панихиду в Афинах) и что он в Лейпциге, а Рахманинов в Дрездене. Из Парижа я съездил в Германию повидать дорогих друзей. В Америку я, в конце концов, все-таки попал — вопреки советам Сергея Васильевича. Летом я ежегодно ездил в Париж, а Сергей Васильевич с семьей обычно тоже проводил

лето во Франции. Помню одно особенно замечательное лето, когда я приезжал к Рахманиновым гостить. Жили они тогда недалеко от Парижа в великолепном помещицьем доме с парком. Мне казалось, что в этой обстановке Сергей Васильевич чувствовал себя счастливейшим человеком. Вокруг него была семья, в которой он души не чаял: жена, старшая дочь, молодая вдова Ирина с очаровательной шестилетней дочкой Софочкой и другая дочь, тогда еще барышня, Татьяна. Кроме того дом был постоянно полон молодежи, которую Сергей Васильевич очень любил. Братья Шалапины, талантливые, веселые выдумщики, брат и сестра Зерновы, Конюс, будущий муж Татьяны, и пианист Павловский. Жизнь в доме была ключем. Чего, чего только не выдумывали: тут и глупая, но смешная игра в «бишикши» и заправский синематограф, спектакли с куплетами, кабаре и т. д. А музыка?!.. Сам Сергей за инструментом, да как отжаривал! А кто из слышавших может забыть его польку в четыре руки с Натальей Александровной? Русская помещицья усадьба, перенесенная из Тамбовской губернии в окрестности Парижа! Гостей полон дом и «нелюдимый, угрюмый» Рахманинов веселится и наслаждается...

И в Америке за последние двадцать лет жизни Рахманинова мы постоянно с ним виделись, вплоть почти до самой его кончины. А всего наша с ним дружба насчитывает 56 лет. Я счастлив и горд что был близок к этому замечательному человеку и музыканту. Я не имел в виду говорить о Рахманинове, как о музыканте, но скажу только одно: лишь в американский период своей жизни он развернулся во весь рост как пианист. Конечно, он был замечательным пианистом и раньше, в России, но все же тогда Рахманинов, знаменитый композитор и дирижер, как-то заслонял Рахманинова-пианиста. Здесь же, в Америке, он вырос в пианиста-гиганта. Сам он обожал свой инструмент. Помню, как он мне говорил: «Боюсь того момента, когда почувствую, что пора бросить и гра т ь». Одно время я боялся за него — это было за несколько лет до его смерти: у него начали болеть руки, но потом все обошлось и последнее время он играл так, как может быть никогда не играл. Я слышал его незадолго до его кончины. Это был концерт Нью-Йоркской Филармонии под управлением замечательного дирижера Митропулоса. Такие концерты не забываются. Присутствие ли на эстраде любимого публикой и музыкантами автора замечательного фортепианного концерта, исключительный ли талант дирижера, неподражаемое ли исполнение пианиста-композитора, — не знаю, что... думаю, что

все вместе создало небывалый подъем. Я видел на лицах музыкантов в оркестре восторг, я видел с каким энтузиазмом они играли, я чувствовал, как слились воедино и пианист, и дирижер, и оркестр . . . Я слышал, как все пело: пели инструменты, пели сердца слушателей, пели стены Карнеги Холл . . . Успех был потрясающий. Можно ли было поверить, что играет семидесятилетний старик? — Нет! Играл юноша Рахманинов . . .

Н. Авьерино.

ПОРАЖЕНЧЕСТВО 1941-1945 ГОДОВ И ГЕН. А. А. ВЛАСОВ

(Материалы для истории)

В советской печати стали обычными фразы о том, что «война вскрыла небывалую в истории сплоченность народов СССР» и показала их безграничную преданность коммунистической партии, которая осчастливила страну, выбрав именно ее своей базой при проведении великого эксперимента «построения социализма в одной стране» . . . Нет неправды большей, чем эти лживые фразы. Если мы хотим правильно понимать обстановку военных лет, то мы должны прежде всего усвоить одну непреложную истину: на всем протяжении многовековой истории России не было войны, во время которой вскрылась бы такая степень отсутствия внутреннего единства страны, как это было в войну 1941-1945 годов. Показателем этого отсутствия единства было пораженческое движение в стране . . .

Пораженческие настроения хорошо знакомы историкам общественных движений в России. На них особенно часто приходится наталкиваться при изучении идейно-политической борьбы последнего перед революцией столетия. Но есть огромное различие между пораженчеством тогдашним и теперешним.

В старой России пораженчество почти всегда бывало «верхушечным» настроением идеологов, за которыми шли лишь небольшие группки единомышленников. Массовым движением оно никогда не становилось, — даже в 1812 году, когда иностранные армии заняли Москву. К практическим действиям сознательно пораженческого характера оно никогда не переходило, — ибо нельзя же считать таким практическим действием, например, мечты Бакунина 1848-1849 годов о революционном вторжении в Россию вместе с армиями поляков-повстанцев. Никаких нитей от русских пораженцев к правительствам враждебных стран не протягивалось (о крайних сепаратистских группах в Финляндии, Польше и др. мы сейчас не говорим: они

себя рассматривали и в действительности были силами чужеродными, не имевшими ничего общего с процессами внутреннего развития России). Пораженчество старой России вообще будет правильнее определить, как стремление осознать объективно прогрессивное влияние военного поражения страны на процессы ее внутреннего развития, чем как попытки оказать содействие такому поражению.

Исключение было только одно: деятельность головки партии большевиков в 1917 году, когда Ленин и его ближайшие соратники, как это теперь можно считать установленным, сознательно взяли на себя работу «пятой колонны» немецкого штаба, получив от последнего огромные материальные средства. Именно эти средства и дали им возможность так широко развернуть свою предательскую работу по разложению тыла и фронта страны, которая только что провела демократическую революцию. Конечно, большевики при этом преследовали и свои собственные задачи, — русские и интернациональные. На существо дела это не влияет: характер этих их задач был таков, что вполне допускал кооперацию с внешним врагом страны. Но крайне важно отметить, что характера массового движения пораженчество и в этот период не приобрело, так как народными массами, которые тогда шли за большевиками, — и в первую очередь массами солдатскими и матросскими, — руководило не сознательное пораженчество, а простое нежелание воевать. Люди отказывались сражаться, «втыкали штыки в землю», — но не переходили в лагерь врага для того, чтобы в рядах его армий бороться против правительства той страны, которая была их родиной. Они, конечно, были участниками объективно пораженческой акции, — но субъективно едва ли многие из них были пораженцами в полном значении этого слова.

Совсем иным было пораженчество минувшей войны, — пораженчество советского периода истории России. Это пораженчество не только приобрело характер действительно массового движения, захватившего многие миллионы людей, — но и выливалось в такие формы, которых не знала история не одной только России. Эти моменты необходимо подчеркнуть со всею решительностью: пораженчество всегда в истории бывает лишь внешним выражением глубинных процессов развертывания внутренних антагонизмов, — и по размерам пораженчества, по остроте его выявления всегда можно составить представление о характере этих внутренних антагонизмов, о степени их

напряженности. В этом основной интерес и пораженчества последней войны.

К сожалению, разобраться в истории последнего не легко: мы имеем дело с очень сложным процессом, который шел по сбивчивым, запутанным путям и развертывался в нездоровой обстановке, — а точных материалов для суждения о нем крайне мало. Но медлить с приступом к изучению этого явления нельзя. Вопрос важен не для историков только. Он уже теперь имеет огромное значение и для практических политиков: в истории ничто точно не повторяется, — но жизнь часто перекидывает причудливые мосты между недавним прошлым и надвигающимся грядущим. Она уже строит их, эти мосты, — и знание прошлого помогает различить намечающиеся контуры нового.

Формы, в которых это пораженчество находило свое выражение, имеют много элементов, с которыми трудно мириться человеку, воспитанному в традициях государственно-демократической гражданственности. Тем важнее «вложить персты» и в эту рану. Надо освоиться с мыслью: большевизм, убив демократию, убил и порожденные ею формы гражданственности. Сложилась совсем новые формы отношений между властью и народом, — много более острые, озлобленные, чем мы это знали в прошлом. Там, «за железным занавесом», идет поистине звериная борьба большевистской власти против народа, — и народ отвечает тем же. Выражением этой борьбы были и те формы, в которых выливалось пораженчество 1941-1945 годов.

Печатаемые теперь очерки не являются историей в подлинном значении слова. Они не только неполны. В них вполне возможны неточности. Проверенных документальных данных вообще очень мало: архивы движения, повидимому, полностью погибли, — а сообщения в печати не только отрывочны, но и часто недостоверны, умышленно искажены. Основным материалом для изучения истории движения, повидимому, суждено стать сообщениям участников событий, о которых идет речь. Конечно, эти сообщения необходимо контролировать всеми методами, которые доступны исследователю, — но только опираясь на них и будет возможно восстановить наиболее важную часть событий: историю внутренней борьбы. К сожалению, по понятным причинам до сих пор нет возможности называть имена многих лиц, о которых идет речь, — даже лиц, на рассказах которых строятся выводы.

Из печатных материалов, в распоряжении автора настоящих очерков имелись комплекты русских газет, выходивших

при Гитлере в Берлине («Новое Слово» за 1941-1944 годы, — к сожалению с пробелами, — и «Воля Народа» за 1944-1945 годы) и в Париже («Парижский Вестник» за 1942-1944 годы, №№ 1—112). Из остальных изданий на русском языке имелись, к сожалению, только отрывочные номера «Казачьего Вестника» (Прага, 1941—1945 г.г.), «Зари» (Берлин, 1943-1944 г.г.), «Добровольца» (Псков-Рига-Берлин, 1943-1944 г.г.), «Информационного Бюллетеня Добровольческих Частей» и др.

1.

Теперь уже известно, что первый период войны на советском фронте был отмечен массовыми сдачами в плен. На процессе в Нюрнберге были оглашены документы, из которых видно, что за первые 4 месяца войны немцам сдалось в плен 3,9 миллионов человек. Из других немецких же данных видно, что за зиму 1941-1942 г.г. через немецкие лагеря прошло в общей сложности около 5,5 милл. человек. Так как 10-15 процентам пленных обычно удавалось ускользнуть от немецкого контроля и не попадать в лагеря, то в действительности общее количество пленных за эту первую зиму войны надо считать доходящим до 6 милл. человек. Это — цифра, даже приблизительно равной которой не знает история всех войн, какие только вело человечество. Ее надо рассматривать, как итог своего рода плебисцита советской армии против войны и против правительств, которое эту войну вело.

Менее известен, но не менее важен для понимания народных настроений другой факт: огромное число из сдавшихся в плен сразу же заявляло о своем желании обратить оружие против советского правительства. Обычно это были заявления отдельных лиц или небольших групп, которые никем не регистрировались. Но известны и случаи больших выступлений, носивших характер определенных политических демонстраций. Для них показательно выступление, имевшее место в сентябре 1941 года в местечке Погеген (Литва, приблизительно в 7-ми километрах от Тильзита). Там находился один из первых лагерей, созданных немцами для военнопленных в районе Литвы. В сентябре в нем содержалось около 26 тысяч человек, — из них свыше 12 тысяч дали свои подписи под обращением к немецкому командованию с заявлением о желании итти добровольцами для борьбы против большевиков. Подписавшие заявляли, что по их мнению пришло время для превращения войны из войны государств в войну гражданскую против правитель-

ства Сталина... Авторы явно прошли хорошую большевистскую школу и твердо помнили «апрельские тезисы» Ленина.

Это заявление произвело тогда большое впечатление на администрацию лагеря, — но впечатление было не то, какого ждали авторы. Один из последних, сам врач Красной Армии, рассказывал автору этих строк о своей тогдашней беседе со старшим врачом лагеря, немцем. Последнего настроение пленных, высказанное в их заявлении, испугало едва ли не сильнее, чем сама война:

«Значит, — восклицал он, — из вас еще не вытравлены революционные настроения. И вы хотите, чтобы мы дали вам оружие? Неужели вы считаете нас за идиотов? Ведь мы же понимаем, что когда вы прогоните Сталина, вы повернете это оружие против нас».

И оружие, действительно, не было дано. В тот период войны, уверенное в скорой победе на русском фронте, правительство Гитлера не хотело иметь своим союзником русских противников Сталина.

2.

Политика Германии в этом вопросе была очень сложна. Вернее: было несколько таких политик. Каждое из ведомств вело свою собственную.

Гитлер пытался сосредоточить ее в руках Розенберга, которого он назначил имперским министром для оккупированных на востоке областей и своим особоуполномоченным.

Политика Розенберга была вполне определенной: он ориентировался на раздробление России и потому повсюду поддерживал всевозможные сепаратистские группировки. Его агенты развернули широкую деятельность среди украинцев, белорусов, грузин, армян, горцев и т. д. Представитель любой национальной группы, который обращался за помощью для сепаратистской работы, мог быть уверенным, что получит ее от Розенберга. История этой стороны работы Розенберга выходит за пределы настоящей статьи. Важно только подчеркнуть, что особенного успеха она не имела: несмотря на всевозможные льготы и привилегии, которые они получали, национальные формирования Розенберга за все время на вербовали в общей сложности лишь немногим больше 100 тысяч добровольцев-сепаратистов, — причем из их рядов позднее, когда была создана армия Власова, было много случаев перехода в последнюю.

Специальное внимание Розенберг уделял казакам-сепаратистам. Немедленно же после начала войны в Праге был создан центр «Национального Казачьего Движения», председателем которого стал инженер В. Глазков, из старых эмигрантов. С 1-го октября 1941 года там начал выходить орган этого центра, — «Казачий Вестник» (два раза в месяц). Орган этот вел борьбу на два фронта, — и против русских, и против украинских «империалистов». Украинцев он обвинял в том, что они стремятся захватить казачьи земли, включив их в «великую соборную Украину от Сана и до океана» (см. «Казачий Вестник» от 15 октября 1942 года). Но основное острие его борьбы все время направлено против «многочисленного великорусского народа», которому «тесно, холодно и голодно» на его севере и который рвется на просторы казачьих земель. («Каз. В.» от 1 ноября 1943 г.). В качестве своей положительной программы «Казачье Национальное Движение» выдвигало «объединение всего искусственно разрозненного казачества в одну казачью семью в границах древней Казакии под высоким покровительством и охраной культурного немецкого народа и его гениального вождя Адольфа Гитлера» («Каз. В.» от 15 февр. 1943 г.). Точных границ этой «древней Казакии» «Каз. В.» не указывает (таких указаний во всяком случае нет в тех номерах «Каз. В.», которые имеются в нашем распоряжении), — но нет никакого сомнения, что она по своим размерам должна сильно напоминать «великую соборную Украину», т. е. простираться приблизительно «от Сана и до океана». Но социально-политическая позиция движения достаточно определяется тем фактом, что, отыскивая путем объявлений в печати редакторов и журналистов, «Каз. В.» в качестве обязательного условия для пробных статей ставил составление их «в духе идей национал-социализма и казачьего национализма» («Каз. В.» от 15-го октября 1942 года).

Проводя политическую мобилизацию казаков-сепаратистов среди старой эмиграции, Розенберг одновременно выступил в качестве инициатора формирования специальных казачьих частей из казаков-военнопленных. Указ о создании таких частей был подписан Гитлером 22 октября 1941 года. Во главе первых формирований был поставлен военнопленный майор Красной Армии И. Н. Кононов, который был подчинен немецкому генералу Шендорфу. Первые добровольцы были набраны в лагерях под Смоленском. Первая сотня получила коней в ноябре 1941 года и была оставлена в качестве почетной охраны при ставке Гитлера, которая тогда находилась в том

самом Могилеве, где была последняя ставка Николая II. Одеты были казаки в немецкую форму, но с донским казачьим гербом на петлицах: две пики на зеленом поле. В виду недостатка офицеров из военнопленных, было разрешено вербовать таких среди старых эмигрантов. Первая группа их в Могилев прибыла в мае 1942 года. Подлинным возглавителем этого движения из-за кулис с самого начала был известный П. Н. Краснов, — донской казачий атаман 1918 года, в период оккупации немцами Дона. Позднее он и открыто встал во главе всех казачьих формирований.

3.

В отношении русских Розенберг с самого начала был против допущения каких-бы то ни было русских национальных объединений, а тем более национальных войсковых формирований. Такова была его позиция и до начала войны, — и для нее очень характерен эпизод, разыгравшийся совсем накануне нападения Гитлера на Россию, — в самый разгар подготовки этого нападения.

Среди докладов Розенберга Гитлеру, которые сохранились в копиях в архиве Розенберга, имеется внеочередной доклад от 8 июня 1941 года, написанный со следами нескрываемой тревоги. Дело состояло в следующем: в этот день канцелярия Розенберга получила информацию о том, что некто Войцеховский, известный русский эмигрант в Варшаве, ведет переговоры с рядом видных русских эмигрантов относительно формирования русского антибольшевистского правительства, подчеркивая, что это дело очень срочно в виду близости войны и что переговоры эти он ведет по поручению человека, близкого к гитлеровскому наместнику в Варшаве Франку. Розенберга это дело взволновало не только потому, что оно свидетельствовало о широкой болтовне вокруг подготовки похода на Москву, которая считалась величайшей государственной тайной, но и потому, что оно свидетельствовало о существовании на самой верхушке нацистской партии сторонников совсем иной политики по вопросу о России, чем та, которую проводил он. И он настаивал на недопустимости каких бы то ни было отступлений от линии, которая была намечена им и утверждена Гитлером (архив Розенберга, том сношений с Гитлером за 1941 г.).

Единственное, что Розенберг всячески поощрял, это вербовка русских, как отдельных лиц, на всякого рода мелкие должности в аппарате управления оккупированными областями.

Такую вербовку его уполномоченные вели как среди старой эмиграции, так и в лагерях военнопленных. Видным сотрудником Розенберга в этой области был недавний немецкий коммунист Рудольф, проведший ряд лет в России, которую он покинул в 1935 году, вскоре после убийства Кирова. Он совершал поездки по лагерям для отбора лиц, которые ему казались могущими быть полезными. Несколько позднее ведомством Розенберга была создана специальная школа в Ястрау, недалеко от Берлина, для подготовки специалистов по управлению оккупированными областями. В этой школе читались систематические курсы лекций, как по теории и практике нацизма, так и о СССР, — его государственном и административном устройстве, о структуре правящей партии, о Красной армии и ее организации и т. д. Некоторые из этих курсов были размножены на ротаторе.

4.

Политику Розенберга первое время полностью разделяли и те два другие немецкие министерства, которые имели соприкосновение с работой среди русских, а именно министерства Геббельса и Гиммлера.

Первое своих экспертов по русским делам искало среди деятелей т. наз. «русского нац.-социал. движения», во главе которого стоял Меллер-Закомельский (литературный псевдоним Мельский); видную роль среди таких экспертов играл и Марков 2-й, бывший депутат Государственной Думы, который в эмиграции с самого начала был одним из закулисных специалистов по еврейскому вопросу при немецком нацизме, играл видную роль в «Мировой Службе» полковника Флейшгауера (род «антисемитского интернационала») и писал в «Штюрмере» у Штрайхера. Конечно, вся агитация министерства пропаганды, обращенная к России, была окрашена в самые острые антисемитские цвета.

Что касается до Гиммлера, то, если не считать специально полицейских задач, его интересы в русском вопросе шли по линии формирования особых частей в составе СС, которые были бы пригодны для операций на русской территории. Основной частью этого рода явилась особая дивизия СС — «Галиция», формирование которой было начато еще до войны на территории Польши. Состояла она главным образом из галичан.

Целиком из представителей старой эмиграции состоял

г. наз. «Русский Корпус» (он-же «Русский Охранный Корпус»), сформированный в Югославии и состоявший в ведении Гимmlера, — хотя и на каком то особом положении. Приказ Гитлера о формировании этого корпуса датирован 12 сентября 1941 года. Во главе корпуса в начале стоял ген. Штейфон, участник первой мировой войны на Кавказе, позднее довольно широко известный в эмиграции, как писатель по военным вопросам (он умер в самом конце войны).

Настроение русской эмиграции в Югославии в начале войны было самым воинственным. Корреспондент берлинского «Нового Слова» сообщал, что многие русские эмигранты распродавали свое имущество, накопленное за десятилетия изгнания, и готовились ехать на родину. Ждали известия о падении Москвы, — и заведующий «Домом Русской Культуры», в Белграде объявил, что в день вступления немцев в Москву в доме будет отслужен торжественный молебен...

Корпус предназначался первоначально для отправки в Россию. Некоторые части его действительно побывали там, — главным образом в Крыму и Новороссии. Но главной работой, которую выполнял «Корпус», была борьба с анти-немецкими движениями в самой Югославии.

5.

Совершенно по иному на политику в отношении России смотрело главное немецкое командование.

В ноябре 1941 года капитан Штрик-Штрикфельд (бывший офицер старой русской армии, из прибалтийских немцев, в эмиграции ставший немецким офицером), перед этим совершивший по поручению штаба главного командования объезд ряда лагерей для военнопленных, представил фельдмаршалу Браухичу большой доклад с политическими выводами. В докладе было обрисовано положение военнопленных и их настроения. Основным выводом было предложение немедленно же приступить к формированию особой русской армии из военнопленных. Браухич положил на докладе свою резолюцию, — вот ее приблизительный текст (передается по рассказам):

«Совершенно согласен. Россию можно победить только Россией же. Считаю формирование русской армии для борьбы против большевиков делом неотложно необходимым».

Фраза: «Россию можно победить только Россией же» в те годы вообще была очень характерна для настроений старого немецкого офицерства. Оно не принимало гитлеровской ориентации на раздробление России и на создание там «жизненного

пространства» для немецкой колонизации, что проповедывали Гитлер и Розенберг. Огромное большинство старого офицерства в общем разделяло старую бисмарковскую концепцию о необходимости тесного политического и экономического сотрудничества с Россией, — вводя, правда, в эту концепцию ряд различных поправок. Браухич к этому времени перешел на позицию необходимости свержения большевиков и создания в России правительства, которое вело бы политику последовательно проводимого сотрудничества с Германией; но продолжение наступательной войны против СССР он считал невозможным. Насколько удастся установить, в то время, о котором теперь идет речь, т. е. в октябре—декабре 1941 года, он настаивал на отводе немецких армий на линию Днепра и на переходе к позиции активной обороны с точки зрения военной, — при одновременном открытии политического наступления против большевистского правительства путем создания особого дружественного Германии русского национального правительства и особой русской армии.

Именно эта концепция Браухича и была причиной его острого конфликта с Гитлером, — конфликта, который привел в декабре 1941 года к удалению Гитлером Браухича с поста главнокомандующего и к разгрому всей группы генералов-сторонников Браухича. Но фельдмаршал Кейтель, к которому перешла соответствующая группа функций, лежавших раньше на Браухиче, в феврале 1942 года, ознакомившись с докладом кап. Штрик-Штрикфельда, по существу подтвердил резолюцию Браухича. Опыт с формированием русских воинских частей решено было проделать, — но для начала только в скромных размерах.

Базой для формирования были избраны торфяные разработки около станции Осиновка, Смоленской области (отсюда название всего этого предприятия: «Осинторфская попытка»). Во главе всего дела немцы поставили капитана Штрик-Штрикфельда, который своим помощником взял старого русского эмигранта, выступавшего в то время по псевдонимом «полк. Санин». Последний объехал ряд лагерей. Картина была кошмарно тяжелая: за зиму, по официальным немецким сведениям, умерло от 80 до 90 процентов всех пленных, т. е. не меньше 4 миллионов человек. В добровольцы готовы были итти все, кто еще был жив: для них это была единственная возможность спастись. Но немецкое командование ограничило количество добровольцев на первое время 8 тысячами человек, — и потому приходилось производить отбор, зная, что отклонение чьей

либо кандидатуры означает для этого человека почти верную смерть. Полковник Санин говорил автору этих строк: «За это то время я и отучился смеяться...»

Новые формирования получили официальное название: «Русская Национальная Народная Армия». Форма была установлена русского покроя (советского образца), — но с кокардой старых национальных цветов. Уже по этому можно видеть, какое большое значение придавало немецкое командование этому эксперименту: никогда ни раньше, ни позже оно не давало согласия на введение в русских формированиях эмблем, напоминающих старо-русский трехцветный флаг. «Армия» была поставлена в особые условия и в других отношениях: ее командование получило заверения, что она не будет употребляема для борьбы против партизан, — а только для больших операций на фронте. Все внутренние распорядки были переданы на усмотрение полк. Санина и его помощников, ближайшие из которых им были взяты из среды старых эмигрантов — боевых офицеров. Для связи с ними Штрик-Штрикфельд назначил доверенных офицеров, которые с симпатией относились к попытке создания национальной русской армии и поддерживали ее начинания. Пропаганда в частях велась в духе, который всего правильнее будет определить, как национально-народолюбческий — конечно, соединенный с определенным антибольшевизмом: представление о нем можно составить по приводимому ниже документу, — копии прощального приказа полк. Санина. В отряде не только думали, но и говорили, что после свержения большевиков задачей «Армии» явится борьба против немцев, психологическая подготовка к чему уже проводилась. Офицеры и солдаты из советских военнопленных оказались очень отзывчивы к подобной пропаганде, — и отношения с ними установились вообще самые хорошие.

Работа по формированию шла быстрыми темпами. В июле из штаба Кейтеля прибыл особый уполномоченный, немецкий генерал, для проведения смотра. Он остался очень доволен и перед отъездом говорил об увеличении численности армии до 30, а возможно и до 50 тысяч человек. Но почти немедленно за ним в Осиновку прибыл новый ревизор, присланный от ставки самого Гитлера, генерал и СС, некто фон Зиверт. Он не только провел официальный смотр, но и очень подробно говорил, как с офицерами, так и с солдатами-добровольцами... По всей его манере держать себя, было понятно, что он многим недоволен. Вскоре после его отъезда один из немецких помощников Штрикфельда в строго доверительном порядке ознакомил

полк. Санина с копией доклада фон Зиверта: доклад был полон комплиментов с точки зрения военной, но резко осуждал общую атмосферу, установившуюся в «Армии», как национально русскую, внутренне враждебную немцам. Зиверт предлагал немедленно же удалить офицеров из старых эмигрантов, заменив их офицерами из советских военнопленных. Он был в то же время больше чем скептически и в отношении всего эксперимента с национальными кокарами и пр. . . Гитлер этот доклад немедленно же утвердил, направив к исполнению.

Полк. Санин и его помощники были отчислены и отправлены в Германию, с запрещением когда-либо пользоваться ими на русском фронте. Командование переняли бывшие советские офицеры, к которым были приставлены немцы-контролеры из СС. В «Армии» было объявлено, что ее переоденут в немецкие мундиры. Это вызвало открытые протесты. Тогда район торфяных разработок, где была расквартирована «Армия», был окружен немецкими войсками. В первый раз дело закончилось каким то компромиссом, но в ту же ночь один из батальонов с оружием ушел к партизанам. После этого приехала настоящая карательная экспедиция и начались жестокие расправы . . .

Уезжая из Осиновки, полковник Санин опубликовал свой последний «прощальный приказ» по «Армии»; вот полный текст его:

26 августа 1942 г. Осиновка.

Мои верные и преданные боевые товарищи, офицеры и солдаты Русской Национальной Народной Армии!

Волею судеб мне приходится простаться в вами. С болью в сердце покидаю вас и наш родной очаг, где впервые зародилась идея национального возрождения и где мы впервые, забыв все и вся, как братья, как сыны одной матери, объединились вокруг идеи возрождения нашей Родины. Помните, куда бы меня судьба ни забросила, душа моя и мысли мои всегда будут с вами и будут сопровождать вас везде в вашей боевой жизни.

Пусть каждый из вас запомнит, что борьба за Родину есть святое дело и достижение наших целей есть высшее блаженство.

Будьте и в дальнейшем верными и преданными сынами нашей многострадальной Родины и оставайтесь на своем посту до конца.

Не забывайте того, что вы русские, — не забывайте того, что наша голодная Русь взывает о помощи.

Да благословит вас Господь на вашем тяжелом и тернистом пути и да поможет вам честно и до конца выполнить свой долг перед родиной.

Полковник **Санин.*)**

Таков был конец «Русской Национальной Народной Армии».

6.

«Осинторфская попытка» проводилась по планам и под наблюдением немецкого главного военного командования, — в этом ее особое значение. Но она была не единственной попыткой немецкого командования в направлении использования советских военнопленных для формирования войсковых частей. Едва ли была хотя бы одна немецкая армия, оперировавшая на территории СССР, командование которой не пыталось бы проявлять свою инициативу в этом направлении. Повидимому, никаких ограничительных распоряжений в этой области не существовало. Военнопленных не только широко использовали для всякого рода вспомогательных работ; они поставляли кадры добровольцев и для отрядов по борьбе с партизанами и для других операций по «очистке тыла». Особенно значительными такие отряды были в Белоруссии («Первый Восточный полк» в Минске, «Восточно-Бобруйский полк» в Бобруйске, батальоны «Березина», «Днепр», «Припять» и т. д.). Обычно они имели во главе немецких командиров, — и, повидимому, не представляют большого интереса для историка эпохи. Но некоторые из таковых формирований были окрашены в очень своеобразные тона. К числу таковых, прежде всего, относится так называемая «дивизия Каминского».

Дивизия эта была создана в районе Брянских лесов с согласия командующего этим участком фронта ген.-полк. Буша. Начало ее формированию было положено еще в октябре 1941 года. История этой дивизии вкратце такова:

Когда немцы заняли районы Орла и Брянска, они натолкнулись здесь на остатки партизанского отряда, действовавшего в лесах со времен еще коллективизации. Предание первым главою отряда называло некоего Воскобойникова, сельского учителя, которого называли социалистом-революционером.

*) Не лишне отметить, что полк. Санин по своей политической позиции в прошлом принадлежал к демократическим группировкам. В эмиграции (он жил в Германии) был беспартийным и работал шофером.

Сведения о нем самом были очень скудные, но он, несомненно, имел большую популярность в районе. Сам он погиб за несколько лет до войны в стычке с чекистами, но из членов и пособников на вербованного им отряда кое-кто продержался до прихода немцев. Эти остатки партизанского отряда, боровшегося против большевиков и с давних пор имевшего старые счеты с последними, и положили начало формированию добровольческой части, которая ставила задачей поиски чекистов, оставленных большевиками при отступлении.

К ним вскоре примкнул и быстро среди них выдвинулся некто Бронислав Брониславович Каминский, который тоже имел большие личные счеты с большевиками. Поляк по происхождению, он остался после революции в России и работал в качестве инженера-химика на одном из спирто-водочных заводов под Москвою. Арестованный в конце 1920 годов; в период гонений на беспартийных специалистов, он отбыл пять лет лагеря — на строительстве Балтийско-Беломорского канала, а затем канала Волга—Москва. Последующие годы мыкался на положении лишенца, ограниченного в правах жительства. Среди брянских добровольцев он быстро занял руководящее положение, проявив себя талантливым организатором. Вскоре он стал признанным главой формирования, а позднее, когда оно было развернуто в особую дивизию, он стал ее командиром. Никогда в прошлом не служивший в армии, он показал себя умелым руководителем и чисто военных операций против большевиков-партизан, осевших в брянских лесах. Он был и несомненно способным агитатором, умевшим владеть массовой аудиторией.

Отряд, который стал его детищем, формировался несколько отлично от обычного типа тогдашних формирований. Добровольцев из военнопленных в его составе было относительно немного. Большими группами в его состав входили, с одной стороны, рабочая и крестьянская молодежь из под Брянска, пошедшая в добровольцы под влиянием ненависти к большевикам, и, с другой, молодежь из уголовных. Эта последняя группа в СССР теперь вообще составляет значительный слой населения; Каминский, повидимому, имел в ней большие связи, — очевидно, со времен своего скитания по лагерям, — и теперь усиленно вербовал уголовных в состав своей части.

Политическую работу Каминский ставил, как умелый демагог. Один из офицеров дивизии, принимавший в ней участие едва ли не с самого начала формирования, программу, которую любил выставлять Каминский, формулировал в трех пунктах:

земля крестьянам, заводы рабочим, свободы всему народу. Эти пункты, конечно, не были новостью, — но ударную силу в 1941-1942 годах они имели огромную: это показывали собрания, как крестьянские, так и рабочие. Столь радикальная программа совсем не препятствовала Каминскому тянуться (или делать вид, что тянется) к национал-социализму. Под его покровительством в начале 1942 года в формировании была создана особая «Национал-Социалистическая Рабочая Партия России», с довольно путанной программой. В эту партию в 1942-1943 годах (до ухода из района Брянска) входила почти половина всех бойцов дивизии.

Наклеив на себя ярлык русского наци, поляк Каминский на деле не стал ни русским, ни наци. Один из офицеров дивизии, который хорошо знал Каминского, характеризовал его вообще как «бандита высокой квалификации». К немцам он относился не без презрения, — главным образом за их неумение вести борьбу с большевистскими партизанами. Он издевался над немцами, которые «в лесу умеют ходить только по шоссейным дорогам».

Немцы его не только терпели, но и всячески выдвигали: во время споров, которые начались после появления ген. Власова, пример «дивизии Каминского» был наиболее излюбленным аргументом у всех противников «рискованного эксперимента» с разрешением формирования особой русской армии на демократической платформе. Ссылками на пример этой дивизии, сторонники Розенберга доказывали, что нет никакой необходимости идти на уступки требованиям Власова, т. к. при желании можно найти подходящих людей типа Каминского.

При отступлении немцев из Брянского района внутри самой дивизии начались большие трения. Среди добровольцев из местных крестьян и рабочих шла агитация против отступления вместе с немцами, и за переход к партизанской борьбе в тылу большевиков. На практике этот план приняла только небольшая группа во главе с одним из руководителей «Нац.-Соц. Рабочей Партии России». Эта группа партизан держалась в лесах во всяком случае до осени 1946 года. Конец «дивизии» известен: в августе 1944 года немцы бросили ее на подавление восстания в Варшаве, а затем уничтожили как самого Каминского, так и ряд его помощников, обвинив их в мародерстве и бандитизме.

7.

К осени 1942 года общее число советских граждан и эмигрантов, в той или иной форме приписанных к немецкой армии

и ее подсобным организациям, составляло уже сотни тысяч. В огромном большинстве это были военнопленные. Движение приобретало такие размеры, что оно уже не могло оставаться внутренним делом различных ведомств, имевших отношение к оккупированным районам СССР. Германское правительство вплотную уперлось в необходимость выработать ту или иную, но единую, общую для всех ведомств, политику по этому вопросу. Этот момент совпадает с появлением на сцене генерала А. А. Власова. Последний сыграл настолько значительную роль в общем развитии пораженческого движения и о нем в литературе имеется так много противоречивых сообщений, что совсем не лишним будет дать сводку точных биографических о нем данных.

Андрей Андреевич Власов родился в 1900 году и был 13-м сыном зажиточного крестьянина Нижегородской губернии, который на военной службе обучился портняжному ремеслу и подрабатывал мелкими починками. События начала века каким то краем затронули и нижегородскую глушь. Отец читал газеты, — и решил вывести сына в образованные люди. «Зажиточность» была весьма относительная, — ее хватало только на духовное училище, где обучение было бесплатным. Оттуда Власов пошел в духовную семинарию, т. е. тем же самым путем, которым шел Сталин, — с той разницей, что Власов не получил епархиальной стипендии и должен был жить на частной квартире: у земляка, который занимался в Нижнем извозом. Молодой Власов ютился в углу, — налегая больше на историю и философию, чем на гомилетику и литургику. Религиозным он не стал, хотя и хорошо помнил церковную службу: старые духовные семинарии плохо воспитывали служителей церкви. Будущий патриарх Сергий был прав, когда в своей беседе со Сталиным, в сентябре 1943 года, горько пошутил: «Мы имели плохой опыт с нашими семинариями...»

В 1917 году Власов окончил семинарию и пошел в университет, который только в том году открыли в Нижнем. Но уже в 1918 году он был взят на военную службу, в Красную армию. В последней в то время легко делали быструю карьеру, — и в конце 1919 года мы встречаем Власова молодым «краскомом» на Дону и на Маныче. После окончания гражданской войны, когда армии были сокращены до одной десятой, Власов не покинул военное дело. Много учился. В 1930 году стал членом ВКП. С отличием окончил Военную Академию имени Фрунзе в Москве, ряд лет работал в штабах: сначала ленинградского, затем киевского округов, заметно выделяясь и способностями,

и умением методически работать. Политической активностью он не отличался, на собраниях ячейки почти не выступал, — именно поэтому он уцелел во время чисток 1937 года, которые в Киевском военном округе (округ Якира) были, быть может, наиболее массовыми.

Помогло и то, что в конце 1937 года он был назначен на пост помощника военного советника в Китай, к Чан-Кай-ши. В Нанкине — Чанчуне он провел два года, — сначала на посту начальника штаба при военном советнике комдиве Черепанове, потом, после его отзыва (он попал под чистку и, кажется, погиб), в качестве военного советника. За это время он стал фактическим командующим китайскими силами в борьбе против Японии и очень сблизился с Чан-Кай-ши, который позднее, когда Власов покинул Китай, дал ему золотой орден Дракона, — кажется, высший орден молодой Китайской республики. Об этих китайских годах своей жизни Власов позднее очень любил вспоминать. Он много и с большим уважением рассказывал о Чан-Кай-ши (но особенно высоко он ставил жену последнего, с которой ему приходилось иметь много дел), — иногда приводил разные детали о сложной двойной игре, которую вел в Китае Сталин. Оттуда же Власов вывез и вражду к англичанам, о которых он говорил почти сталинскими выражениями, как о людях, — которые любят загребать жар чужими руками, которые не преследуют никаких положительных целей, а заботятся о мелких выгодах в результате ссор между третьими... Эти анти-английские настроения, как рассказывали люди, хорошо его знавшие за последние годы, из него приходилось вытравлять с большим трудом.

В СССР Власов вернулся в самом конце 1939 года и был назначен снова в киевский особый военный округ, — начальником 99 стрелковой дивизии. Для Армии то было самое скверное время: командный состав был только недавно жестоко разгромлен; всюду командовали политкомиссары из ставленников Мехлиса, которые считали своим правом вмешиваться в каждую мелочь и писали доносы на каждого мало-мальски независимого командира. Арестов с 1939 года почти не было, — но память о недавней чистке была слишком свежа и все боялись проявить какую бы то ни было инициативу, — не зная, как на нее посмотрят в Москве. Самая верхушка командования в округе была много выше среднего уровня: на такой ответственный пост, как Киев, после уничтожения Якира, Сталин считал нужным послать Тимошенко, одного из наиболее независимых военачальников, вышедших из Буденовской

«Первой Конной», а тот начальником штаба взял Жукова, которого знал и по «Первой Конной», и затем по Туркестану. Но и они не могли освежить атмосферу, — и нужен был горький опыт поражений в Финляндии, чтобы в армии повяло новыми настроениями...

Дивизия, которую получил Власов, считалась одной из наиболее отсталых во всем округе. Именно на ней Власов впервые показал свои таланты большого военного организатора. Было известно, что после уборки полей состоятся большие маневры, и Власову указали, что результаты маневров будут иметь решающее значение для всей карьеры. Они действительно имели: на этих маневрах отсталая 99-я стрелковая дивизия была объявлена образцовой и получила переходящее Красное Знамя лучшей дивизии в СССР; в добавление, артиллерия дивизии тоже получила специальное переходящее Красное Знамя артиллерии; Власов лично был награжден именными золотыми часами. Насколько большое значение придавалось этим результатам маневров, видно по «Красной Звезде», официальному органу Наркома Оборона: в сентябре-ноябре 1940 года о Власове и его дивизии там упоминается едва ли не в десятке номеров. Тимошенко, к этому времени ставший Наркомом Оборона, в специальном приказе объявлял, что Власов и его дивизия показали способность «решать тактические проблемы в наиболее трудных обстоятельствах» (27 сентября). Передовая в номере от 29 сентября говорит, что Власов сумел извлечь уроки из опыта и финской войны, и боев на Запале. Мерешков, в то время начальник главного штаба, сделал смотр 99 дивизии и специально благодарил ее состав. 21 ноября, подводя еще раз итоги осенним маневрам, «Красная Звезда» требует, чтобы все дивизии СССР брали пример с дивизии Власова. Последний написал особую статью: «Новое в подготовке войск», которая сначала появилась в «Красной Звезде» от 3 октября, а затем вошла в специальный сборник, который был издан под тем же заголовком Политуправлением Киевского Особого Военного Округа и с разных точек зрения подводил итоги опыту дивизии.

В этом сборнике напечатан и специальный очерк о Власове лично: «Командир передовой дивизии», в котором дана восторженная его характеристика и как командира, и как человека. Нужно знать, как систематически коммунистическая партия запрещает рекламирование военных командиров, чтобы понять, насколько значительными должны были быть заслуги Власова. Большую роль, конечно, играла и общая обстановка, которая

требовала принятия решительных и быстрых мер против развала в армии... В особую заслугу Власову ставятся в сборнике и в приказах две вещи: обучение солдат в полевой обстановке, похожей на ту, в которой придется вести войну, с одной стороны, и умение хорошо и точно проводить согласование деятельности всех четырех родов оружия, которые имеются в распоряжении начальника дивизии, т. е. пехоты, артиллерии, танков и авиации.

К этому времени относится и первое (во всяком случае первое, о котором мы знаем) выступление Власова на военно-политические темы. Это выступление тоже очень характерно для понимания его фигуры.

Весна и лето 1940 года были временем напряженных споров среди высшего командного состава Красной Армии. Банкротство той ее головки, которая довела армию до позора финской войны, было бесспорно для всех, — а эта головка персонифицировалась в Ворошилове, за которым стоял сам Сталин. Когда критика стала чрезмерно острой, Сталин принес Ворошилова в жертву, сместив его с поста Наркома Обороны (он был назначен заместителем Молотова, тогдашнего председателя СНК). На этот пост был назначен Тимошенко, перед тем комвойск Киевского Округа, в январе 1940 года вытребованный срочно в Финляндию, чтобы спасти положение. Еще более напряженная борьба за кулисами шла вокруг вопроса о политкомиссарах в армии и лично вокруг Мехлиса, которого военные командиры ненавидели за его роль в период «ежовщины»: фактически Мехлис руководил всеми расправами в армии, — конечно, с согласия Сталина, к которому он был очень близок. Вскоре затем Сталин счел за благо пожертвовать и Мехлисом, — и в августе 1940 года политкомиссары были упразднены. Дело политической работы в армии решено было подчинить военному командованию: для полноты проведения принципа единоначалия... Шла выработка норм этой новой системы политработы, — и именно в ней Власов принял участие. Судя по отчетам «Красной Звезды» (от 4 и от 9 декабря 1940 года), он выступает на разных конференциях партийных военных ячеек в армии Киевского округа, проводя при этом мысль, что политическая пропаганда в армии должна быть не вещью самодовлеющей, а подчиненной основной задаче повышения боеспособности армии... С точки зрения официальной коммунистической идеологии этого рода мысли были, конечно, отчаянной ересью. Если основная задача политработы в повышении боеспособности, то отсюда в определенный мо-

мент становится неизбежным вывод об отказе от коммунистической пропаганды. Власов был пионером той военной партии, которая позднее, в годы войны, заставила коммунистов перевести всю пропаганду на национально-патриотические рельсы... Конечно, делать это он мог только с согласия и при поощрении своего непосредственного начальства: таковым был Г. К. Жуков, тогда командующий войсками Киевского Особого Военного Округа, а позднее известный организатор побед над армиями Гитлера, ныне канувший в безвестность...

В январе 1941 года Власов получил чин генерал-майора и был назначен командиром 4-го мотомеханизированного корпуса, штаб которого помещался во Львове. На этом посту он встретил войну. Его корпус был первым, на который обрушились удары немцев на всем юго-западном участке фронтов, — и он был единственным, который в какой то мере выдержал испытание этих первых дней. В советской печати о тогдашних заслугах Власова, конечно, теперь никто рассказывать не будет, — но обстановку тех боев в Галиции недавно обрисовал Пэнэжко в «Записках офицера». Действительность в них подана и сильно причесанной, и обильно припомаженной, — тем не менее, прочтя их можно понять, что значит сообщение о том, что корпус Власова был единственным, который ушел из Галиции в относительном порядке. Командование тогда это оценило и Власов был назначен командующим 37-й армией и начальником гарнизона Киева.

Два месяца он руководил обороной последнего. Специалисты высоко расценивали его операции, — но вышло плохо: Киев держался, когда все кругом трещало. Тем более крупным вышло немецкое окружение. Указания Власова на необходимость отступления, вызываемого обстановкой, главное командование долго отстраняло. Только в самый последний момент пришла телеграмма Сталина с разрешением отходить. Огромная часть фронта попала в мешок. Комвойск округа ген.-полк. Кирпонос, принявший этот пост в январе 1941 года от Жукова, пустил себе пулю в лоб, чтобы не попасть в плен. Армия Власова была одной из немногих единиц, которая была выведена, хотя и с большими потерями, но не потерявшей боеспособности...

Сам Власов был ранен, — но отдыхать не пришлось: он был назначен сначала помощником командующего тылом юго-западного направления, а затем срочно вытребован в Москву. Это было около 20 октября. За ним прибыл особый авион из ставки самого Сталина. Там в этот момент обосновался Жуков,

получивший чрезвычайные права с одной задачей: не допустить падения столицы, — и он теперь в спешном порядке собирал людей, которым было бы можно поручить командование армиями. В этой обстановке он вспомнил о маневрах 1940 года и вытребовал Власова. Последнему было поручено командование 20 армией, — той, которая потом, в декабре-январе, прошла от Москвы до Ржева . . . Власов за эти операции получил чин генерал-лейтенанта и орден боевого Красного Знамени. А в то время орденов было меньше и давали их не так щедро, как потом . . .

Не успели еще закончиться операции у Ржева, как Власов получил новое назначение: заместителем Мерецкова, который был командующим Волховским фронтом. На этот фронт Сталиным была возложена операция, которой он придавал перво-степенное значение: освобождение Ленинграда. Была собрана специальная армия, — 2 ударная, — во главе которой был поставлен ген. Клычков. Она должна была напрямик, через леса и болота, итти к Ленинграду. Власов несколько раз делал представления о неосуществимости этой операции. Позднее он говорил, что, наверное, тон именно этих его представлений и навлек на него первую немилость ставки Сталина.

Как предвидел Власов, армия Клычкова была окружена в лесах за Волховом и отрезана от своих. В советских армиях того времени была своего рода традиция: командующий со штабом, когда положение становилось безнадежным, покидали свою армию на авионах. Власов поступил по иному: когда выяснилась вся опасность положения армии, которую он отправил в наступление, он, бывший вне окружения, взял авион и полетел к окруженным, перенял командование от Клычкова и пытался спасти армию. Долго шла борьба, — по существу безнадежная: Москва не давала подкреплений.

После того, как снаряжение стало приходить к концу, Власов дал приказ разбиться на отряды и лесами итти на соединение со своими. С одним из таких отрядов был и Власов, который несколько дней скитался в лесах, питаясь прошлогодней брусникой. Немцам это стало известно, и на поиски Власова были отправлены отряды советских добровольцев. Один из таких отрядов, под командой бывшего капитана Красной Армии Тулинова получил сведения, что в соседнюю лесную деревушку из леса вышел какой-то красный офицер в роговых очках в сопровождении женщины. Он был задержан, — это был Власов. Женщина, которая его сопровождала, была сестра милосердия, откомандированная из Воронежского гос-

питая, чтобы делать перевязки раны, полученной Власовым при отступлении из Киева. Она оставалась при Власове и в Германии, — и вместе с ним была взята потом большевиками . . . А что касается до Тулинова, то он позднее стал одним из верных адъютантов Власова, — по «Русской Освободительной Армии». Власов умел привязывать к себе людей.

8.

О том, как жил и что делал Власов в течение первых месяцев своего пребывания в немецком плену, мы знаем очень мало. По его позднейшим рассказам, в штабе армии-победительницы его приняли очень хорошо. Командующий армией ген. Линдемман упрекнул, зачем Власов продолжал сопротивление, когда уже была ясна безнадежность борьбы? Власов ответил вопросом же: а что сделали бы вы на моем месте? Ген. Клейн, который был в немецкой армии, отступавшей под напором Власова от Москвы до Ржева, по старой военной традиции, благодарил пленного противника за полезные уроки . . . К этому времени немецкое командование уже понимало, как вредна для них же политика массового истребления пленных, — и во всяком случае в отношении командного состава противников старалось выдерживать тон старого вежливого обращения.

В лагерь Власов все же попал и имел возможность своими глазами посмотреть на работу этих учреждений для массового истребления людей. Сам он содержался в относительно сносных условиях, имел возможность сноситься с другими лагерями, беседовать с другими пленными. Одним из первых, — если не первым вообще, — с кем он завязал связь, был ген.-майор В. Ф. Малышкин. Этот последний в 1943 году, — когда он жил под угрозой ареста его немцами за его выступление в Париже, на митинге в зале Ваграм, — рассказывал, что при первой встрече с Власовым, с которым он был знаком много лет, они всю ночь провели в разговорах о том, что делать, и сошлись на выводе о необходимости попытаться создать с немецкой помощью Русскую Освободительную Армию, «Хотя, — прибавил он, — мы и знали, что нам лично это будет стоить голов».

Путь к этой «Освободительной Армии» вел их через учреждение, которое было известно под названием «военно-психологической лаборатории». Это была очень интересная организация, работу которой историкам войны придется внимательно изучать. Она работала в качестве особой организации в составе отделения пропаганды на Востоке, существовавшего вначале при военном министерстве, а затем перешедшего в

ведение главного командования вооруженных сил Германии. Помещалась эта «лаборатория» в старом здании военного министерства, на Виктория штрассе, около Маргареттен штрассе. В задачи этой «лаборатории» входило изучение различных методов психологического воздействия на армии противника, разложения морали этих армий и т. д. По существу, это был центр немецкой армии для организации «пятиколонной» деятельности на Востоке.

Во главе этой «лаборатории» в начале войны стоял некто Гроте, немец из Прибалтики, во время первой войны состоявший офицером Дикой Дивизии и принимавший участие в гражданской войне на стороне «белых». В эмиграции, в качестве «природного немца» («фольксдейче»), он стал немецким гражданином. Несколько позднее, в конце 1942 года, руководство «лабораторией» перешло к Штрик-Штрикфельду, краткие биографические сведения о котором приведены выше: это им была представлена в ноябре 1941 года докладная записка главнокомандующему Браухичу о необходимости создания особой армии из русских пленных, — записка, на которой Браухич положил свою резолюцию о том, что «Россию можно победить Россией же». Мысль о том, что Россия в силу геополитических условий не может быть разбита внешним врагом, была основной политической идеей для руководителей «лаборатории». Отсюда они делали вывод, что Германия должна отказаться от национал-социалистических планов войны на раздробление России, а поставить своей основной задачей поиски в России внутренней силы, которая сможет свергнуть большевиков и, возглавив новое русское правительство, повести дружественную Германии политику. По этим соображениям руководители «лаборатории» поддерживали планы Власова, — и именно против них рвал и метал Гиммлер, когда возмущался «выходцами из балтийских провинций» и «мелкими политическими бродягами», которые, «прикрываясь мундирами нашего честного райхсвера», распространяют повсюду нечестные мысли о невозможности победить Россию иначе, как с помощью русских же (речь Гиммлера, произнесенная 4 октября 1943 года на закрытом собрании группенфюреров СС в Бреславле, — имеется в материалах нюрнбергского процесса).

Несмотря на столь острые нападки со стороны тогда почти всемогущего Гиммлера, «лаборатория» пользовалась поддержкой военного командования и развертывала широкую работу. На Виктория штрассе со всех концов восточного фронта свозили тех из пленных, которые выделялись своим масштабом и каза-

лись могущими быть полезными для работ «лаборатории». На Виктория штрассе для них были созданы сносные условия жизни, к их услугам имелась большая библиотека, они получали возможность слушать все радио мира, ходить в театры и музеи. Формально они считались находящимися под арестом, но фактически были на положении лишь поднадзорных, прикрепленных к определенным квартирам и связанных определенными правилами внутреннего распорядка. Конечно, одновременно шла проверка степени их благонадежности и пригодности для работ, которые входят в задачи «психологической войны» . . .

В эту лабораторию Власов и Малышкин попали вместе в августе или сентябре 1942 года. Здесь они нашли десятка 3-4 других пленных, с целым рядом из которых они позднее работали. Наиболее выделяющимся среди них был один, известный под именем Милетия Александровича Зыкова. С ним Власов и Малышкин быстро сблизились, и именно эту тройку, повидимому, следует считать основной ячейкой всего будущего «власовского» движения. В виду этой их роли не лишне дать о них краткие биографические сведения.

Василий Федорович Малышкин по происхождению был сыном бухгалтера из Новочеркасска. Конец первой мировой войны застал его юным прапорщиком. По доброй воле он пошел в Красную Армию, воевал на Дону против казаков и против добровольцев, вошел в коммунистическую партию. Выдвинулся в качестве способного офицера, а потому при демобилизации был оставлен в армии, окончил какие полагалось военные академии, — и был оставлен профессором Академии Генерального Штаба. «Ежовщина» застала его начальником штаба сибирского военного округа, командующим которым был Великанов. Этот последний был арестован по делу Тухачевского, не выдержал пыток и подписал «признания», в которых соучастником назвал и Малышкина: своего начальника штаба он не мог не назвать первым. Малышкин был тоже арестован, привезен в Москву и пошел по «конвейеру НКВД». Пытали его жестоко, — но добиться «сознания» не смогли: богатырь по натуре, Малышкин оказался на редкость стойким человеком. Много раз уносили его в камеру в бессознательном состоянии, но никаких показаний он не подписал. После 14 месяцев тюрьмы его освободили. С него была взята подписка, что он никому не будет рассказывать о пережитом, — и ему дали «путевку в санаторию», в Крым. Потом вернули в Академию . . . Когда началась война, его взяли начальником штаба 19 армии, — вместе с которой он и попал в окружение под Вязьмой. 12 дней

бродил по лесам, в снегу (дело было в октябре-ноябре 1941 г.), — в плен был захвачен совсем истощенным... Веселый, крепкий человек, разговорчивый по натуре, он совершенно не переносил, когда к нему приставали с расспросами о пережитом в тюрьме. Видно было: его оскорбляли воспоминания о тех унижениях, которые пришлось пережить на допросах.

Много более сложной фигурой был Зыков, — вернее, человек, который носил это имя, так как оно, несомненно, не было настоящим.

К немцам он попал, будучи взят в плен под Батайском, когда летом 1942 года там в большое окружение попало несколько сотен тысяч человек. Он сразу же обратил на себя внимание, дал согласие работать с немцами и на авионе был доставлен в Берлин. Человек, который с ним встретился в офицерском лагере под Берлином (это был полковник Красной Армии), рассказывал автору этих строк, что Зыков в тот вечер долго не мог заснуть, явно взволнованный событиями, и все время говорил ему, случайному встречному, о необходимости немедленно же приступить к постановке на широкую ногу пропаганды через фронт. На утро Зыкова из лагеря забрали: перевезли его в «лабораторию».

Здесь Зыков в первые же дни показал свой «стаж»: за несколько дней, почти без пособий, на память, написал целую брошюру о советской экономике, которая вскоре была напечатана, — за подписью, кажется, Москвина. Свои способности и работоспособность Зыков много раз показывал и позднее, когда стал редактором газеты «Заря», издание которой было начато «лабораторией» с весны 1943 года: первые номера этой газеты он писал едва ли не целиком.

Он числился официально капитаном, занимавшим в Красной Армии пост политрука батальона, — но нет никакого сомнения, что это не было правдой. Он был птицей много более крупного полета, — и о нем шли разговоры, что он был не то комиссаром корпуса, не то членом совета фронта. Сам о себе он рассказывал мало, — и не всегда одно и то же. Чаще всего говорил, что был помощником Бухарина по редакции «Известий» в 1934-1936 годах и что за эту свою связь с Бухариным потом побывал на Колыме.

Таинственность, которая окружала Зыкова, привлекала к нему особенное внимание. В «лаборатории» и позднее, в Доббендорфской школе, о Зыкове много говорили. Властный по натуре, настойчиво проводивший свою линию, он создавал себе много врагов. Помимо всего прочего, он был решитель-

ным противником привлечения к политической работе старых эмигрантов, — и не скрывал своего отношения к последним.

Обвинения против Зыкова шли по двум линиям: говорили, что он — большевик, подсланный Москвой, и затем, что он — еврей, скрывающий свое происхождение. Последнее обвинение тогда было самым страшным, так как для еврея не было пощады. «Лаборатория», как и все другие учреждения военного ведомства, в ряде областей пользовалась известной независимостью, — но в вопросе о происхождении власть Гестапо была безраздельной. Евреев среди пленных оно уничтожало беспощадно. От обвинения в большевизме человека было можно защищать, приводить доводы, спорить, — когда заходил вопрос об еврействе, никаких споров не могло быть: вопрос был только о факте. Зыков, конечно, не мог этого не знать, — и каждый раз, когда до него доходили слухи о новой вспышке подобных разговоров, он явно нервничал, а в «Заре» начинали заметно звучать антисемитские ноты. Это его долго спасало, — но не спасло: в июне 1944 года он исчез при загадочных обстоятельствах. Офицеру, который по поручению Власова производил расследование обстоятельств исчезновения, было заявлено, что еврейское происхождение Зыкова установлено и что поэтому ген. Власову остается примириться и молчать, иначе на него самого падет подозрение в укрывательстве... Надо добавить, что целый ряд людей, хорошо знавших Зыкова, категорически настаивают, что он евреем не был и что обвинение это было выдуманно для облегчения расправы с ним. Что верно, нам неизвестно.

Но эта гибель Зыкова относится к более позднему периоду, — а осенью 1942 года Зыков, примкнувший к Власову и Малышкину, стал главной литературной силой первой ячейки, из которой выросло «власовское» движение. Именно им была дана первая формулировка программы этого движения.

(Окончание следует)

Б. Николаевский.

ВНЕ ЗАКОНА*)

Помню первую встречу с русскими людьми в Париже. В солнечный майский день приехали мы в Военную Миссию. На окраинной улочке, близ Булонского леса, царило необычайное оживление. Только наш «паккард» остановился и мы отворили дверцы, как нас обступила толпа. Тут были всё молодые люди, хорошо, не по-русски одетые, многие с тонко, опять-таки не по-русски пробритыми усиками, и девушки в легких и пестрых весенних платьицах, с хитро взбитыми хохолками.

— А почему у вас погоны зеленые, суконные? — спросила, мило улыбаясь, девушка. — Таких я еще не видела. У офицеров здесь, в миссии, мы видели совсем другие. Золотые. ..

Девушка, показалось мне, была разочарована.

— А потому, что у меня — фронтовые, — улыбнулся я, в свою очередь, девушке. Не стоило большого труда догадаться, что перело мною русская эмигрантская молодежь.

— Ай! — обрадовалась она. — Так вы приехали прямо с фронта? Расскажите . . .

— Таня, подожди, ты вечно с пустяками, — остановил ее стоявший рядом юноша. — Скажите, вот мне исполнилось 19 лет, я должен уже отбывать воинскую повинность, — могу я, как русский, поступить в Красную армию? А то меня во французскую заберут, я вовсе не хочу быть французом, я хочу, чтобы мы все поехали в Россию.

— Правда, правда, мы все хотим! — вставила Таня, держа юношу под руку. Она была совершенно счастлива, — всей душой уже там, в России.

— Право, мне трудно ответить на такой вопрос, — пожал я плечами. — Попробуйте, обратитесь в Военную Миссию.

— Мы затем и приехали, — сказал юноша. — Мы не в Париже живем, — в Медоне. Приехали, а никак не добьемся приема. В воротах видите что делается. В приемной — не протолкаться. Подходили к дежурному офицеру два раза. Го-

*) Заключительная глава из книги «Почему я не возвращаюсь в СССР». См. кн. 15-ую, 16-ую и 17-ую «Нового Журнала».

ворит, что начальник штаба занят и неизвестно, когда освободится.

... У дежурного офицера, молоденького лейтенанта, голова шла кругом. Его осаждали со всех сторон. С одной стороны, русская эмигрантская молодежь, которая рвется поехать в Россию, с другой — советские люди, которые никак не хотят возвращаться в Россию. В приемной стоял плач и крики. Плакали ребяташки, плакали молодые женщины, которые держали ребяташек на руках.

— Вы что, вторым беременны? — спрашивал дежурный офицер заплаканную женщину.

— Ну да... — отвечала она, качая на руках ребенка. — Девочка у нас родилась в Германии, ей, видите, уже два года семь месяцев. А теперь — вторым...

— А это, что же, муж ваш? — кивнул офицер на невысокого черноволосого человека, который смущенно, видимо, не вполне понимая, смотрел на сцены, разыгрывавшиеся в приемной.

— Муж, конечно. Правда, мы еще не расписаны, а уж муж и жена — без малого четыре года. Такую жизнь вместе прожили, чего только не перетерпели. Теперь расписываться, в мэриис итти, — бумаги требуются. Дадут мне здесь бумаги?

— Пожалуй, что не дадут, — покачал головой дежурный. — Домой ехать надо, в Советский Союз!

— Кто у меня там, дома-то? Ни отца, ни матери... Кто меня ждет там?

— Как это «кто»? Страна ждет, родина! Из какой вы местности?

— Из Орши.

— Ну, так — в Оршу! Нечего вам здесь делать...

— Детишки-то как же? — заплакала женщина. — Как же с детишками быть? Кто меня там возьмет, такую?

Но дежурный офицер уже не слушал, — занялся другими посетителями. Кажется, он считал, что и без того с этой женщиной потратил слишком много времени на выяснение вопроса, для него совершенно ясного. Но ничего не было ясно ни этой женщине, ни другим, которые так же с детишками и мужьями-французами пришли в миссию по репатриации советских граждан выправлять бумаги.

Положение женщин было отчаянное. В их несчастных судьбах с удручающей наглядностью проявилась жестокость советской системы: пренебрежение интересами и правами отдельной личности, поглощение, я бы сказал, проглатывание

человека хищническим тоталитарным строем. Вовсе не значит, что я одобрял эти русско-французские браки: подобные смеси не обладают прочностью. Но что поделаешь, если так случилось? Оставалось пожалеть от души бедных женщин и по-человечески помочь им, как можно лучше устроиться здесь, на чужбине. Но жалость и сострадание — чужды советскому мировоззрению, чужды принципам, на которых основан советский строй. Иные мужья-французы считали простым делом — сходить в миссию и получить бумаги. Но в миссии говорили: «в Оршу! нечего тебе здесь делать!...», брали женщину, — оставляя ребенка у нее на руках, иногда на руках француза, — сажали в кузов грузовика и везли в лагерь у Борегара, окруженный проволокой, обставленный часовыми.

Кое-кому удавалось из Борегара бежать. Не думали о бумагах, — только бы спрятаться. Хорошо, если женщина была еще в любви с супругом и в ладу с его семьей: ее укрывали, содержали, отрывая от себя кусок хлеба, без продовольственных карточек, — в надежде, что пройдет время и все образуется. Военная миссия, однако, располагала в Париже, чуть ли даже не по всей Франции, многочисленной и сильно разветвленной агентурой. Осведомителей как для посольства, так и для миссии, поставлял «Союз советских патриотов», причем нередко таких, которые, было время, оказывали подобные же услуги немецким оккупационным властям. «Советские патриоты» подкарауливали советских людей на парижских вокзалах, ходили в эмигрантские и французские семьи — высматривали, выслеживали, выдавали! К дому подъезжал автомобиль, бесцеремонно входили скуластые крепкие парни, переворачивали квартиру вверх дном, находили «преступницу» и увозили... Французская полиция не вмешивалась в действия иностранной миссии: в Париже говорили, что вслед за немецкой пришла советская оккупация. Полиция не имела права вмешиваться: в июне 1945 года было подписано правительственное соглашение о том, что все без исключения советские граждане, находящиеся во Франции, подлежат обязательной репатриации; для того, чтобы сделать соглашение действенным, советы под различными предлогами задерживали отправку французских репатриантов из России, применяя, таким образом, и тут свою систему заложников. Некоторые предприимчивые мужья-французы стали обращаться за помощью в английское и американское посольства. В военную миссию однажды, — я видел, — пришла русско-французская чета, заручившись личным письмом посла Дафф Купера. Конечно, супруги тотчас были

приняты начальником штаба. Бедная женщина плакала теперь уже счастливыми слезами: ей дали разрешительную бумагу — дескать, советское правительство не возражает, чтобы она осталась во Франции «по семейным обстоятельствам». Под давлением таких случаев осенью 1945 года к июньскому соглашению была прибавлена оговорка: обязательно репатрируются все, за исключением женщин, вышедших замуж и принявших французское подданство.

«Кто же эти „все, за исключением...»? Их — тысячи, сотни тысяч. Конечно, большинство, в особенности, пожилые, вывезенные немцами на работы, стремились как можно скорее попасть на родину: пусть там колхозы, пусть пятилетки, — все равно! Жили с колхозами пятнадцать лет — не умерли, а кто и умер, что поделывать: на войне еще больше умерло... К войне, колхозам, пятилеткам относились как к стихийному бедствию: надо перетерпеть!... Мне самому такое чувство близко, и все мои симпатии — на стороне тех, кто торопился к родному дому.

Торопились не все. Не торопились прежде всего такие люди, как Паршин — бывший коммунист, бывший эсэсовец. ●дного «Паршина» я встретил в Париже. Как советскому человеку, тем более служащему в посольстве, он охотно, прихвастывая, рассказывал мне, как служил до войны в «органах», — в органах НКВД. В НКВД служат только члены партии, — следовательно, он был коммунистом. В плену он был три года, а теперь, живя в Париже, ворочал делами на черной бирже. Французскую казну этот бывший коммунист надул, по крайней мере, на два миллиона. Правительство Франции летом 1945 г. приняло на себя обязательство: оплачивать «аусвайсы» — рабочие карты военнопленных. По каждому «аусвайсу» парижский банк выдавал 10.000 франков. «Паршин» открыл в казарме Рейи промышленное дело: печатню фальшивых «аусвайсов». У него имелся штат: фотограф, машинистка, парни из военнопленных, которые ходили с «аусвайсами» в банк, были подкуплены даже банковские сотрудницы. Психология у этого коммуниста-гепеушника была чисто советская: «чего теряться...». Не терялся он, думаю, и три года в плену: наверняка ходил в эсэсах! Бывший коммунист, бывший эсэсовец... У него все «бывшее»... Жизнь — тоже. Жизнь его весит не много: девять граммов! Это вес винтовочной пули и это все, что осталось ему в жизни. Пока он прячется: долго еще не раскопать каменные трупы Германии, не раскрыть потайники Франции. Но ведь когда-то все будет раскопано и раскрыто!

Не все в советской России удостоиваются чести быть членами партии и служить в НКВД. Не все «невозвращенцы» были эсэсовцами. Встречались мне и другие типы. Тогда же, в майский день 1945 года, в приемной Военной Миссии у меня произошла смешная встреча. Круглое личико, вздернутый кверху носик, льняные кудряшки мелкой россыпью... — девушка лет 17-ти из какого-нибудь Лихославля, что близ Твери. Таких у нас шутливо кличут: «Эй, ты, курносенькая!». Но через плечо у курносенькой висел большой сак по-моде, на груди блестела позолотой брошка, изображавшая американский «джип», а красный пояс, перехватывающий тонкую девичью талию, был разрисован пальмами, кактусами... Разговаривала она бойко, с какой-то монмартрской вольностью.

— Ты, поди, тоже пришла выправлять бумаги? — спросил я. — Домой не хочешь?

— А что мне там, дома-то, делать? — ответила курносенькая. — В лохмотьях ходить? Здесь я — по крайней мере...

Мне вспомнилась сценка из пьесы К. Тренева «Любовь Яровая». 1918 год, южный город, бои белых с красными... Белые отступают, буржуи, натурально, удирают за границу. У худенького грузовичка происходит баталия — дерутся из-за мест. Притащился с вещами и старый профессор, но где же ему — в драку? Зато в машину забралась и отвоевала себе место кухарка профессора, Дунька. Ее хотят высадить, чтобы взять профессора, но старик отказывается и кричит вдогонку тронувшемуся грузовичку:

— Пустите, пустите Дуньку в Европу!...

Дунька в Европе... Из Лихославля она попала на Монмартр, как я, деревенский мальчишка, однажды на городскую ярмарку. Мне было тогда шесть лет, а я и до сих пор помню пеструю карусель на базарной площади, толстую, сидевшую на двух стульях девку, — она весила 11 пудов и потому ее показывали народу за гривенник, — помню киргизов в собачьих малахаях на головах и то, как отец, удачно продав киргизам уродливого коня, купил мне белорозовую пряничную лошадку. Но Монмартр... где же ярмарке захолустного сибирского городка до ярмарки Монмартра! Карусели, качели, балаганы — таких не сыскать по свету! Все вертится, кричит, поет, танцует... Кафэ светятся синим и красным светом, сверкают диковинной аппаратурой, играют без усталости: «А-ля-ля, бонжур, мадмуазель...» Это песенка американского солдата в Париже, — они такие симпатяги, эти американцы, из симпатии к ним Дунька и носит брошку «джип». У Дуньки, попавшей в

Европу, глаза разбегаются, она всем удивлена, всему завидует и... с ненавистью вспоминает свой Лихославль, где жизнь людей проходит в том, чтобы ворочать валуны на пашне, сеять лен, тереть лен, трепать лен... Нет, Дунька не хочет покидать Европу ради Лихославля! Однако, теперь времена другие: ее сажают в грузовик и везут из Европы. Та Дунька, которую я видел в миссии, плакала и даже отбивалась кулаками. Ее все же посадили и этому я от души порадовался. Порадовался прежде всего за нее — за дуру-Дуньку, и за Европу тоже.

«Дунька в Европе» — не обязательно девчонка. Немало «дунк» и среди мужчин. В Париже, я знаю, восемь советских парней открыли портновскую мастерскую. Держат они свое дело в тайне, но все же обзавелись машинами и даже клиентурой. На шахтах севера, на фермах юга — тысячи «невозвращенцев». Понять их можно: они испытывали нищету Тулы, Твери, Рязани... В Москве — райская жизнь, если сравнить ее с провинцией. Тем не менее, даже довоенная Москва — беднее послевоенного Парижа. Понятно, что «дуньки» не хотят выбираться из парижского рая. Все это так, но...

— Вы хотите знать, сколько я переменил профессий?...

В жалобах эмигранта, который был масоном, маляром, валетом, пек блины на тротуаре и изобретал беспроигрышный способ игры на рулетке, — в его жалобах есть жизненная правда. В парижском метрополитене я видел афишу: компания объявляла набор в какую-то техническую школу. Первое условие к поступающему: «быть французом». Иностранцам не следует на это обижаться: каждому народу Богом отведен на земле свой уголок. Жизнь эмигранта — это жизнь в чужом углу.

При нынешнем положении — в особенности. В 1918 году, после пролетарской революции, русские эмигранты приезжали во Францию, как в родной дом. Большевики были государственными преступниками: они заклячили Брестский мир, они изменили союзникам. Весь мир относился с симпатией к русским эмигрантам. Король Александр предоставил им Сербию, как вторую родину. Победившая, разбогатевшая Франция радовалась притоку рабочей силы. Мир еще не был поражен тоталитаризмом: существовало право убежища. Теперь — не то. Все наоборот: большевики хозяйничают в Европе, в Сербии — красный террор, Франция разорена, тоталитарные идеи распространяются... «Невозвращенец» не может рассчитывать и на сотую долю тех скромных благ, которые выпадали русским эмигрантам.

— Ну, а вы? — спросят меня.

Когда я в мае 1945 года ехал через всю Германию из Веймара — в Париж, мне встретились на дороге русские люди. Они узнали нас по флажку на машине и замахали руками, остановили криками. Тут были усатые мужики, бабы с ребятишками.

— Куда?

— Мы — в Париж. А вы?

— Мы — в Расею.

Рассказали: в каком-то маленьком немецком городке жили они после освобождения своим лагерем. Ждали-ждали, что приедут советские власти за ними, да вот — терпение лопнуло, и пошли пешком. Все к Расее ближе . . .

Не будь на мне одного очень важного обязательства, — перед Богом данного обета, — я тоже пошел бы с ними. Не в Париже ко мне пришла мысль: не возвращаться в Россию. Душевно я готовился к этому долгие годы. Пришел сюда страшной дорогой: отягчен был чрезмерно и сверх силы, так что не надеялся остаться в живых . . . Но Бог, воскрешающий мертвых, избавил меня от столь близкой смерти. Не затем, конечно, чтобы дать мне поглядеть на ярмарку Монмартра или ходить зевакой по рю де ла Пэ. Не было-бы никакого смысла в моем спасении, — среди стольких смертей, — если-бы Бог не избрал меня маленьким орудием для исполнения чего-то. Что же должен я исполнить? Рассказать людям правду — правду о религии в России, правду о войне.

Не возвращаться на родину? . . . Не возвращаться в Москву? Никогда не сидеть больше за моим старинным, красного дерева, письменным столом? Какой это дивный стол, какие в нем потайные ящички, шкафчики, полные моих рукописей, тетрадок с заметками, выписками! Так и оставить пылиться книги, которых я не касался с начала войны? Москва — наше всё. Там есть «Ленинка», а в Замоскворечьи — тихая улочка Зацепа . . . Никогда не вилять больше этого? В воображении всплывает: на последней странице в газете, внизу, три строчки — невозвращенца такого-то считать вне закона. Это — крушение жизни, всех планов, мечтаний, замыслов . . . Можно-ли на такое решиться?

. . . Мартовским утром 1946 года я пришел, как всегда, на работу в посольство. Дежурный вахтер в проходной мне сказал:

— Товарищ Панченко велел вам зайти к нему.

В кабинете, кроме Панченко, сидел капитан, незнакомый мне. На его дюжих плечах сверкали золотые погоны, на широ-

ком одутловатом лице мелькнула загадочная полуулыбка, когда он взглянул на меня. Панченко, показывая рукой на кожаное кресло и приглашая садиться, дружески-оживленно заговорил:

— Приятная новость для вас — поедете сегодня на родину. Поезд в два часа дня. Идите сейчас в канцелярию и получайте документы. Вот как раз товарищ капитан тоже едет в Москву, вам попутчик . . .

Корытообразное его лицо с загнутыми челюстями, однако, не оживлялось, — жесткое, как железо. Исподлобные зеленоватые глаза смотрели в упор, стараясь разглядеть, не смущены ли я неожиданной «приятной новостью».

Когда-то это должно было случиться . . . Давно я готовился к этому дню . . . Давно принял необходимые меры: в маленьком отельчике на рю дю Бак, где жил последнее время, держал только самое необходимое, то, что можно бросить в случае бегства. В другом месте, у знакомых, хранились мой штатский костюм и пишущая машинка, — все, чем я постарался обзавестись для будущей жизни.

Изобразив радость, поблагодарив Панченко за заботу, я пошел в канцелярию. На столе у начальницы канцелярии Маруси Петровой лежала открытая папка: моя автобиография, написанная при поступлении в посольство, фото-карточки, отношения из военной миссии. Маруся печатала на машинке справку о моей 10-месячной работе в посольстве.

— Сию минутку будет готово, — улыбнулась она. — Александр Александрович как-раз здесь, подпишет вашу справку.

Из кабинета А. А. Гузовского, советника посольства, она вышла смущенная. Взяла всю папку с моими документами, отнесла ему. Потом вернулась и вызвала по телефону Панченко, велела притти.

Панченко совещался с Гузовским минут пять.

— Вот что . . . — сказал он, выйдя из кабинета Гузовского, — Вы получите ваши документы непосредственно в Москве.

— Но как же я буду в дороге? У меня на руках решительного ничего нет.

— Документы ваши будут при капитане, который едет с вами в Москву. Он везет кое-какую дипломатическую почту, ваше «личное дело» мы и упакуем вместе. Для вас же лучше, не таскаться . . . чудак вы этакий!

— Но почта будет упакована, в дороге документы не достать.

— Хорошо . . . Лично от меня получите небольшую и неофициальную справку, что вы — из посольства.

— *C'est entendu*, — ответил я по-французски с какой-то шутливой наглостью, поняв, что меня хотят привязать к капитану-«попутчику». Начала работать мысль, как от него отвязаться.

«Товарищ-попутчик» оказался навязчивым. Он поехал со мною в отель — собирать вещи, а когда я сказал, что должен сходить к прачке взять белье и к сапожнику — за ботинками, он успокоил: «Успеется, мы на машине туда и туда заедем . . .». Было ясно: ему велено держать меня в руках, не упускать ни в коем случае!

Как же мне высвободиться из железной чекистской хватки? В посольстве оставалось еще одно дело: получить деньги. Бухгалтер сказал, что составление ведомости на проездные, суточные и т. д. займет полчаса. Капитан-попутчик остался в кабинете Панченко, я же пошел «торопить бухгалтера». В голове сумасшедшая билась мысль: как выскочить из посольства? Выход обычным путем — через проходную — опасен: проходная видна из окна кабинета начальника и идти туда через весь двор. Но вот оно, счастье, моя судьба: через стеклянную дверь я увидел — открылись широкие ворота и въезжает машина. Ворота в двух шагах от двери. В один миг я был на улице, завернул за угол и — бегом в метро!

Безумием было-бы искать убежища у русских эмигрантов, скрываться в 15 или 16 аррондисманах Парижа. Там шныряли агенты НКВД, там днем и ночью производили операции «охотники за черепами». Недавно еще там, в аррондисмане Auteuil, был убит молодой москвич-невозвращенец Колесов, проживавший под именем поляка Лапчинского. Он находился на квартире кн. Голицыной. «Оперативная группа» военной миссии выследила, когда он остался один в квартире: подъехал автомобиль, вломились четыре молодца, чтобы забрать невозвращенца. Колесов-Лапчинский ожесточенно сопротивлялся. Ему проломили голову и, залитого кровью, выволокли на улицу, погрузили в автомобиль. Он еще и на улице кричал «караул», но никто из публики не посмел приблизиться. В квартире нашли лужу крови. Парижские газеты много об этом писали, требовали розыска убийц, но префект полиции заявил, что «инцидент может перейти на дипломатическую почву». После этой истории эмигранты жили в страхе: моя приятельница отказывалась даже хранить вещи, не то что укрывать меня.

На счастье, у меня был знакомый француз, родные которого жили в деревне, — там я и нашел убежище.

Действие Божьего Промысла продолжало непрестанно проявляться в моей жизни. Встреча с французом, в сущности, спасшим меня, произошла в обстановке, полной случайностей, непредвиденностей. В мае 1945 года, только приехав в Париж, я познакомился с двумя девушками, которые выдавали себя за эмигранток, но в каждом жесте и слове их я угадывал, что они из Советской России. Одна из них, Жсана, не была дурнушкой, и я впоследствии жалел, что потерял ее из виду. Прошло несколько месяцев, девушки встретились мне в русской кафедральной церкви на улице Дарю. Короткий разговор у церковной ограды:

— Как живете? Как развлекаетесь?

— Ничего, спасибо... Сегодня собираемся в русский театр. Дают «Вишневый сад», Вы не идете?

— Какая жалость, не знал раньше. Непременно пошел-бы, но вечер занят. Приятель должен притти.

— Знаем мы вашего приятеля... Скажите лучше — «приятельница».

Вечер наступил, а приятель неопределенного пола не явился. После бесснежной зимы, уже перед самой весной, в Париже наворотило такие заносы, что прекратилось всякое движение в пригороде. Приятель позвонил, что приехать не может. Воскресный вечер оказался пустой. Вспомнив про девушек, про «Вишневый сад» и, повертевшись перед зеркалом в фуражке с красным околышем и красной звездой, покатил в театр «Иена».

Билет мне достался в другом ряду, но возле девушек оказалось свободное кресло. Не успел я в него погрузиться, как вижу... своим глазам не верю... топает сверху вниз по проходу францисканец-монах. Босоногий, в коричневой рясе с белыми шнурами. В руках у него билет и, конечно, на это кресло. Монах... на что ему девушки?! Досадуя, пошел я искать свой ряд.

В антракте, точно браконьер, я опять потянулся на место охоты. Монах привстал и несколько смущенно, трудно произнося слова, сказал по-русски:

— Садитесь, пожалуйста...

— Вы... русский?! — воскликнул я

— Нет, я француз, — улыбнулся он и освободил мне кресло.

Девушки, однако, больше как-бы не существовали: все

заслонил интерес к французу, босоногому монаху, говорящему по-русски. Несколько лет назад он окончил католический университет в Париже. Посвящен в сан священника. Теперь же в Школе Восточных Языков изучает славистику. Католическим священникам воспрещается бывать в театрах, ему дали позволение посетить русский спектакль исключительно в целях изучения языка.

На прощание о. Пьер вписал мне в блокнотик номер телефона:

— Буду рад, если вы мне позвоните.

Встретаться больше не пришлось, и только в день бегства из посольства, первое, что явилось мне в голову — позвонить о. Пьеру. Позвонил и, не объясняя в чем дело, попросил тотчас же приехать на квартиру к моей приятельнице.

— *Mon Père, votre ami est en danger*, — сказала она, открывая ему дверь, и он вошел с таким видом, как будто знал уже все.

Как на войне, мы втроем «оценили обстановку», «приняли решение». В деревне у о. Пьера были родители. Решили, что я поеду туда. Но как? Двести-триста километров от Парижа. Поездом? На первом же вокзале меня, вероятно, схватили-бы: в посольстве остались мои фото-карточки, и агенты, снабженные ими, были, разумеется, разосланы во все концы. Как командир на фронтовом командном пункте, о. Пьер решительным жестом снял с телефонного аппарата трубку и передал телеграмму, чтобы его отец немедленно выехал на автомобиле в Париж.

Отец о. Пьера был деревенский врач. Несмотря на свои 70 лет, полон бодрости, силы. Толстяк, невысокого роста. Живые, внимательные черные глаза под кустистыми, поседевшими бровями. Жарко-красные, все еще свежие губы, обрамленные пышными усами, белой бородой. Он как-бы сошел со старинной французской картины: *gros mangeur, gros buveur* . . . В Париже мне много наговаривали о скарденности французов: будто француз живет на дырочку от сантима, а сам сантим откладывает в кубышку. В памяти моей застряли слова: *un fesse-mathieu, un chiche, un grigou, un crasseux, un lésineur, un liardeur, un gariat, un pingre, un ladre*, — все, сводившееся к одному смыслу — скряга. Но стоило мне попасть во французскую семью, как я убедился в несправедливости приложения этих слов к народу Франции: в глубине он хранит истоchnики старинной щедрости, великодушия, гостеприимства. Не

долго думая, доктор Андре Клермонт*) посадил меня в свой «рено», потрепанный по деревенским дорогам, и привез в деревню, принимая все меры скрытности и предосторожности. Въехали во двор, закрыли ворота и только тогда я вышел из автомобиля. Мадам Андре и дочь Жермен, 23-х лет, быстро приготовили мне комнату, откуда открывался чудесный вид на весенние поля и рощи, соседнюю ферму, где молотили хлеб, шпиль церкви, вокруг которой — над жестяным петухом — летали голуби.

Два месяца провел я в этом доме, ни разу не показавшись на деревенской улице. Выходил только в маленький сад, огороженный каменными стенами. Просыпался от колокольного звона. На калитке гремела цепь: Жермен уходила в церковь на раннюю утреннюю молитву. В розовом свете утра дымились горбатые бело-пенные яблони. На ферме, за садовой стеной, ходила по канавкам между гряд работница-полька. В резиновом халате, высоких сапогах, она тянула тонкий шланг, извивавшийся длинной черной змеею, и поливала всходы. Над ее головой вспыхивала кривой чертой радуга. Вода стекала с гряд, накапливалась в канавках, горела под первыми утренними лучами. Возле окошка мне каждое утро думалось: если-бы Бог не хранил меня, разве я видел-бы эту весну — весну моей новой жизни? Какие муки, какие страдания прошли через сердце... и что же?.. сердце, как фильтр, пропускает и очищает жизнь, дистиллирует, вырабатывает из грубого, порой дурно пахнущего, сырья какую-то неведомую, тонкую и острую эссенцию, которую мы называем смыслом жизни.

Новая жизнь... Каков был ее смысл? Какие зарождались во мне планы и надежды? В крупном парижском еженедельнике «*Paroles Françaises*» появилась статья, где рассказана история моего бегства из посольства. Там есть фраза: «Он тоже выбрал свободу». «Он тоже» — значит, как многие тысячи невозвращенцев, как Виктор Кравченко, который только что выпустил нашумевшую книгу «Я выбрал свободу». Но нет, я выбрал не свободу, а нечто гораздо большее — долг. Напрасно думать, что счастье — в свободе. Оно — в свободном принятии долга, в горячей и полной преданности тому, что надлежит исполнить человеку в его жизни. Бесчисленными и чудесными спасениями была дарована мне свобода, — дар Бога, и перед Богом я за нее в ответе. На пути исполнения долга — служения Богу — человека ждут неисчислимые пре-

*) Все имена членов этой семьи, разумеется, изменены.

пятствия, губительные ловушки, порой тупики и пропасти. Величайшая тайна в том, что Бог непрестанно испытывает сердца людей и народов, измеряет душевную глубину... Не для того-ли, чтобы человек имел веру — веру и дух терпения, чтобы не поддавался он духу уныния и отчаянья?

Крестьянин по рождению и воспитанию, я любил утрами подолгу смотреть из окошка, как зачиналась кипучая, многообразная жизнь на ферме. На огород приходил поляк-муж поливальщицы: он по шнуру копал борозды, делал лунки, бросал семена. Под навесом щелкали бичами погоняльщики, ходили кругом лошади, тряслась молотилка и из-под бешено ревущего барабана вылетала пыльно-золотистая струя соломы. Крестьяне, близкие к земле, к истокам жизни, лучше всего понимают, что вся наша жизнь — урок терпения. Погребенное в земле зерно должно сперва погибнуть, чтобы дать ростки. Вся земледельческая работа — от посева до молотьбы — полна мистического — литургического! — смысла. Вдуматься, так не только земледельческая, крестьянская: в долге я погребаю себя, чтобы произрасти, произвести плод моей жизни. Несрочная весна — воскресение после погребения — это и есть то счастье, к которому вела меня невидимая новая тропа.

«Будет трудно, будет очень трудно...» — сказал два года назад, еще в Москве, мой добрый наставник, старик-профессор. Попомнились мне его слова: пережил я мучительную историю с панихидой по патриархе Сергие; побывал в полку резерва — почти в дисциплинарной роте; видел кровь и слезы ни в чем неповинных детей и женщин; лежал посередине поля боя — под встречным огнем с двух позиций; дальше — дни плена, когда не надеялся остаться в живых и почувствовал на себе руку Божию; побег и поиски укрытия в каменных развалинах немецкого города; опять побег — среди бела дня в Париже, полном советских сыщиков... Из Парижа ко мне доходили тревожные известия. Целая свора советских ищеек искала меня. В отель «Fleurus» на улице дю Бак явилось несколько офицеров во главе с Панченко и капитаном — моим «попутчиком», они устроили повальный обыск — по всем номерам, в подвале, кухне, на чердаке. Хозяйка, милая мадам Кайон, натерпелась страха: ей тыкали в лицо дулом пистолета, грозились пристрелить. Известно стало, что агентура НКВД установила в Гавре и Марселе слежку за пароходами, отправлявшимися в заграничное плаванье. К крупным писателям-эмигрантам, с которыми я был знаком, подсылались якобы мои «друзья», которые, узнав о случившемся, предлагали мне

«помощь»: все для того, чтобы узнать, где я скрывался. В деревню ко мне приезжали истинные мои друзья: каждый раз они брали автомобиль другой марки и другой окраски, при чем оставляли его на противоположном конце деревни и, крадучись, пробирались к домику доктора. Нельзя было шагу ступить, чтобы не попасться в лапы «охотников за черепами». Французские власти не могли мне помочь: они были бессильны перед Советами. Без документов, без денег, преследуемый... — вне закона! Новая жизнь ничего не предвещала мне, кроме безмерных страданий, лишений, тревог. Она требовала терпения, огромной сопротивляемости и прежде всего веры — веры!

Ничто не может быть страшно человеку, если в душе — где-то в недрах груди, в том магическом месте, где отзываются все несчастья и радости мира, — живет вера в торжество правды, справедливости. В сущности, я давно вне закона. Коммунизм 100 лет назад бродил призраком по Европе, — теперь он обрел плоть и кровь и хозяйски диктует Европе законы. О, он напился крови! Хельсинки, Варшава, Берлин, Прага, Бухарест, Будапешт, Белград, София... — какое ожерелье городов он прикарманил! Теперь он смотрит, этот одноглазый Полифем, на остатки Европы, и вот уже Франция, некогда вольная, независимая, присмирела под его взглядом, бледная, как перед головой Медузы. Коммунизм — закон времени, но я осмеливаюсь стать вне закона и не подчиниться коммунизму. Верю, непоколебимо верю, что война была дана не для утверждения коммунизма, а для нового поворота к религиозному сознанию, к религиозной культуре.

Почему так окреп коммунизм? Почему он смог так утвердиться? Главная причина — внешняя сила СССР. Народы Запада видят нашу страну извне, снаружи — восхищаются военной мощью, порядком планового хозяйства, единством общества. «Железный занавес», он для того и нужен большевизму, чтобы поддерживать в сознании людей Запада именно такое внешнее представление о советской России, чтобы они не видели того, что происходит внутри нашей страны — беспорядка под видом порядка, разброда под видом единства. Для поражения мирового коммунизма необходимо прежде всего сорвать «железный занавес» и показать: вот, смотрите, какова жизнь внутри Советской России — без румян и белил, без прикрас и обмана. Кто может это сделать? Только мы, выходцы из Советской России. Мне лично для этого дано все: до войны, будучи журналистом, объездил Россию вдоль и попе-

рек; всю войну находился в Красной армии; десять месяцев пробыл в советском посольстве в Париже . . . — таким образом, знаю советскую жизнь во всех ее проявлениях, и на вершинах, и на глубинах ее. Дело моей новой жизни — пробить брешь в «железном занавесе» — большое и нужное дело.

В первый же день моего пребывания в деревне я приступил к исполнению своей задачи: начал писать книгу «Почему я не возвращаюсь в Советскую Россию», заполнял тетрадь заметками для следующей книги — о войне, «От стен Москвы — до развалин Дрездена». Работал ранними утрами, у окошка, пока в большой зале, примыкавшей к моей комнате, не раздавались легкие шаги и веселое покашливание старика-доктора. Он стучался ко мне и, целуя меня на пороге, тыкаясь в щеку душистой белой бородой, принимался, раздувая усы, гудеть парижскую новомодную песенку:

On prend l'café au lait au lit
Avec des gâteaux et des croissants chauds . . .

Так, всегда — песенкой, он приглашал меня пить кофе. В кухне трещал хворост, Жермен растапливала печку. Веселая, тоже с каким-то поющим сердцем, как и ее отец, она вносила в столовую дымящиеся чашки на подносе. К раскрасневшемуся, в бисеринках пота, лбу ее прилипали темно-каштановые пряди, светились, точно два черных солнца, глаза.

На стене в столовой висел овальный портрет девушки, похожей на нее. Те же прекрасные глаза, только тише, покойнее. Это была старшая сестра, Мишель, которая, вот уже десять лет, находилась в монастыре. Принимая постриг, она искала монастырь, где условия жизни были-бы наиболее твердые, суровые. И нашла: например, она могла только раз в месяц видеть родителей и всегда через решетку, всегда в присутствии другой монахини. В добровольном заточении она написала книгу — историю монашеского ордена, к которому принадлежала. Вторым по возрасту, после Мишель, шел о. Пьер, носивший в миру другое имя. Мать, мадам Андре, мне рассказывала: когда он родился, она молилась, чтобы он стал священником, и он им стал. Младшая, Жермен, тоже мечтала о монастыре, но ей выпало оставаться при стариках-родителях.

На другой стене красовалась большая, в тяжелой раме, картина: поле боя, изрытая снарядами земля, опрокинутые пушки, облитые кровью раненые и подбирающие их санитары, и в темном сумеречном небе — крылатое видение Родины — Франции, возлагающей венок на героя битвы. Картина эта —

наградная грамота. Короткий текст под картиной рассказывает о подвиге врача Андре Клермонт на фронте, в Арденнах, в первую мировую войну. Грамоту подписал маршал Фош. Во вторую войну, доктор, семидесятилетний старик, не желая оставаться с немцами-захватчиками, оставил дом, посадил жену и дочь в потрепанный, чихающий, фыркающий «рено» и уехал далеко на юг, в страну басков. В этой войне участвовал его сын — о. Пьер, и трудно было узнать францисканца-монаха в том бравом, коренастом и загорелом капрале, портрет которого также имелся в доме. О. Пьер там стоял на раздвинутых ногах, опираясь на винтовку, в форме марокканских войск — в феске со звездой и полумесяцем, с подсумкой на поясе.

Ни малейшего вымысла нет в том, что я рассказываю об этой семье. В ней я увидел настоящую, неискаженную Францию. Таковую, какою она была, вероятно, до той поры, пока в ней не развился и не усилился процесс дехристианизации. К примеру, скардность, скупость французов... — порок этот существовал не всегда. В литературе XIX века он отразился, но писатели старых времен оставили совсем другой портрет французского крестьянина. Бесспорно, он и тогда был бережлив — к своей земле, к своей скотине, экономен, сдержан, как и полагается крестьянину, однако, он не был скаредом, таким он стал уже в новую пореволюционную — буржуазную, оттолкнувшуюся от христианства — эпоху. Дехристианизация усиливалась, пороки укреплялись... — извращалось понятие о свободе, ослаблялась привязанность к долгу. Так, наряду с тысячелетней христианской традицией, Франция теряла и тысячелетнюю военную традицию. Все это находится в тесной взаимосвязи, и в той семье, где христианская традиция сохранилась во всей силе, там жила и другая — героическая, военная, традиция чести, традиция самоотверженности, любви к человеку, сострадания, наконец, старинного великодушия, гостеприимства. Такою когда-то была и Россия. Большевизм, дехристианизируя молодежь, воспитывая ее в духе материализма, марксистско-ленинской идеологии, привел ее к деградации и моральному оскудению, к тем страшным делам, которые я видел в Бунцлау, Лигнице, Бауцене...

Наше спасение — как России, так и Франции, так и всего мира — в возрождении христианского религиозного сознания, в повороте к религиозной культуре. Из далекой России я пришел к людям Запада, как христианин приходит к христианину. Пришел, как вестник: сказать, что поворот к религиозной культуре совершился в военные годы и в нашей стране, в так назы-

ваемом «сталинском» поколении молодежи, но что большевизм душит зеленые всходы и не дает им развиваться. Несмотря на внешнюю свободу, предоставленную церкви, продолжают преследования за религиозные, глубоко внутренние, ничего общего с политикой не имеющие, убеждения.

И я увидел: люди Запада — простые и даже бедные люди — приняли меня не как чужого, а как своего, как брата. Не было между нами «железного занавеса», и мы породнились сердцами. Даже в быт, казалось-бы, такой отличный от нашего, русского, я вошел как-то сразу, не чувствуя ни малейшей связанности. Дни в деревенском моем заточении были длинные, их хватало и на то, чтобы писать книжку, — и я написал ее в две недели, — и чтобы работать в саду — собирать хворост, обрезать сухие ветки на яблонях, таскать зеленый дерн в курятник, поливать спаржу, набирать букеты ландышей у высохшего водоема. Даже кухней занимался: после дождя охотился за садовыми улитками, и мадам Андре учила меня, как делать из них майонезы, она же баловала меня яйцами а-ля мимоза. Вечерами, после обеда, подолгу засиживались за столом, разговаривая о Франции, о России. Перед тем, как идти спать, все становилось перед иконой Божьей Матери-Фатимы, и Жермен во весь голос читала молитву, которая заканчивалась такими словами:

— . . . *Priez pour la France, pour la Russie et pour tout le monde entier.*

Наступила Пасха. Как нечто символическое для меня, воспринял я то, что в эту весну — первую мою свободную весну, не на советской территории, — православная Пасха совпала с католической, что случается весьма и весьма редко. Всю Страстную неделю, как и Великий пост, я слушал по радио из Нотр-Дам замечательные проповеди отца Мишеля Рике. К Светлому Воскресенью мои друзья привезли из Парижа куличи и творожные пасхи, крашеные яйца. Жермен получила в подарок православную икону — «Неопалимая Купина» — работы известного русского иконописца Стеллецкого.

К сожалению, прожив два месяца, я более не мог тут оставаться. Это становилось опасно не только для меня, но и для семьи. Меня перевезли в Париж, где я скрывался еще два месяца, совершенно не выходя из дома.

Перед отъездом на аэродром, к могучему четырехмоторному самолету, который должен был перекинуть меня в другую страну, — так далеко, что там даже звезды и те другие, — Жермен и ее родители посетили меня в парижском моем

убежище. Еще и еще раз поговорили мы о трагедии русского солдата, защищавшего Россию и защитившего большевизм, лишенного всякой возможности жить на родине, и о трагедии Франции, о наступлении на нее коммунизма, о бегстве молодых французов за границу, об этой ужасной, подымающейся волне эмиграции, первом признаке неблагополучия страны.

Жермен воскликнула:

— Никем бы не хотела быть — только француженкой! Нигде бы не хотела жить — только во Франции!

— Правильно! — согласился я. — И я тоже — только русским и только в России.

В ответ на мою «Неопалимую Купину», Жермен дала мне на прощание маленький образок — *Notre-Dame du Perpétuel-Secours*.

— Можно подарить вам это? — спросила она. — В своих молитвах вы не забудете помолиться о Франции?

— А вы — о России, — ответил я.

На обороте иконки была молитва:

— *Donnez-moi, o charitable Mère! la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous . . .* К Ней, Царице Небесной, прибегал я в минуты боя и в смертный, последний час, — Она всегда и везде даровала мне спасение. *Venissez-moi, o tendre et secourable Mère!* Благослови меня, Владычица, на новый путь, и на новом пути — укрепи неустанной помощью. Да будет так!

Михаил Коряков.

ИСТОРИЯ ОДНОГО РАЗОЧАРОВАНИЯ*)

(Советизация Западной Белоруссии)

То, о чем я здесь хочу вкратце рассказать, есть история одного разочарования. Не лично моего разочарования. Никогда я не был очарован советским строем и никогда не сомневался в том, что теория его — несостоятельна, а практика полна лютой человеческой кривды. Лично я относился к Советскому Союзу без иллюзий и без враждебности, как человек посторонний. Но не подлежит сомнению, что основная масса населения Западной Украины и Белоруссии в момент вступления Красной Армия была полна искренней благодарности и великих надежд: человеку свойственно верить в добрую волю всякой новой власти, пока не докажут ему противного. Пока его не ударили, он склонен к оптимизму и даже после того, как ударили, он все еще надеется, что это было недоразумение.

Каким образом советская власть в течение одной зимы превратила население занятых областей — без различия классов, народностей и политической принадлежности — в противников, справка об этом не лишена актуального интереса, поскольку дает представление о методах и технике советизации вообще.

Опыт научил меня, что никакими аргументами и свидетельствами нельзя переубедить человека, который считает себя коммунистом. Переубедить его в состоянии только сама советская действительность. Тот же опыт привел меня к убеждению, что коммунизм не заключается в том, что человек вбил себе в голову. «Воображаемый коммунизм» в границах демократического строя есть сумма мнений или политическая демонстрация, от которой никому не больно. Из 100 человек, которые исповедуют коммунизм, находясь в Париже или Риме, и не

*) Глава из неизданных воспоминаний известного еврейского общественного деятеля (сиониста) Ю. Марголина. Приехав на время в Польшу из Палестины, автор был застигнут там войной. Спасаясь от немцев, он попал в зону советской оккупации, а позднее был депортирован в Советский Союз. Ред.

представляют себе ясно, как он выглядит на деле, отпало бы 90, если бы они увидели его в живом действии, когда он как нож врезается в тело жертвы. Остались бы мясники, люди, для которых brutальное насилие является не только средством, но и фундаментом общественного строя.

Этапы советизации я наблюдал в моем родном городе Пинске.

Прежде всего, с нашего горизонта исчезли представители польской администрации. То, что их убрали, никому не мешало, и никто не задумывался над их дальнейшей судьбой. А между тем, характерно советской мерой было то, что их не просто сняли с постов, а ликвидировали, как группу населения. Их больше не было среди нас.

За ними последовали «осадники». В продолжение 20 лет существования независимой Польши правительство парцелировало имения помещиков на восточной границе, и на освобожденные земли сажало не местное население, а польских колонистов, по большей части заслуженных солдат польско-советской войны 1920 года, которые усиливали этнический польский элемент на восточных «кресах» и были опорой польского государства. За 20 лет «осадники» сблизилась с местным населением, дети их говорили местным говором, и можно было предвидеть, что не они полонизуют белоруссов, а белорусская мужицкая стихия поглотит и растворит их так-же, как мелкую польскую шляхту до них.

Местные люди не сделали бы зла осадникам, таким же крестьянам, как они. Советская пришедшая власть квалифицировала их как врагов и вывезла их в условиях равносильных вывозу евреев органами Гестапо. Несколько дней еврейское население Пинска находилось под впечатлением расправы с осадниками. Это было глубокой зимой, в жесточайшие морозы. Из уст в уста передавали про неотопленные вагоны, два дня стоявшие на станции, про трупы замерзших детей, которые матери выбрасывали через окошки запертых вагонов. Ужас, который вызвало это преступление в гитлеровском стиле, был общим. Будущее показало, что эти и подобные меры, поскольку их целью была «чистка» населения от ненадежных элементов, не привели к цели и были ненужны. Отступление Красной Армии из занятых областей в июне 1941 года, когда началась война с немцами, совершилось с крайней и молниеносной быстротой, несмотря на отсутствие осадников.

За ликвидацией осадников последовал систематический и массовый вывоз вглубь России социально-активных, попу-

лярных и руководящих людей из деревень. Ликвидации подверглись не только деревенская буржуазия и интеллигенция или патриотический польский элемент, но и все вообще люди, пользовавшиеся авторитетом, белоруссы и украинцы, причем, чем популярнее они были, тем хуже было для них. Люди эти в большинстве своем вымерли на советском севере. — Вот два примера. Весной 1944 года я встретил в лагере на севере России земляка из деревни в окрестностях Пинска. Человек этот умирал от голодного истощения. По типу, разговору, образованию — это был крестьянин, «кресовый» поляк. Он рассказал мне, что с ним вместе было взято 14 человек, и только двое еще оставались в живых. Один из «живых» был он сам — полутруп. Вторая встреча была с украинцем, бывшим бургомистром городка на Подолье. Человек этот, до ареста уважаемый адвокат и общественник, получил 8 лет заключения. Петиция, которую подписали 300 рабочих, свидетельствуя в его пользу, сильно ему повредила. «Теперь мы видим, что вы действительно опасный человек», сказали ему: «имеете влияние среди рабочих».

Следующий этап наступил в Пинске очень скоро, когда пришла очередь городского еврейского населения. «Пятая колонна» местных осведомителей помогла составить списки «нетрудового элемента». В этот список попали купцы, домовладельцы, адвокаты, агенты, лавочники — сотни семей. Все эти люди подлежали изгнанию из города. Их выслали в маленькие местечки и окружные городки, где никто не знал их, и где они оказывались в положении бездомных беженцев. Конечно, это было лучше, чем гитлеровское гетто, но тогда люди были далеки от подобных сравнений и переживали ссылку как катастрофу и крушение жизни. Им приходилось оставлять свои семейные гнезда, мебель, которую из-за разрухи транспорта забрать было невозможно, и уезжать в неизвестность. Сам факт изгнания, унижения и социальной дискриминации действовал потрясающе на этих людей. НКВД забирало их по ночам. Я помню мартовские ночи 1940 года, когда я просыпался и слушал в темноте жуткие звуки: улица плакала, откуда-то доносился вой и женские причитания. — «Вошли к соседям!» — и я представлял себе сцену ночного вторжения, вооруженных людей, крики, понукания, угрозы, двухчасовой срок на сборы... а утром в соседней лавочке, где еще вчера можно было купить сыр и масло — пусто, окна закрыты ставнями, двери забиты, как после погрома. В эти ночи, полные отголосков плача, начало складываться в мирных пинских жителях чувство возмущения и негодования против власти, которая ждет ночной

темноты, чтобы вломиться в дома и разрушить налаженную жизнь.

Следующим шагом был разгром культурных учреждений и советизация школ. Газеты, библиотеки и книжные магазины закрываются. На их месте будут созданы другие, по стандартному советскому образцу. Эта «экстирпация культуры» производится грубо механическим образом, как если бы вырвали человеку здоровый зуб, чтобы поставить на его место искусственный. На этом этапе мы потеряли право учить своих детей чему-либо кроме коммунизма, право читать, что нам нравилось, право думать по своему и жить по своему. Этот процесс не был безболезненным. Была в Пинске еврейская гимназия «Тарбут» — гордость города, с 700 учеников, с большой библиотекой — цитадель сионизма, центр еврейского образования, предмет многолетней и любовной опеки пинского общества. После прихода большевиков учителям было велено сменить язык преподавания на «идиш». Классики еврейской поэзии: Бялик и Черниховский, стали в одну ночь нелегальными авторами, книги на «иврите» были изъяты из обращения. В те дни имела место в одном из классов такая сцена. Учитель обратился к своим ученикам со словами: «Дети, сегодня я в последний раз обращаюсь к вам на иврите . . .» и губы у него задрожали. Он расплакался, и с ним вместе заплакал весь класс. Учащаяся молодежь упорствовала. В ту зиму мальчики и девочки продолжали втайне учиться запрещенному языку, клялись не забыть Сиона, не дать оторвать себя от национальной культуры . . . Надо помнить, что в Пинске не было еврейской семьи, которая не имела бы в Палестине родных или близких. Конечно, это детское сопротивление не продолжалось бы долго. Оно замерло бы само собой, или с годами было бы растоптано в лагерях и ссылках, как всякая попытка самостоятельного национального — и не только еврейского — движения в советской стране.

Весной 1940 года довершился разгром политических организаций и центров общественной жизни. Были арестованы и вывезены руководители «Бунда», в апреле месяце состоялись аресты сионистов, которые получили по 8 лет заключения в лагерях. Систематически и беспощадно из массы населения изымались все активные и деятельные элементы, которые могли бы оказать сопротивление при «перевоспитании» масс. Обречено было все, способное к самостоятельной мысли — все потенциальные носители оппозиции — мозг и нервы общества, которое еще вчера не подозревало, что его назначение — поступить в

мясорубку и быть переработанным в бесформенную массу на советской кухне. Единственное спасение было в том, чтобы нырнуть в массу, быть как все, — не выделяться; но людям, которые в прошлом были общественно-активны, и это не помогало: в глазах власти они были заклеены и обречены. Новое советское общество не могло чувствовать себя безопасным, пока без остатка не были выкорчеваны последние следы культурной и политической жизни до сентября 1939 года. Эта операция производилась слепо и бездушно, без ненависти и жалости, чужими, с помощью полицейского аппарата НКВД, над обществом, в котором были живые и творческие традиции, витальная сила и молодая гордость, которое культурно стояло неизмеримо выше тех, кто чинил над ним расправу. Это общество, которое в польские времена привыкло критически оценивать каждый шаг власти и никогда не признавало над собой окончательного авторитета государства, теперь лицом к лицу стояло перед террором и господством силы, темной и нерассуждающей, не делавшей различий и уничтожавшей все, что не вменялось в рамки «госплана».

Говорят, что идею нельзя заколоть штыками, культура не есть военный трофей. Мы убедились в Пинске, что штыки и военный захват, во всяком случае, составляют первую стадию кастрации живого культурного организма.

Однако, недостаточно было парализовать массу, политически разоружив ее и лишив активных руководящих и выдающихся единиц. Массовый человек в этом случае всегда имеет еще дорогу для отступления. Он отступает в крепость своего частного существования. Он, как улитка, заползает в свою раковину, замыкается в кругу семьи и соседей и полагается на материальные ресурсы, на «запасы» или остатки от доброго старого времени. Но советская власть следует за ним по пятам.

В январе 1940 года без предупреждения был изъят из обращения польский золотый. До этого времени он служил легальным и почти единственным средством обращения. В золотых платили рабочим, в золотых держали свои сбережения крестьяне и городская мелкота. Когда в январе золотый был изъят из обращения, максимальная сумма, которая подлежала обмену на рубли — была 300 золотых. Надо знать, что с осени 1939 года советский Госбанк приглашал население занятых областей сдавать свои сбережения государству, как до того оно делало в Польше. В январе эти вклады были попросту экспропрированы, поскольку они превышали сумму в 300 золотых. Легко представить себе впечатление, которое эта

«гениальная» операция произвела на мелких держателей. Результат этого шага был тот, что люди, имевшие некоторые денежные резервы, лишились их сразу, и во многих семьях не стало денег на хлеб: т. е., другими словами, те, что до сих пор избегали работы в советских учреждениях, должны были немедленно искать работы и принять то занятие, которое им предлагал единственный работодатель — государство. Маленький человек был поставлен на колени перед государством. Наступила немедленная и всеобщая пролетаризация. Зарплата стала единственным источником существования для тех, кто еще вчера полагался на припрятанные гроши, на отложенные резервы, на семейные фонды. Конечно, золотый не сразу обесценился, и еще долго продолжал служить нелегальным средством обращения. Многие предпочли спекуляцию и частные заработки советской службе. Но это была уже только пена на поверхности советского моря, — жалкие остатки, подлежащие ликвидации.

В начале 1940 года все мы, исключая спекулянтов и людей с неопределенными источниками доходов, оказались советскими служащими. До сих пор мы знали, что существует право на труд. Теперь мы познакомились с системой принудительного труда, с железной обязанностью труда, который не выбирается свободно, а как ярмо ложится на шею. Переход был постепенный. Нас не сразу подчинили режиму советского труда. Но мы уже знали, что нас ждет. Мы знали, что в Советском Союзе существует прикрепление к месту службы, что самовольный уход с работы жестоко наказывается, что легче развестись с женой, чем уйти с работы, которая тебе не подходит. Развод дается по желанию одной стороны, а для увольнения необходимо согласие государства. В сознании многих людей такое положение равнялось закрепощению.

Фактические условия работы также оказались неожиданностью для пинчан. Государство — не частный предприниматель, с которым можно не церемониться и после 8 часов работы уходить домой. Государство требует уважения к себе. Государство ждет, чтобы его новые граждане показали преданность и рвение. Пинчане не привыкли работать добавочно по вечерам, работать по выходным дням, а после работы, вместо того, чтобы отправиться домой на обед, идти на обязательное собрание или митинг, симулировать восторг от речей — и не получать в срок заработанных денег. У них вытянулись лица. Для большинства было открытием, что условия труда и социального обеспечения в Советском Союзе хуже, чем в буржуазной Польше.

Казалось бы, что лучше такой вещи, как поликлиника с бесплатной медицинской помощью? — Но одновременно врачей лишили права частной практики, а жалование им положили в 300 рублей в месяц, при цене хлеба в 85 копеек кило. Пинчане скоро почувствовали разницу между платным и бесплатным лечением. Еще хуже было с многочисленными адвокатами, которым запретили практику. Только пять человек из молодежи, не имевшей в польские времена права практики, были допущены в адвокатскую коллегию. Для некоторых это было трагедией. Весь город говорил об адвокате Б., человеке, имевшем талант и призвание юриста, влюбленном в свою профессию, который плакал в кабинете советского начальника, умоляя не ломать ему жизни. Это не помогло ему. Адвокат Б. получил место мелкого почтового служащего и через короткое время был вывезен вглубь России. Его жена подала властям просьбу — отправить ее к мужу. Через некоторое время вывезли и ее, — но не к мужу, а в глухой колхоз Казахстана, откуда она писала, что «завидует Але». Больше ничего не было в этом письме, но десятки пинчан, читавших его, знали, что Аля — ее сестра, умершая год тому назад.

И постепенно стал проходить первоначальный энтузиазм. В другом свете стало представляться недавнее прошлое. Оратор на фабричном митинге припоминал, с пафосом, рабочим, как страшно их эксплуатировали в польские времена, заставляя работать за 60 злотых в месяц. Но в это самое время советская ставка была — 180 рублей, что равнялось не более 30 довоенных злотых. Материальное положение рабочих ухудшалось резко, — и если польские ставки были эксплуатацией, то что следовало думать о советских?

По мере того, как стал рассеиваться чад первых недель и месяцев, невозможно стало также утешать себя мыслью, что это лишь временное явление переходного периода, и нормальная жизнь еще наладится. Не было сомнений, что в Советской России условия жизни еще много хуже, чем в занятых областях. Об этом принесли весть рабочие, которые осенью 1939 года добровольно выехали в Донбас и другие места. То, что они рассказали, вкратце сводилось к следующему.

Встречали их в Донбасе торжественно, с речами и музыкой, и не было сомнения, что хотели их устроить как можно лучше. Однако, скоро оказалось, что заработка в 8-12 рублей в день не хватает, чтобы прокормиться, и бытовые условия оказались нестерпимыми для поляков, привыкших жить и одеваться по людски. Работа в шахтах оказалась не по силам для многих, не имевших понятия, куда их везут. На более легкой работе и

заработок был половинный. Советские рабочие умели обходиться без завтрака с утра, без чаю и сахару, без мяса и жиров. Они выглядели как оборванцы и жили в норах. Жизнь их проходила в погоне за куском хлеба. Люди из Польши к такой жизни не были готовы. Через некоторое время они начали массово бросать работу. Это — большое преступление в Советском Союзе, но они были на особом положении. Толпы «западников» повалили обратно, без билетов и средств на дорогу. В Минске они собрались перед зданием Горсовета и потребовали, чтобы их отправили домой. Дошло до уличной демонстрации: толпа легла на рельсы и задержала трамвайное сообщение. Такие сцены были для советских людей чем-то невероятным. Советская власть могла бы поступить с протестантами и бегунами обычным образом — отправить в концлагерь. Но еще не пришло время. И им дали возможность вернуться за кордон, откуда они прибыли, и где они немедленно распустили языки, рассказывая, что видели.

Не надо было их рассказов. Советские граждане, попадая в разоренные местечки Западной Украины и Белоруссии, были так явно счастливы, что и без расспросов было ясно, что у них делается дома. То, что для нас было верхом разорения, для них было верхом обилия. Еще можно было достать на пинском базаре масло и сало по ценам вдесятеро дешевле, чем на советской Украинѣ. Еще были припрятаны у лавочников запасы польских товаров. Попастъ к нам значило одеться, наесться и припасти для ребятишек. Пинчане были озадачены, глядя, как эти люди носили ночные рубахи как верхнюю одежду, спали без простынь, и в столовой заказывали сразу десять стаканов чаю. Почему десять? Очень просто: в прежние времена чаю хватало на всех, но теперь надо было «захватить» чай, пока давали. Через полчасга его уже не было для наивных пинчан, новичков советского быта, а рядом сидел человек за батареей чайных стаканов, весело улыбался и еще угощал знакомых.

Русские были осторожны и не пускались в откровенности о своем житье-бытье. Но наступала минута, когда после месяцев соседской жизни советский квартирант переставал дичиться своего хозяина, и после выпивки у него развязывался язык. Тогда мы слышали долго замалчиваемую правду.

— «Да понимаете ли вы, как вам хорошо было? — Вы в раю жили! Все у вас было — и страха не было! А мы — », и человек рвал на себе шинель: «видишь, что я ношу? Как эта шинель сера, так сера наша жизнь!»

И мы верили, потому что наша собственная жизнь стала

сера и тяжела так, словно загнали нас в погреб и завалили дверь камнем.

С растущим удивлением всматривались мы в лицо этой новой жизни. В советских учреждениях царствовал непостижимый и всеобщий хаос. Очень скоро пинчане научились говорить о своих «службах» с иронией и насмешкой. Когда самая большая в городе — спичечная фабрика увеличила число рабочих с 300 до 800, директор ее был снят с работы и выслан из Пинска, а вместо него принято сразу 14 инженеров. Оклад директора был велик в польские времена: 4.000 злот. в месяц. 14 новых инженеров, которые делали теперь его работу, стоили государству вместе немного дешевле, чем один этот директор, а может быть и дороже, — но, ко всеобщему изумлению, фабрика стала за недостатком сырья. Не хватало дерева среди полесских лесов. Нам стала уясняться обратная сторона планового хозяйства в советской системе: стихийная беспорядочность и разброд, естественная распущенность, с которой не было другого средства совладать, кроме железного намордника бюрократической регламентации. Стихийный беспорядок не был случайностью: он вытекал логически из отсутствия личной заинтересованности, из нелюбви и равнодушия к черному, казенному делу. Дело, к которому были приставлены люди, не ощущалось ими как свое: оно пренебрегало ими, а они — им. На фабрике были прогулы, в кооперативе бестоварье, в столовой грязь и неуютность, в парикмахерской грубое обращение, в мастерской небрежная работа. Чтобы бороться с этим, надо было поставить над каждым рабочим контроль, а над контролем второй контроль и НКВД с нагайкой. В этой системе поддержать продукцию можно было только жестоким принуждением, высокой нормой, голодным пайком и угрозой суда за малейшее опоздание или небрежность в работе. Если бы драконовский режим труда был сразу введен в Пинске, половина населения разбежалась бы из города. Нам давали время привыкнуть, тем более, что важнее города была деревня, которую надо было очистить от враждебных элементов и подготовить к введению колхозов.

Крестьяне, которые приходили на кухню моей матери с молоком и яйцами четверть века, не боялись говорить с ней откровенно. «Паны 20 лет старались из нас сделать поляков», сказал один из них, «и не удалось им. А большевики из нас в 2 месяца сделали поляков».

Такая декларация в устах полешука имела особую выразительность. Белорусское крестьянское население не любило

поляков. До войны среди молодежи в деревнях было не мало «коммунистов». Но ничто — ни национальный момент, ни раздел помещичьих земель, ни школы, ни бесплатная медицинская помощь — не могло преодолеть в глухой белорусской деревне антипатии к пришельцам. Чтобы завоевать доверие Полесья, надо было подойти к нему не бюрократически и доктринерски, — не с указкой и не с требованием хлеба и трудовой повинности. Надо было помочь ему стать на ноги, ничего не навязывая и уважая его самобытность. Но такой подход не в природе коммунизма. Переворот, который они осуществляли в городе и деревне, не был революцией. Революция есть всегда низвержение гнета и насилия, когда новые творческие силы сносят запоры на своем пути и вырываются и з н у т р и на свободу. Большевики же принесли с собой давление сверху, отрицание самоопределения и бюрократическое всевластие. Мужику не стало жить легче, но он почувствовал, что новый начальник опаснее и беспощаднее прежнего. А пинчане среди многих парадоксов жизни отметили этот: крестьян в очереди перед городскими пекарнями — крестьян, приходивших в город покупать хлеб, которого не стало в деревне.

Все это было неважно в отдельности: тысячи ограничений и лишений, отсутствие сообщения с внешним миром, исчезновение политических партий, даже отсутствие соседей, которых вывезли неизвестно куда. Совершенно очевидно, что пинчане — те, которых не вывезли и, которые, как умели, продолжали жить в новых условиях — со временем переболели бы свою и, особенно, чужую беду, и даже открытие, что в Советском Союзе люди живут много хуже, чем в Польше, со временем потеряло бы свою остроту.

Когда я спрашиваю себя, почему через самое короткое время в моем городе не осталось сторонников советского строя, почему не осталось никого. — кроме совершенно определенной и ясно очерченной группы, которая в массе населения выделялась как остров в море, — кто бы не хотел возврата к положению до войны, то ответ для меня ясен. Не потому, что это довоенное положение было хорошо и не нуждалось в изменениях. Не потому, что мы не могли померзнуть одну зиму или обойтись без белого хлеба, или были, наконец, так отсталы, чтобы не понимать своей собственной пользы. В прокламации о присоединении Познани и Лодзи к гитлеровской Германии говорилось о «высокой чести и неизмеримом счастье», которое выпало на долю бывшим польским городам. “Die hohe Ehre und unermessliches Glück”. Это была

ложь. То, что произошло в Пинске и вокруг него во всей Западной Белоруссии и Украине, было точно такой же ложью. Кто-то зажал нам рот и говорил от нашего имени. Кто то вошел в наш дом и нашу жизнь и стал в ней хозяйничать без нашего согласия. До сентября 1929 года пинчане спорили между собой и не могли сговориться по самым основным вопросам — но это было их внутреннее дело, и их внутреннее разногласие. Теперь не было споров и разногласий, потому что каждый видел своими глазами, что в доме чужие, которых никто не звал и никто не хотел, — непрошенные гости с отмычкой и револьвером. 17-го сентября 1939 года Польша была разорвана двумя хищниками, и мы могли предпочитать одного другому, но это не могло служить оправданием захвата и насилия. Мы не спорили с коммунистами и не полемизировали ни с ними, ни о них. Мы просто задыхались. И только тот, кто это пережил и знает по собственному опыту, поймет, что это значит, когда люди, недавно не имевшие общего языка, объединяются в общем возмущении. Ничто не могло помочь оккупантам. Крестьяне не были благодарны за помещичью землю, евреи не были благодарны за равноправие, больные — за бесплатную больницу, а здоровые — за пайки и работу. Все эти несомненные благодеяния не возбуждали благодарности, а только тревогу и опасение. Мы их видели, своих хозяев — и этого нам было достаточно. Кто раньше им сочувствовал и теперь побывал в России, возвращался сконфуженный и говорил, что был «в санатории, где его вылечили от болезни». Мы были единодушны в неприятии советских благодеяний и советских злодеяний. Все, чего мы хотели, — это не видеть их, забыть о них. На сто человек вряд ли тогда нашелся бы один, кто бы мог ответить на вопрос: «что такое демократия», но все мы, ученые и неученые, понимали тогда без рассуждений и слов разницу между демократией и деспотией. Все, что творилось, — происходило помимо нас и вопреки нам, вопреки нашей воле, нашему чувству и нашим потребностям. И правильно чувствовал в то время самый темный человек бесчеловечие и варварство не только в содержании, но в самом методе, в оскорбительном способе трактования людей и всего, что ими было создано для себя в тысячелетнем культурном процессе — как сорной травы, которую вырывают не глядя.

Понятие «погрома» соединяется нормально с представлением о внешней силе. Никакое нормальное общество не учиняет добровольно погрома над собой. Большевики пришли в мирную страну, которая, как многие другие или больше многих других, нуждалась в социальных преобразованиях. В течение

короткого времени они произвели в ней тотальный погром. Можно сказать, что количество зла и насилия, человеческих страданий и горя, которое они причинили, превысило в короткое время все, что эта страна вытерпела за ряд столетий. Рекорд, который они поставили, был превзойден только их продолжателями в 1941 и следующих годах — немцами. То, что они сделали, не вытекало из нужд страны, а было продиктовано бездушным и зверским доктринерством. Население в целом отшатнулось от них. Местные люди, которые к ним прикнули и помогли им образовать аппарат власти, были постепенно вовлечены в процесс, из которого уже не могли высвободиться.

Советский строй может быть навязан каждому народу и каждому обществу, кроме самого примитивного, — только силой. Нормальное и естественное развитие жизни противится тоталитарному, однопартийному и маниакальному строю. Реализация его неизбежно наталкивается на сопротивление, и никакая попытка сломить и искоренить это сопротивление не может быть доведена до конца, так как сопротивление возобновляется вечно сначала, пока существует упрямая и здоровая сила жизни. Таким образом, террор становится необходимым условием не только введения, но и дальнейшего функционирования системы.

По мере того, как развивалась советизация захваченного края, не могло остаться ни одной группы населения, ни одного человека, не отсеянного через решето государственного учетно-распределительного аппарата.

В первой половине 1940 года советизация привела к тому, что общество Западной Украины и Белоруссии распалось на следующие 3 части:

1) Люди, мало затронутые совершившейся переменой, в трудовом существовании которых не произошло коренного изменения: матрос на пароходе, служащий в конторе, пастух в поле. Большинство таких людей жило теперь хуже прежнего, но от того, что пароход, контора, поле из рук частных владельцев перешли в руки государства, т. е. начальства — порядок их жизни в основном не изменился.

2) Аппарат принуждения. По сравнению с польскими временами он разросся до гигантских размеров. Сюда входили: войско, милиция, бюрократия, агитаторы, пропагандисты, включая советское просвещение и прессу, — осведомители, шпионы и тайная полиция (причем о размерах этой последней, хорошо законспирированной, группы население в первое время и не догадывалось).

3) Люди, принудительно помещенные в условия, не соответствовавшие их воле и их интересам. Это была огромная и составлявшая абсолютное большинство часть населения.

И, наконец, особняком находилось «инородное тело»: миллионная масса беженцев, людей набежавших из занятой немцами зоны, выбитых из колен: миллион людей, ненормальное существование которых было в основе результатом немецкого нашествия, а не советизации западных областей.

Ю. Марголин.

ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ *)

Противоположности русской души, ее крайности и ее неудовлетворенность, может быть, особенно ярко и разительно выступают перед нами в лице одного из наиболее блестящих представителей русского высшего слоя — «великолепного князя Тавриды», Потемкина. Его личность поразительна по своим ярко выявленным народным чертам, именно с точки зрения народно-психологической. Не буду останавливаться на любви Потемкина ко всему русскому простонародному: его привлекают в еде редька и квас (наряду с изысканнейшими кушаньями роскошной кухни), он любит смотреть русскую пляску, он срочен с подробностями церковного быта, он доступен и ласков с простыми людьми. Нет, именно глубины, резкие и глубочайшие противоположности его характера коренным образом связывают его с народной стихией. Для нас эти противоположности, может быть несколько затемнены искажением облика Потемкина как государственного деятеля через призму «потемкинских деревень», как символа будто бы его государственной деятельности. Нужно решительно распротиться с этим искажением и игнорированием истории. Потемкин, как государственный деятель — один из плодотворнейших и наиболее одаренных сынов России, творец Новороссии, колонизатор, администратор, градостроитель огромного творческого размаха, осуществивший в своей жизни столько государственно значительного, что хватило бы на много жизней. Для него характерно напряженное творческое кипение. Во время его головокружительных по быстроте поездок (по тогдашним временам) в санях с Юга России в Петербург и обратно, он из шестнадцати ночей спит только три, остальное время он беспрестанно диктует сменяющим друг друга секретарям и адъютантам приказы и распоряжения, осматривает ново-строющиеся города и деревни, посещает сооружаемые по его приказанию больницы, школы, фабрики, крепости, гавани, церкви, делает смотр войскам,

*) Глава из книги «Из русской культурной и творческой традиции».

принимает депутации, беседует с местным населением, особенно часто посещает церковные службы и беседует с духовенством, внимательно входит в подробности быта и положения солдат. Ибо он и военный реформатор: он стремится радикально улучшить положение солдат — улучшением их одежды (сделавши ее более практичной, теплой, удобной), заботой об их здоровьи, хорошем питании и, главное, требованием внимательно-человеческого, отеческого к ним отношения. Известны его письма к Суворову, его приказы, направленные к этой цели. «Г.г. офицерам гласно объявить, чтобы с людьми обходились со всевозможной умеренностью, старались бы об их выгодах, в наказаниях не преступали бы положения, были бы с ними так, как я, ибо я их люблю как детей». Употребление солдат на частные работы командиров воспрещалось им под страхом строгого наказания. Он строго следил и за правильностью снабжения солдат пищею и одеждою, требовал соблюдения санитарных правил, опубликованных им в 1788 году, и вторично (после Петра Великого) учредил должность инспекторов в армии.¹⁾ Далеко опережая свой век, Потемкин вставал против битья солдат. «Паче всего я требую, чтобы обучать людей с терпением и ясно толковать способы к лучшему исполнению. Господа полковые и батальонные командиры долж имеют испытать наперед самих обер- и унтер-офицеров, достачны ли они сами в знании. Унтер-офицерам и капралам отнюдь не позволять наказывать побоями, а понуждать ленивых палкою не больше шести ударов».²⁾ В заботе о людях входил он в самые мелкие подробности, как явствует, например, из следующих писем его к Суворову:

«Ввожу корпус егерей екатеринославских, но с тем, чтобы его не употреблять ни в работы, ниже в караулы. Он наполнен молодыми людьми, коим дать время нужно еще окрепиться».³⁾ «Прикажи, мой друг сердешный, полковым командирам, чтобы людей поили квасом, а не водой, и чтобы кормили их травными штями; ежели есть рыба, то бы круто ее солить, а свежей не варить».⁴⁾ «Проезжая Шлиссельбургский полк, видел я, что у нево двойная цепь часовых. Напрасно полковой командир мучит

1) Ловягин: «Кн. Г. А. Потемкин-Таврический» — «Русский библиографический словарь», VIII (1905). Стр. 656.

2) «Приказы в войска, начальству моему Высочайше вверенные» — «Русская Старина», 1873 г., т. II, стр. 722.

3) 24 ноября 1787 г. — «Русская Старина», 1875 г., Май, стр. 23.

4) 30 марта 1788 г. Там же, стр. 31.

людей». ⁵⁾ «Что Вы только придумать можете к утешению больных, все употребляйте: я не жалею расходов. Вода ли дурна, приищите способ ее поправлять переваркою или уксу-сом; винную порцию давайте всем. В жарких местах наружная теплота холодит желудок, то и должно ево согреть спир-том». ⁶⁾ В другом письме к Суворову он просит его отменить ненужные побои и опять таки внушает ему усиленную заботу о питании солдат: «кашу варить погуще, в дни не постные с маслом; когда тепло, заставляя людей купаться и мыть свое белье; пища должна быть всегда горячая; котлы нужно почаще лудить». ⁷⁾

Замечательны и государственно-мудры его меры по отношению к инородческому населению Юга и Востока России. Он сохраняет им их самоуправление, обычаи, нравы. Присоединение Крыма он старается облегчить и закрепить тем, что за татарами сохраняются самое широкое самоуправление и полная религиозная свобода, с оставлением на их должностях прежних местных властей и духовенства. Им учреждаются в новоколонизируемых или новоприсоединенных местностях школы русские, греческие (для греческих колонистов), татарские и он заботится о составлении и издании учебников для этих школ. Благодаря своей доступности и внимательности к их нуждам, он очень популярен среди восточных народностей. Он — один из крупнейших представителей идеи терпимой, считающейся с интересами отдельных народных групп и великодушно-гуманной, русской империи на востоке. В его бумагах были найдены бесчисленные прошения на грузинском, армянском, персидском, киргизо-казахском, калмыцком, молдавском, турецком, татарском и других языках. ⁸⁾

Он проявляет самую широкую терпимость с тем, чтобы привлечь к положительной работе государственной самые разнообразные круги населения. Екатерининская политика веротерпимости по отношению к старообрядцам вдохновлена им. По его инициативе руководящие старообрядцы подают прошение Императрице с просьбой о даровании им религиозной свободы и поставлении им своего старообрядческого епископа; заключительная часть этого обращения старообрядцев к Импе-

⁵⁾ 29 марта 1788 г. «Русская Старина» 1875 г. Май, стр. 33.

⁶⁾ 20 августа 1788 г. Там же, стр. 39.

⁷⁾ 12 апреля 1788 г. См. Масловский: «Письма и бумаги А. В. Суворова, Г. А. Потемкина и П. А. Румянцева». СПб, 1894, стр. 224.

⁸⁾ А. Ловягин, стр. 657.

ратрице написана самим Потемкиным. В полной мере их желание не было осуществлено (отсюда возникло впоследствии единоверчество — робкая попытка власти пойти им навстречу), но свободу вероисповедания они в широкой степени получили. Великодушна, полна размаха и сознания государственных интересов его политика по отношению к переселенцам, колонизирующим новые области. Большой размах и верный, практический глазомер в его политике градостроения. Он строит следующие города и местечки: Николаев, Херсон, Екатеринослав, Севастополь, Мелитополь, Алешки, Нахичевань, Мариуполь, Екатеринодар, Ставрополь, Георгиевск и всю Моздокско-Кизлярскую укрепленную линию вдоль Кавказа и т. д. Через два года после основания Херсона, последний уже был центром морской торговли; в нем основываются верфи и морские школы. Через четыре года после основания Херсона нерасположенный к Потемкину современник, гетман Разумовский, удивляется мощному росту города, где между прочим уже находится гарнизон в 10.000 солдат. Это не «потемкинские деревни», а многочисленные действительно построенные деревни и города, в которых Императрица и ее свита (и часто критически-враждебно настроенные иностранные гости) могли остановиться и жить. Тот же Разумовский, путешествуя около этого же времени в частном порядке по степям Новороссии, был поражен изумительной колонизаторской деятельностью Потемкина. Какой размах — повторяю — в этих его планах градостроительства, не всецело осуществленных из-за Второй Турецкой войны (так, в Екатеринославе замышляет он великолепный собор — подражание римскому собору св. Павла — на высокой террасе посреди города; тут же судебные учреждения в стиле древней римской базилики императорских времен и центральный очаг торговой жизни города в стиле афинских пропилей, с биржей и театром, далее университет, академия художеств, музыкальная академия и т. д.) и как много им было действительно осуществлено! Он поистине — отец и творец Новороссии. Он входит при этом в самые разнообразные жизненные подробности, касается в своих творческих мероприятиях самых различных сторон жизни. Вот ряд распоряжений его относительно дальнейшего устройства и развития города Николаева, этого любимого его детища, построенного по тщательно и стройно продуманному плану приглашенного им итальянского архитектора: Построить кадетский корпус на 360 человек, расширить казармы, основать монастырь — Спасско-Николаевскую лавру, «на что и план дан». Доходы с лавок, выстроенных у биржи, с погребов, с трактиров и кофейни определить изволил на

церковь св. Георгия Великия Армении, на жалованье священникам, певчим и на содержание увечных. Церковь аспидом покрыть, а главу и шпиг на колокольне вызолотить». «В Богоявленске под Николаевым основать сельско-хозяйственную опытную станцию и школу по английскому образцу («это уже делается» — замечает по этому поводу Фалеев, на которого Потемкиным была возложена ответственная работа в деле строительства). Основать мельницы, инвалидный дом и новую больницу, предназначенную также для больных из Херсона, так как местоположение и вода в Николаеве здоровее, чем в Херсоне. Нынешние временные помещения для госпиталя использовать под склады. Развести аптекарский сад. Для приобщиванья иностранцев к поселению в Николаеве исходатайствовать сему городу порто-франк на 20 лет. Фонтаны все в Богоявленском и Николаеве мрамором обделать. Баню турецкую торговую построить», и. т. д.⁹⁾

Но Потемкин не только основатель многих городов, он вместе с тем и творец русского черноморского флота. Масса стараний затрачивается им на создание флота, верфей, гаваней. Он садит большие леса для нужд флота на Юге России, заводит лесопильные мельницы, готовит кадры опытных лоцманов и т. д.¹⁰⁾ Он заботится о подъеме земледелия, о введении новых отраслей промышленности. Много ремесленников призвано им из центральной России и из-заграницы и поселены им в Новороссии на льготных условиях. Произведены большие посадки тутового дерева для подъема шелководства. Особенное внимание посвящает он улучшению качества русской шерсти и качества ее выделки. «Что же касается до области Таврической, там хлебопашество год от году усиливается. Виноград Венгерской дал уже первый плод; вино делается лучше прежнего, водку Французскую гонят лучше настоящей, а через год конечно большее количество оной будет».¹¹⁾

Большой интерес посвящает он вопросам культуры и особенно религиозной жизни. Он большой покровитель науки, в частности и богословской. Ученому архиепископу Евгению Херсонскому пишет он: «Я препоручаю в любовь Вашу Английского дворянина, г. Полкес, любителя наук и знающего оные,

⁹⁾ «Какие приказания были Его Светлости Обер-штетер-крикс-комиссару Фалееву о строениях в городе Николаеве» — «Русская Мысль», 1874 г., II, стр. 291.

¹⁰⁾ Там же, стр. 298-299.

¹¹⁾ Донесение кн. Потемкина Императрице Екатерине от 8 октября 1786 г. — «Русский Архив», 1865 г., стр. 747.

особенно Греческий язык. Как Вы соединяете в себе знание разных языков, то Вы наш Исиод, Страбон и Златоуст. Возьмите же труд сделать описание исторического нашего края, что он был в древности, где искони были славные мужи и обилующие грады: Ольвия, Мелитополь, острова Ахиллеса пути и прочая. Разройте покрывающую деяния древность и покажите, как тут цвели общества и как разрушили оные войны или нашествия народов диких, где проходил Джингис-хан с листьями полками . . . »¹²⁾

Это — одна сторона Потемкина: неутомимая, горячая, кипучая деятельность. Но с ней соединялась и физическая и психологическая реакция: неутомимый прожектор и вместе с тем практически деятельный исполнитель предносившихся ему гениальных замыслов, столько без усталости разъезжавший, — отдается часто, когда он может спокойно сидеть на месте, влечению к физическому сибаритству. Он лежит с утра на кушетке, нечесанный, в туфлях на босу ногу и в халате и принимает в таком виде генералов и посланников и в таком же виде, лежа, отдает самые разнообразные распоряжения и, не записывая, ведет одновременно три разговора (как свидетельствует французский посол граф де-Сегюр) и помнит все. И опять новая противоположность: халат и туфли сменяются на роскошный кафтан, осыпанный брильянтами. Потемкин выходит к войскам, принимает парад. Сгорбленный растрепанный «вахлак» превращается в красавца-вождя, представительного и блестящего, представляющего мощь и гордость империи, или в восточного калифа, пирующего в сказочных подземных чертогах своей главной квартиры в Бендерах. Какой он артист в этой роскоши, как любит он стройные дворцы в антично-зачарованном (как дворцы и виллы Ренессанса) или восточно-зачарованном вкусе, с фонтанами на фоне сказочно манящих садов (см. его письмо к кухне Прасковье Андреевне Потемкиной, где он набрасывает план такого дворца с такими садами).¹³⁾ Какое незабываемое впечатление на современников и потомство произвел его знаменитый праздник, данный в 1791 году в Таврическом дворце Екатерине, с горением бесконечных люстр (весь воск, имевшийся в Петербурге, был скуплен для этого праздника), с огромным золоченым слоном, осыпанным драгоценными камнями, и с персиянином, сидящим на нем (оба — автоматы), который должен был подавать сигнал к празднику, — с ослепительно иллюминированным зимним садом, где

¹²⁾ «Русский Архив» 1879 г., III, стр. 19.

¹³⁾ «Русская Старина» 1875 г. Июнь. Стр. 166, 167-168.

среди бьющих фонтанов возвышалась статуя Екатерины из паросского мрамора и пирамида, оправленная в золото и осыпанная драгоценными камнями с вензелем Екатерины. Безумная, но полная артистического огня и темперамента роскошь и такая же безумная иногда расточительность — в его главной квартире в Бендерах. У князя 500-600 слуг; кроме того, 200 музыкантов, целый кор-де-балет, 100 вышивальщиц и 20 ювелиров. Француз Ланжерон описывает великолепный восточный киоск, сооруженный Светлейшим. Повсюду блистает золото и серебро. На восточном диване, светлорозовом с серебром, полулежит Светлейший; кругом него элегантные молодые дамы в роскошных костюмах. В день св. Екатерины у него парадный обед в ставке: по правую его руку сидит молодая красавица, княгиня Екатерина Долгорукая, за которой он ухаживает. Во время десерта передают вокруг стола хрустальные чаши, наполненные брильянтами, и дам просят взять себе из них на память.

Как это примирить с гениальными планами государственного строительства, действительно при этом о с у щ е с т в л е н н ы м и в ш и р о ч а й ш е м м а с ш т а б е, с ревностной, настойчивой заботой о здоровой и хорошей пище для солдат, или о производстве своего русского (пускай недостаточно тонкого) сукна для армии на Юге России, из которого он и себе шьет мундир, чтобы этим дать пример офицерам,¹⁴⁾ с этим повышенным — может быть, болезненно повышенным — чувством ответственности за жизнь солдат, заставляющим все откладывать штурм Очакова, с чувством ответственности за весь ход Второй Турецкой войны и за судьбы России на Черном море, и вообще, за всю русскую внешнюю политику? «При удачах, чем они будут больше, тем должна быть наша политика умереннее», — внушает этот мудрый и гуманный политик своим сотрудникам.¹⁵⁾

Но еще большее внутреннее противоречие открывается перед нами: этот честолюбец, жаждущий почестей, славы, деятельности и власти, этот сластолюбец, неумеренный в еде и в ухаживании за красивыми женщинами, этот любитель роскоши и драгоценных камней, этот сибарит и ленивец, и

14) «В самое то время, когда он так шегольски одевался и так нарядом своим занимался, приказал сделать себе и мундир из солдатского сукна, дабы подать пример недостаточным офицерам» — «Записки Л. И. Энгельгардта (1766—1836)». Москва (1867 г.), стр. 106.

15) Письма к графу А. А. Безбородко — «Русский Архив», 1873 г., III, стр. 1686.

вместе с тем вечно работающий и открывающий новые горизонты государственный деятель, этот столь жадно платящий дань жизни человек, столь сросшийся с жизнью, с ее блеском, ее творчеством, с ее упорным трудом, — он вместе с тем — и в этом величайшее, в корень идущее, трагическое противоречие — пресыщен жизнью, ее суетой и блеском, он внутренне устал, неудовлетворен, исполнен мучительной хандры. Целыми днями он запирается иногда от своих приближенных, никого не видит, не принимает, лежит нечесанный, грызя ногти, не в силах заняться работой. Важнейшие государственные дела требуют решения, но великолепный князь Тавриды — несчастный, тоскующий, не могущий пересилить себя человек, больной душой, потерявший вкус к жизни, потерявший внутренний стимул к деятельности. Типичен следующий рассказ молодого его родственника Энгельгардта: «В один день князь сел за ужин, был очень весел, любезен, говорил и шутил беспрестанно, но к концу ужина стал задумываться, начал грызть ногти, что всегда было знаком неудовольствия, и, наконец, сказал: 'Может ли человек быть счастливее меня? Все, чего я ни желал, все прихоти мои исполнились, как будто каким-то очарованием: хотел чинов — имею, орденов — имею; любил играть — проигрывал суммы несчетные; любил давать праздники — давал великолепные; любил покупать имения — имею; любил строить дома — построил дворцы; любил дорогие вещи — имею столько, что ни один частный человек не имеет так много и таких редких; словом, все страсти мои в полной мере выполнялись'. С сим словом ударил фарфоровую тарелкою об пол; разбил ее в дребезги, ушел в спальню и заперся». «Если записывать все его таковые странности, то можно бы наполнить огромный том», — добавляет Энгельгардт.

Здесь, в этих противоречиях князя Потемкина, в этой его безудержной хандре, в этом искании — и в конечном итоге ненахождении внутреннего заполнения жизни, мы встречаемся со знакомой нам, глубоко русской чертой — искания и неудовлетворенности души, не простой хандры пресыщенного человека (и это играло, конечно, роль у Потемкина), а некоего «метафизического», даже более того — религиозно заостренного томления. В этом убеждает нас составленный им — по видимому, в самые последние годы его жизни — «Канон Спасителя», найденный в его бумагах, сохранившихся у его племянника графа А. И. Самойлова с означением имени составителя. Потемкин всегда, всю жизнь, был религиозен, в моло-

дости был даже студентом Духовной Академии, собирался пойти в монахи, был богословски хорошо образован и любил рассуждать на богословские темы — о вселенских соборах, о разделении Церквей. Но здесь больше, здесь не «бытовая» только, унаследованная религиозность, здесь крик души, жаждающей спасения, ищущей твердой опоры, среди преходящести окружающей суеты и молящей о милосердии и прощении, здесь голос горячей и крепкой веры. Иисус Христос распятый и милосердный становится в центре его духовной веры.¹⁶⁾

«Великолепный» князь Потемкин-Таврический — самая блестящая, но парадоксально-оригинальная персона Екатерининского двора, более того — повидимому, тайно венчанный законный супруг Императрицы Екатерины, 18 лет вместе с ней правивший судьбами России, этот окруженный блеском фаворит судьбы, вместе с тем и глубоко народен в корнях своей психологии гениального чудака, человека с изумительным чутьем и неподражаемого виртуоза жизни, и вместе с тем болезненно тоскующего человека. Но так же глубоко народно и его горящее религиозное чувство, порыв души его к Богу. Потемкин органически связан с основоположными глубинами русской народной души, он типически русский и в своей гениальной виртуозности и в своих недостатках и противоречиях. О нем так пишет его приятель и современник, талантливый принц де-Линь: «Потемкин кажется лентяем, а работает без усталости; письменным столом служат ему собственные колени, гребнем — собственные пальцы; он постоянно лежит, но не спит ни днем ни ночью, ибо усердие к его государыне, которую он обожает, беспрестанно двигает им . . . Боязливый за других, он не боится за себя; перед опасностью тревожится, а при наступлении ее веселится; тоскует среди своих удовольствий; несчастен от избытка счастья; все ему приелось, легко теряет вкус ко всему; то искусный министр, то десятилетний ребенок; не мстительный, просит прощения за причиненное горе, быстро исправляет сделанную несправедливость; любит Бога, но боится чорта; одной рукой делает крестное знамение, а другой посылает привет хорошеньким женщинам; то подозрительный, то добродушный, то свирепо хмурится, то очаровательно приветлив; похож то на надменного восточного сатрапа, то на любезнейшего царедворца Людовика XIV; под видимостью жестокости человек с очень мягким сердцем. В чем же его чародейственная сила? — В гении, и еще в гении,

¹⁶⁾ Текст Канона напечатан в «Русском Архиве» 1881 г., II.

и опять таки в гении (Du génie, et puis du génie, et encore du génie)»¹⁷⁾

Мы добавим, что это не только гений, но и русский гений,¹⁸⁾ — во всех своих недостатках, но и в искании спасения и прибежища в милующей руке Божией.

Николай Арсеньев.

17) *Lettres et pensées du Maréchal Prince de Ligne*. Paris, 1809, pp. 164–167.

18) Срв. очень верное суждение другого приятеля Потемкина, также весьма умного и наблюдательного француза — графа Сегюра, французского посла в Петербурге: «Потемкин может служить живым олицетворением Империи Российской: подобно ей, исполин, он совмещает в своем уме области плодоносные и степи».

ПОД ИТАЛЬЯНСКОЙ ОККУПАЦИЕЙ

(Глава из военных воспоминаний)

В ночь с 7-го на 8-ое ноября 1942 года произошла высадка американцев в Африке, а через несколько дней западная часть побережья Средиземного моря, от испанской границы до Тулона, была занята немецкими войсками, восточная же — итальянскими. Что касается самого Тулона, то Гитлер оставил его пока в распоряжении французских военных властей. Мы оказались в итальянской зоне.

Первые две недели происходили непонятные нам передвижения войск. Приходила к нам пехота и уходила. Ее сменяли блиндированные части, тоже куда-то исчезающие и заменяющиеся артиллерией. Рылись блиндажи, устанавливались батареи пушек. И вдруг пушки снимались и увозились, в нашем районе не оставалось ни одного солдата. По шоссе, ведущему от Тулона в Ниццу, войска двигались густыми массами: итальянцы продвигались в западном направлении, а немцы — в восточном, следуя в Италию.

Местные жители с замиранием сердца следили за этими передвижениями войск, толкуя их вкривь и вкось и сообщая друг другу сенсационные слухи. Ждали со дня на день высадки союзников на нашем побережье, передавали, что кто-то видел в море английскую эскадру или что высадка уже произошла где-то возле испанской границы. Особенно долго держался слух о том, что будто бы префектура получила распоряжение об эвакуации всего населения на 30 километров от берега моря. Но время шло, и никаких перемен в нашей жизни не происходило.

Большое возбуждение и патриотический подъем вызвал сабордаж французского флота в Тулоне 26 ноября. В связи с этим ожидали каких-то крупных событий. Но событий не произошло никаких, кроме занятия немцами Тулонской крепости и фактического уничтожения «Zône libre», разделенной между немецкими и итальянскими оккупантами. Через две недели после появления у нас итальянцев массовые передвижения войск прекратились, и наш фронт стабилизировался.

Французское население встретило итальянцев враждебно. В каком-то смысле французам было легче подчиниться немцам, которые победили их благодаря своей военной мощи. Итальянцы же напали на Францию, уже побежденную немцами. Подчинение такому слабому врагу было особенно унижительно для национальной гордости. Помню, как некоторые из знакомых французов говорили мне, что предпочли бы итальянской оккупации немецкую, как менее унижительную.

Но милые, веселые и деликатные итальянские солдаты вскоре завладели симпатиями всего местного населения, чему, конечно, весьма содействовала и близость провансальского и итальянского языка.

В первый же день оккупации итальянская комендатура издала обязательное постановление о запрещении всему гражданскому населению циркулировать по дорогам вне городских поселений после захода солнца. Между тем, мой зять К., задержавшись в Лаванду в очереди для получения молока для моих внучат, вышел в Фавьер уже после запретного часа. Его остановил итальянский часовой. Мой зять, пустив в ход знакомые ему итальянские слова — «*Mea casa, bambino, latte*», — объяснил часовому, что он идет домой и несет детям молоко. Итальянец с добродушной улыбкой его пропустил. Конечно, немецкий часовой и даже французский не решились бы нарушить приказание своего начальства, и дети остались бы без молока.

Я упомянул об этом незначительном эпизоде, так как он характерен для того режима, в котором мы жили под итальянской оккупацией. Двадцать лет фашистского управления не могли изменить характера итальянского народа и его добродушной беспечности. В армии все делалось «по домашнему», несмотря на строгие приказы начальства.

Каждый день, когда солдаты приходили в обеденное время за пищей, раздача которой происходила перед дверью моей комнаты, появлялся итальянский офицер, выстраивал солдат и читал им очередные приказы. В них говорилось о запрещении солдатам общаться с местным населением, о том, чтобы они арестовывали всех жителей на дорогах, по которым запрещено ходить, и о всяких других строгостях. Солдаты слушали эти приказы и . . . продолжали ходить в гости к местным жителям, которые продолжали циркулировать по всем запрещенным дорогам и тропинкам. Я лично всегда ходил в Лаванду по наиболее коротким тропинкам, равнодушно читая попадавшие мне надписи: «*Défense de passer*» и встречая на своем пути итальянских солдат, которые никогда меня не останавливали.

Только раз меня задержал итальянский офицер на тропинке, проходившей между окопами и проволочными заграждениями, но и то, попросив меня впредь тут не ходить, не вернул обратно домой, а любезно указал—как идти дальше, выбравшись из запрещенной зоны укреплений.

Как-то был опубликован приказ о запрещении ездить в Тулон без особого разрешения итальянских военных властей. Но, так как никаких мер не предпринималось, чтобы следить за исполнением приказа, а на лицах путешественников не было написано, что они едут именно в Тулон, то все продолжали ездить без всяких разрешений.

Однажды мне нужно было зайти в Лаванду, в итальянскую комендатуру. Но нигде я не мог найти соответствующей надписи. Наконец встречный солдат указал мне на ворота какого-то сада. Ни у ворот, ни дальше в глубине сада не было часовых. Я уже собирался уйти, решив, что мне ошибочно указали местонахождение комендатуры, когда на открытой террасе увидел двух итальянских офицеров и узнал от них, что я пришел туда, куда хотел. Весь этот добродушный беспорядок, царивший в итальянской армии, вполне соответствовал характеру итальянского народа.

Разница в характере двух народов оказала свое влияние и на большую человечность, если можно так выразиться, фашистской диктатуры по сравнению с национал-социалистической. За все время пребывания в наших местах итальянских солдат я не помню ни одного случая кровавой расправы их с местными жителями. А вот случай, происшедший на моих глазах:

Когда был издан приказ о сдаче военным властям всего оружия, наш сосед, старый крестьянин, не мог расстаться со своим револьвером и с охотничьим ружьем. Вероятно, кто-нибудь из соседей донес на него, и основательно запрятанное оружие было найдено. Старика арестовали и увезли в Иер. Мы думали, что больше его не увидим. Но через неделю он вернулся. Очевидно, итальянские власти поняли, что мотивом укрывательства оружия была просто скаредность старика, и отпустили его на все четыре стороны. Если бы такой случай произошел под немецкой оккупацией, его бы, конечно, расстреляли или, в лучшем случае, сгноили в концлагере.

Большая мягкость итальянского фашизма сказалась и в еврейском вопросе. Во внутреннее управление итальянцы не вмешивались, оставив его целиком в руках правительства

Виши. Но, когда в департаменте Alpes Maritimes, который Муссолини предполагал присоединить к Италии, французские власти попытались арестовывать евреев и выдавать их немцам на уничтожение, итальянское командование запротестовало, и аресты прекратились. Правда, в угоду своим союзникам, итальянцы сделали антисемитский жест, заведя в этом департаменте нечто вроде черты оседлости, и стали выселять евреев из Ниццы в ее окрестности. Но только и всего.

Жили мы в самом центре итальянского лагеря и в постоянном общении с итальянскими солдатами. Худшие условия жизни трудно себе представить.

С двух сторон нашего дома расположились две ротных кухни. Одна из них находилась рядом с моей комнатой в гараже, и топящаяся плита нагревала мою стену. Зимой это было даже приятно, но летом жара становилась мучительной. Повара приходили затапливать печь в 5 часов утра. Стучали, шумели и галдели так, что спать было невозможно. А в 6 часов утра около моей двери уже толпились солдаты, пришедшие за утренним кофе. Каждый день к нашему дому длинными вереницами подходили вьючные мулы с продуктами. Своими копытами они так растолкли землю перед домом, что жить нам приходилось в сплошной пыли. Итальянские повара не отличались опрятностью и не соблюдали никаких правил санитарии. Рядом с домом гнили в кучах капустные листья, очистки картофеля и других овощей. Тут же валялись использованные говяжьи кости. Поэтому мух расплодилось столько, что от них не было покоя. Мы боролись с ними всякими отравами, но это мало помогало. Каждое утро я выметал из своей комнаты большие кучи дохлых мух, но рождаемость их значительно превышала их смертность . . . Сверх всего этого приходилось жить в постоянном тесном общении с поварами, каждый вечер приходившими с нами поболтать и послушать радио, стоявшее в нашей столовой. Часто итальянская радио-передача происходила во время нашего обеда, и наша столовая заполнялась солдатами. Отказать им в этом естественном желании слышать вести с родины мы не решались, но обедать в окружении солдат было довольно тяжело.

И все-таки я не без удовольствия вспоминаю все эти чудовищные неудобства нашей жизни во время итальянской оккупации, ибо они скрашивались исключительно добрыми и даже сердечными отношениями, установившимися между нами и случайно заброшенными к нам представителями симпатичного итальянского народа.

Повара, поселившиеся в нашем доме, скоро сделались нашими друзьями. По вечерам мы подолгу с ними разговаривали. Несмотря на то, что мы говорили с ними на импровизированном языке, представлявшем собою смесь итальянских, французских и латинских слов, они хорошо нас понимали так же, как и мы понимали их разнообразные наречия — неаполитанское, римское, пьемонтское и др., сильно друг от друга отличающиеся. Свою речь они дополняли необыкновенно выразительной жестикующей. Постепенно мы узнали, как они жили в своих мирных итальянских деревушках, узнали состав их семей и хозяйства; рассматривали фотографии их жен, детей и родителей; выслушивали повествования об их походной жизни в разных странах.

Когда на Пасху наш главный повар, старший капрал Греко и его помощник Марсилио получили отпуск в Италию, я послал их женам по крашеному яйцу. А по возвращении они привезли нам от них приветы и какие-то пасхальные печенья.

Наблюдая близко нашу жизнь, они не могли не заметить скудости нашего питания. И вот, по утрам на подоконнике нашей столовой стали появляться солдатские лядунки с кофе. Кое-когда по вечерам они приносили нам остатки своего обеда: ризотто, макароны, бобы, сильно пропитанные прованским маслом, которого мы уже давно не употребляли в пищу. Иногда появлялся за нашим столом превкусный круглый итальянский хлеб. А порой наши друзья таинственно приносили нам кости для супа, куски мяса и, в торжественных случаях, — даже коньяк.

Когда моя дочь заболела и недели две лежала в больнице, то один из поваров, сжалившись над одиноким стариком, ежедневно приносил мне порцию обеда из своей кухни. Это был молодой парень из глухой деревушки в Сардинии. Как-то застав меня за чтением толстой книги, он спросил, что в ней написано. Узнав от меня, что книга исторического содержания, он сказал, что очень интересуется историей и хотел бы читать исторические книги, но пока еще недостаточно для этого образован. Оказалось, что в детстве, будучи пастухом в своей деревне, он не мог посещать школы и научился грамоте лишь на военной службе. С тех пор его обуяла страсть к учению. Каждый день после обеда, когда другие повара отдыхали, он забирался с одним из своих хорошо грамотных друзей в стоявший против моей двери кузов старого автомобиля и с невероятным прилежанием обучался у него арифметике.

Через поваров у нас завелись многочисленные знакомства

среди итальянских солдат. Офицеры более придерживались предписаний начальства не вступать в общение с местными жителями, и знакомство с ними у нас было лишь внешнее. Впрочем, один из них, бывший учитель гимназии и убежденный фашист, кое-когда к нам заходил и даже разговаривал на политические темы, доказывая преимущество фашистского строя над демократическим. Несмотря на то, что мы не скрывали, что придерживаемся иных взглядов, он был с нами изысканно любезен и корректен. Впрочем, у него была особая причина поддерживать с нами добрые отношения: повидимому, у него в Ницце завелся роман с какой-то французенкой, и он просил мою дочь разрешить ему пользоваться ее адресом для переписки . . . Жил в Фавьере еще один убежденный фашист ротный фельдфебель. Но и он был с нами любезен и услужлив.

Вообще из наблюдений над поведением и нравами представителей итальянской армии у меня составилось впечатление, что прививки воинствующего национализма немцам и итальянцам дали весьма различные результаты.

Большинству рядовых солдат фашистская идеология была совершенно чужда. Сам Муссолини вначале еще пользовался у них большим престижем, но к фашистам большинство из них относилось отрицательно. «Мы принадлежим к королевской армии, а не к фашистской», с гордостью говорили они и с презрением отзывались о фашистских частях, которые пользовались привилегированным положением и преимущественно держались в тылу для поддержания порядка.

Когда я у своего приятеля, капрала Греко, спросил, не фашист ли он, он хитро подмигнул, расставил руки и попеременно опуская и поднимая их, ответил: «Fascista, no fascista». Очевидно, в чине старшего унтер-офицера ему приходилось лукавить со своим начальством и надевать фашистскую маску, но в любой момент он готов был ее снять.

Среди солдат, стоявших в Фавьере, было довольно много побывавших на русском фронте. Все они носили красную ленточку в петлице, отличаясь этим от других своих однополчан. Многие провели в России полгода и больше. Даже научились немного говорить по-украински, охотно разговаривая с нами на смеси украинского языка с итальянским.

О русском народе и о его страданиях во время войны они отзывались с большой симпатией и соболезнованием: «Жинки, дити, бидные. Хлиба нема, сапоги нема . . .» Рассказывали, как при отступлении русских войск они уводили с собой все мужское население, кроме стариков и детей, увозили запасы хлеба

и провольствия, сжигая то, что не успевали увезти. Затем пришли немцы и забрали все, что еще оставалось. А затем появились партизаны, вынужденные тоже жить грабежом местного населения.

Очень образный рассказ я слышал от одного итальянца о том, как различно складывались отношения между населением, с одной стороны, и немцами и итальянцами, с другой:

«Итальяшка*)» приходит в деревню и говорит: «хлеб е?» — «Нема хлеба». И верно, видим — «нема».

Видя перед собой голодных женщин и детей они сами делились с ними пищей, а женщины за это им стирали и починяли белье.

— «Тедеско приходит, говорит: «хлеб е?» — «Нема хлеба». Тогда тедеско бье жинок.

В конце концов избитая женщина отдает немцам последнюю краюху.

А когда зимой приходилось останавливаться на ночлег в украинских деревнях, «итальяшки» устраивались в избах вместе с их обитателями, а «тедески» всех выгоняли на мороз.

Столь же различно было отношение немцев и итальянцев к пленным. Итальянцы обязаны были всех своих пленных отправлять и сдавать немцам. И вот, когда они везли своих пленных, то кормили их так же, как кормятся итальянские солдаты. А немцы, перегружая их в свои поезда, напихивали вагоны до отказа и запирали их, везя в течение нескольких дней в нетопленных вагонах без пищи и питья. Само собой разумеется, что многие из пленных заболели и умирали, еще не доехав до места назначения.

А вот еще один рассказ итальянца, сражавшегося под Харьковом против русского женского полка.

Немцы отказывались признавать женские полки за воинские части, считая их партизанами. А партизан брать в плен не полагалось. Само собой разумеется, что, зная это, женщины-солдаты дрались до последней возможности. Все-таки нескольких женщин итальянцы захватили в плен, и солдат, рассказывавший мне эту историю, состоял в конвое, отвозившем их к немцам.

Немцы, приняв пленных, решили расстрелять всех на месте. Женщины другого и не ожидали. Только попросили, чтобы им разрешили предварительно вымыться в бане и высти-

*) Говоря на русском языке, они всегда называли себя «итальяшками», т. е. так, как их, очевидно, звали местные жители.

рать свое грязное белье, чтобы умереть в чистом виде, как полагается по старым русским обычаям. Немцы удовлетворили их просьбу.

И вот она, вымывшись и надев чистые рубахи пошла на расстрел . . .

Одну из пленниц итальянцам все-таки удалось спасти от смерти и переправить в Италию, где по сведениям рассказчика, она прижилась и хорошо себя чувствует.

Во всех рассказах итальянцев о России проявлялась их природная человечность, которую мы ощущали и в наших с ними личных отношениях. Эта человечность так же им органически присуща, как и детская веселость, естественная грация движений, музыкальность речи и пения. Каждый вечер из разных частей итальянского лагеря неслись их красивые народные песни. Заливались чудесные тенора под аккомпанимент сочных басов и баритонов. И эти импровизированные концерты невольно отвлекали наши мысли от страшной действительности мировой войны . . .

Вначале мы избегали разговоров с итальянскими солдатами на политические и военные темы, но наблюдали за их настроением, когда они приходили к нам слушать свое казенное радио. Первое время они еще верили в скорую победу, неразрывно связанную с их заветным желанием покончить, наконец, с этой опустылевшей им войной и возвратиться на родину. Ибо все они страшно устали от походной жизни. Ведь среди них были солдаты, уже целых семь лет находившиеся под ружьем и воевавшие в Абиссинии, в Испании, в Албании, в Греции, в России . . . Но на наших глазах в связи с неудачами, постигшими итальянскую армию в Африке, и в особенности после высадки союзников в Сицилии, вера в победу была ими утрачена. Но с тем большей силой развилось в них стремление вернуться домой к мирной жизни.

Тут уже пошла у нас откровенные разговоры. На наших глазах совершался в итальянской армии психологический сдвиг, после которого армия окончательно утрачивает свою боеспособность. Стремление к заключению мира во что бы то ни стало, хотя бы путем капитуляции, и все возрастающая ненависть к немцам, заставляющим Италию продолжать войну, стали летом 1943 года господствующими.

Несмотря на недружелюбное отношение массы итальянских солдат к фашистской партии, авторитет самого Муссолини стоял еще высоко.

В дневнике от 14 мая, по поводу капитуляции I-ой итальян-

янской армии, оказывавшей сопротивление окружавшим ее в Тунисе союзным войскам, после сдачи всех остальных итальянских и германских частей в северной Африке, у меня записано: «В казенном итальянском радио говорится, что эти герои готовы были все погибнуть за родину, если бы благородный дуче не остановил кровопролитие своим приказом о сдаче. Таким образом, одновременно получается впечатление и о героической боеспособности итальянских войск и о добром сердце Муссолини. Сильное впечатление, производимое этой пропагандой, я наблюдал на солдатах, слушавших у меня итальянское радио. Все в восторге от того, что итальянцы героически дрались в Африке, имея против себя в пять раз более многочисленных противников, и горячо одобряют Муссолини, прекратившего это ненужное кровопролитие. Но, когда радио говорит, что доблесть первой армии является залогом дальнейших успехов и что северная Африка скоро снова будет завоевана, мои солдаты уныло качают головами».

Характерно, что в это время уже требовалось для поддержания престижа Муссолини, прославление отданного им приказа о капитуляции. Вскоре, однако, померк и престиж Муссолини. Среди наших друзей был один повар, убежденный противник фашистского строя и Муссолини. Он и прежде вел с моей дочерью откровенные беседы на эту тему. Теперь он уже стал менее конспиративным. Сидя в своей комнате с открытой дверью на двор, я уже неоднократно слышал споры итальянских солдат на политические темы и обвинения Муссолини в том, что он вовлек Италию в эту злосчастную для нее войну.

В июне мы с дочерью оказались совсем без всяких средств к существованию. Овощи в огороде, который я исполу обрабатывал, были съедены, заработки дочери в Лаванду, куда она поставляла игрушки из тряпок или туфли, сплетенные из раффии, прекратились. На приплод от кроликов и на небольшую субсидию, которую я получал из Швейцарии, от общества помощи русской интеллигенции, при все возраставшей дороговизне, жить нам было невозможно. Но, как говорится, голь на выдумки хитра.

И вот моя дочь в компании с нашим молодым приятелем А. Ф. решила использовать патент, сохранившийся от времени, когда у старшей дочери была лавочка и при ней кафэ, и открыла пивную «распивочно и на вынос» для итальянских солдат. Пивной завод в Лаванду отпустил в кредит небольшое количество пива, сидра и лимонада, которое нам доставлял за

несуразно большое вознаграждение некий обладатель старой телеги и старого мула, а А. Ф. ежедневно приносил в мешке на своей спине лед, поддерживавший свежесть напитков. Конечно, спина его часто бывала совершенно мокрой, но время было жаркое, и такое холодное купанье доставляло ему даже некоторое удовольствие. Расставили и в одной из свободных комнат несколько столиков и стульев, оставшихся от прежнего кафе, и стали торговать.

Так как мы находились в центре итальянского лагеря, и к нам три раза в день приходили за едой толпы солдат, то от посетителей пивной отбоя не было. И мы стали «богатеть» не по дням, а по часам.

Увы, это материальное благополучие продолжалось недолго.

Еще в середине марта в русском Фавьере начались фортификационные работы. Рылись окопы и блиндажи, устанавливались проволочные заграждения. Все это приводило в панику наших фавьерских старушек (большая часть дач принадлежала в Фавьере вдовам от 60 до 85 лет, похоронившим на местном кладбище своих мужей), ибо слухи распространялись тревожные о предстоящей высадке союзников и о грозящем нам принудительном выселении из насиженных мест.

За двадцать лет жизни в Фавьере наши старушки обзавелись мебелью, посудой, книгами и прочими принадлежностями элементарной культурной жизни. Куда в самом деле все это девать, когда исчезли все способы перевозки, да и куда деваться самим старым женщинам с ограниченными средствами существования?

Однако, работы шли медленно, и паника постепенно улеглась.

Но в начале мая к нам приехали какие-то немецкие генералы. Осматривали фортификационные работы и повидимому остались недовольны их медлительностью. После этого число саперных войск было значительно увеличено. Начали возводиться бетонные укрепления и устанавливаться батареи тяжелой артиллерии. Фавьер стал принимать вид настоящей крепости.

В моем дневнике от 13 мая я записал: «Итальянцы торопятся возводить все новые и новые укрепления. Мы совершенно окружены окопами и колючими проволоками, что очень затрудняет. Постоянно приходится менять свои обычные маршруты».

А 27 мая следующая запись:

«Вчера в местных газетах напечатано обращение префекта Вара к населению с советом уезжать с побережья Средиземного моря на расстояние не менее 6 километров. Префект обещает выселившимся выдавать вспомоществование и просит содействия мэрий в подыскании помещений. Субсидия, конечно, минимальная, никого не может соблазнить при нынешней дороговизне. Мало соблазнительна и перспектива жить в чужих местах в тесных общежитиях, наскоро устроенных для беженцев. Поэтому воззвание префекта осталось «гласом вопиющего в пустыне». К тому же все более состоятельные люди, боящиеся бомбардировок, давно покинули наши места, а оставшиеся резонно рассуждают, что англо-американцы могут и не высадиться на французском побережье, а если высадятся, то не обязательно в местах нашего жительства. Словом — «Бог не без милости . . .»

Однако, префект Вара только советовал, а итальянские власти приказали. В начале июня сержант Оливи обошел всех жителей ближайших к морю домов Фавьера и предупредил их о том, что они должны выселиться в недельный срок.

Мы с дочерью собрали наше барахло и переехали на дачу П. Н. Милюкова, расположенную за пределами района, подлежащего эвакуации. Но уже ясно было, судя по производившимся работам, что вскоре и оттуда нас выелят. Незадолго перед тем я получил приглашение от своей дочери монахини переселиться к ним, в монастырское общежитие в окрестностях Парижа, и начал собираться в путь.

Хотя после занятия всей Франции оккупационными властями исчезло различие между «*Zône libre*» и «*Zône occupée*», однако граница между ними продолжала существовать. И, если французские граждане получили право свободно переезжать из зоны в зону, лишь предъявляя немецким пограничникам свои документы, то иностранцы попрежнему должны были обращаться с ходатайством к префекту своего департамента. С своей стороны префект этого департамента запрашивал префекта департамента, куда иностранец хотел переехать и, в случае благоприятного ответа, все дело поступало на утверждение немецких властей. Зная французские порядки, я понимал, что даже при благоприятных условиях, я смогу получить разрешение на переселение в «*Zône occupée*» не раньше, чем через полгода. Поэтому решил рискнуть и ехать без всякого разрешения, заручившись лишь удостоверением мэрии о том, что я выселен итальянскими властями из своего места жительства.

Риск небольшой. В крайнем случае, вернут обратно, только и всего.

19-го июля, простившись с дочерью, которая должна была переехать к своему брату, жившему в Фавьере, но вне укрепленного района, я отправился в путь. С невольной грустью покидал я Фавьер, в котором прожил несколько лет и много, много пережил. . .

Вот что у меня записано в дневнике накануне отъезда: «Вчера к нам заходил один из наших итальянских друзей. Он уже и прежде со злобой говорил о войне, а вчера был особенно возбужден. Всячески поносил Муссолини и высказывал пожелание, чтобы союзники поскорее заняли его родину и этим положили конец бессмысленной бойне. . . С каждым днем число таких «пораженцев» растет. А когда их будет большинство, можно ожидать в Италии революции и заключения ею сепаратного мира». Запись оказалась пророческой. . .

Заканчивая эту главу, хочу сказать еще несколько слов о дальнейшей судьбе наших итальянских друзей.

После капитуляции маршала Бадольо и подписания перемирия итальянским королем, Фавьер был занят немецкими частями, которым итальянцы сдали свое вооружение. Некоторым, в том числе моему хитрому приятелю, капралу Греко, удалось, переодевшись в штатское платье, бежать в Италию. Остальным немцы предложили переформироваться и продолжать войну вместе с ними. Желающих, преимущественно из партийных фашистов, оказалось немного. Большинство решительно отказалось воевать. Их немцы перевезли в Иер и посадили в конц-лагерь за колючие проволоки.

Моя дочь и невестка поехали туда повидать своих друзей и повезли им все, что могли собрать из съестных припасов. Свидание было необыкновенно сердечное и трогательное. . .

Пока в Фавьере стояли итальянцы, они охраняли покинутые жителями дома с оставшимися в них вещами. Если происходили мелкие кражи, то, так сказать, в порядке индивидуальном. Когда же итальянцев, считающихся народом вороватым, сменили прославленные своей честностью немцы, то все дома Фавьера подверглись систематическому и планомерному грабежу. Все — мебель, посуда, книги, картины и пр.—было куда-то увезено. Остались лишь голые стены.

Да и то не надолго. Ибо, уходя из Фавьера под натиском высадившихся на юге Франции союзников, немцы взорвали большинство домов нашего русского Фавьера. Военной надоб-

ности в этом, конечно, не было никакой, а просто: «après moi—le deluge»..

Весной 1946 года мне пришлось побывать в Фавьере, с которым у меня связано было столько воспоминаний. Я с трудом узнал знакомые места. Почти весь лес вырублен. От больших строевых сосен, укрывавших нас от летнего зноя, остались одни торчащие пни. Голая земля изрыта окопами, среди которых валяются ржавые проволоки и всевозможный железный хлам. На месте домов — груды камней, по которым ползут уцелевшие плети глициний и стебли вьющихся роз.

Чудом уцелел двухэтажный дом, в котором мы жили. Он был скрыт за сосновым лесом, а теперь, уродливо вымазанный защитной грязно-зеленой краской, виден издали.

А перед домом на том же месте стоит кузов старого автомобиля моего покойного зятя, в котором мой приятель и благодетель, ротный повар, брал уроки арифметики у своего товарища . . .

В. А. Оболенский

ГРАНИЦА ЗЛА

Это была наша тайна, наша поэтическая мечта, неразделенная ни с кем посторонним. Она высоко, недостижимо высоко поднималась над всеми буднями жизни, давала отдых и последнее прибежище мысли и душе, примиряла со многим, что иначе казалось бы совсем невыносимым в однообразно-пестром и бурливо-пустом водовороте советского существования. Это была мечта о «загранице» — таинственном крае, где люди живут совсем иной, сказочной, почти непонятной, но полной и содержательной жизнью.

Я не помню, когда она родилась среди нас, трех братьев, выходцев из среды «гнилой интеллигенции», но это случилось давно, когда мы еще были подростками и учились в ленинградской «трудшколе». Подумать только: заграницей люди могут свободно ездить из страны в страну не с большими затруднениями, чем у нас, скажем, из Ленинграда в Москву, пересекать моря и океаны, бывать среди таинственных храмов Индии или под пирамидами Египта; там в магазинах продаются товары со всех концов света, до бананов и фиников включительно, а в кино каждую неделю показывают новые, интересные, свободные от нудной пропаганды фильмы. Там ставятся мировые спортивные рекорды и выступают настоящие спортсмены, а не члены доморощенных рабочих команд; там бывают карнавалы и маскарады, а не казенные первомайские демонстрации с обязательной явкой к назначенному часу. Все любопытное, увлекательное, возбуждающее фантазию происходило именно там, в этой туманной, недостижимой загранице. У нас был только «энтузиазма» строительства и «романтика» недавно минувшей гражданской войны, которая мне всегда представлялась в виде бесконечной хлебной очереди: злые, хмурые, до ужаса однообразные люди, вышедшие на рассвете, чтобы «занять место» — длинная ядовитая змея, обвившая своими кольцами несколько кварталов, а рядом, на мостовой, неубранный труп человека, умершего ночью от истощения, с лицом еще более землистым, чем сама земля.

По мере того, как росли и мужали мы, росла и мужала вместе с нами наша мечта, ни на минуту не покидая нас. Она

получала лишь новые очертания, новые грани, некоторые старые ее стороны стирались, теряли свое значение, но зато появлялись другие, загоравшиеся обновленным, ослепительным блеском.

Как это ни звучит неправдоподобно, но за границей есть газеты разных направлений и книги без обязательной марксистской тенденции. Люди там могут высказывать оригинальные взгляды и не обязаны менять их в соответствии с последней передовицей «Правды». Если бы гражданам этого таинственного потустороннего мира захотелось, например, образовать кружок филателистов, то ничто не мешает им открыто сделать это, обойдясь без всякой «партийно-комсомольской прослойки». Они могут даже переписываться с единомышленниками в других странах, не опасаясь печальных последствий, и заниматься в самом деле почтовыми марками, а не историей классово-борьбы и «текущей политикой».

За границей в высших учебных заведениях лекторы дают студентам возможность самим составлять свои мнения, и многие проблемы, даже весьма крупные, являются предметом дискуссии и спора. У нас же в Советском Союзе, всякий, даже самый отвлеченный, научный вопрос заранее определен и оценен. То или иное историческое событие, та или иная историческая фигура, идейное движение, философская или художественная школа — все тщательно разложено по полочкам, безапелляционно отнесено в разряд прогрессивных или реакционных, и никто не дерзнет открыто уклоняться от установленной характеристики... пока она по каким-нибудь причинам не будет изменена сверху, в «соответствующих инстанциях». Тогда сразу же отовсюду, дружным хором, без единой фальшивой ноты, начинает звучать новый мотив. помню, как в 1936 году было опубликовано постановление ЦК ВКП (б) о педологии, которая называлась в нем вредной псевдонаукой, подлежащей немедленному искоренению. До этого во многих ВУЗ'ах существовали кафедры педологии, и еще накануне мы слушали лекцию о ее «величайшем значении для воспитания нового советского человека». На следующий день в том же самом зале, с высоты той же самой кафедры, нам авторитетно и весьма научно объяснили, что педология — это продукт гнилой буржуазной «культуры», фальшивая наука, не имеющая ничего общего с марксизмом, оружие в руках классового врага.

Помню также, как извивался ужом преподаватель так называемого «исторического материализма», который преподается решительно во всех советских ВУЗ'ах, — после очередного

выступления Сталина, на каком-то «съезде колхозников-ударников». «Вождь», рассуждая о прочих важных и высоких материях, захотел блеснуть эрудицией и заявил, в качестве некоторой исторической параллели, что «революция рабов» в древнем Риме свергла власть рабовладельцев и «отменила античный способ производства».

До этого нас учили, что «античный строй» пал, ослабленный внутренней классовой борьбой, под давлением извне. При этом «диалектически» объяснялось, что рабы по своему социальному положению не являлись прогрессивным классом, не носили в себе зародыша новых производственных отношений, а потому не были способны к подлинному революционному перевороту, а лишь — к отдельным, более или менее разобщенным бунтарским выступлениям.

Наш бедный «материалист» вынужден был что-то невнятно бормотать о новых научных данных и развитии марксистской диалектики, которая «не догма, а руководство к действию». Впрочем, вскоре он опять вошел в колею и с прежней твердостью и убежденностью стал разъяснять «единственно **правильную** сталинскую точку зрения» по этому вопросу.

Таких случаев было немало, и они не могли ускользнуть от пытливого молодого ума. Нет, казалось нам, за границей все должно быть совершенно иначе. Доказательства там ищут в научных экспериментах и в исторических фактах, а не в изречениях какого-нибудь живого или мертвого Будды. Допускаю, что наше представление о заграничной жизни было слишком идеализированным; но оно, ведь, и не основывалось на реальных знаниях, а было скорее предметом воображения, догадки, — как бы перевернутым отрицанием ненавистной окружающей обстановки. Реально мы знали о таинственной «загранице» несколько меньше, чем о Греции времен Перикла, приблизительно столько же, сколько о Ниневии или Вавилоне. Заграница была для нас страной чудес, иногда — страна шиворот на выворот, зазеркалье, только маленькая часть которого доступна взгляду из нашего мира. И мы пыливо, нестерпимо страстно хотели поглубже заглянуть в это «четвертое измерение». **Каждая** заграничная вещь казалась нам наделенной какими-то особенными качествами; она словно излучала некие таинственные волны, несла с собой загадочный аромат странной, нездешней жизни, словно вибрировала в ином темпе, чем окружающие советские предметы. В свободное время мы бегали по комиссионным магазинам, стараясь найти какую-нибудь иностранную диковинку, занесенную сюда редким пришельцем из-за рубежа.

На улице при первом взгляде на прохожего мы сразу же определяли, что та или иная часть его одежды была заграничного происхождения. Я и сейчас без труда могу отличить любую вещь советского производства. Тут даже трудно сказать в чем дело: материал, форма, покрой и отделка, какие-то маленькие несущественные детали, но это — предметы из другого мира.

Всеми силами старались мы разыскать любую еле заметную щель в непроницаемой китайской стене, окружающей нашу страну. В Ленинграде на Моховой улице находилось отделение публичной библиотеки, где можно было получить иностранную литературу. К сожалению, подавляющее большинство книг было старого, дореволюционного издания, и это лишало их главной ценности в наших глазах, так как все исходящее из-за границы до великого разделения миров, казалось, не обладало тем специфическим обаянием «потусторонности», которого мы искали. Однако в читальном зале были в небольшом количестве и современные книги, журналы и даже газеты. Эти последние поступали очень редко и нерегулярно; так, например, в год доставлялось не больше трех-четырёх номеров английской газеты “Times”, десять-двенадцать номеров “Manchester Guardian”, столько же французской “Le Temps”. Даже коммунистический орган “Daily Worker” приходил не чаще двух-трех раз в неделю. Остальные номера задерживались цензурой. Газеты, конечно, были всегда весьма почтенного возраста, потерявшие всякую актуальность, так как они от строчки до строчки предварительно прочитывались политконтролем, где отнюдь не торопились. Тем не менее читать их было приятно: они неизменно оставляли какое-то освежающее впечатление, сознание того, что подход к мировым событиям не ограничивается официальной точкой зрения «Правды» и «Известий».

Однажды я услышал, что на Моховой получено новое произведение Синклера Люиса “It can't happen here”. Эта же книга незадолго перед тем вышла в русском переводе под заглавием: «У нас это невозможно». В предисловии всячески расхваливалась антифашистская «установка» автора, но указывалось, что роман выпускается с «незначительными пропусками мест, не представляющих интереса для советского читателя». Мне сразу же захотелось узнать, что же именно не представляло для нас интереса. К сожалению, в библиотеке меня ждало полное разочарование. — «Книга была у нас только два дня, — сказала сотрудница. — Теперь ее изъял политконтроль. Ее пропустили сначала просто по ошибке». Уже

заграницей я узнал, что советскому читателю не полагалось интересоваться слишком выразительной критикой диктатуры, хотя бы даже и фашистской.

Впоследствии, когда я стал преподавателем высшего учебного заведения, я получил доступ в отделение публичной библиотеки для научных работников. Оно помещалось в главном здании, рядом с общим читальным залом, наискосок от Государственного Академического Театра Драмы. Портфели и всякие пакеты надо было оставлять у гардеробщика. На лестнице стоял милиционер, которому при выходе посетитель сдавал специальный листок с печатью библиотекаря, удостоверявший, что вся литература, находившаяся в пользовании, полностью возвращена. В читальне были только научные и технические издания по различным отраслям знания. Я часто брал иностранную периодику, не имеющую ничего общего с моей специальностью, в надежде вычитать что-нибудь между строк. Иногда это удавалось. Однажды в американском медицинском журнале я наткнулся на некролог в связи со смертью некоего финского ученого, погибшего при первой советской бомбардировке Гельсингфорса. Официально для нас этой бомбардировки не существовало. Ее факт красноречиво опровергался Тасс'ом, как клеветническая выдумка буржуазной печати. Случалось также встречать имена давно «заклейменных» невозвращенцев, и это всегда оставляло странное, но отрадное впечатление, вроде удавшегося спиритического сеанса.

Разумеется, мы не пропускали ни одного иностранного кино-фильма, жадно всматриваясь во все детали, стараясь уловить дыхание и ритм заграничной жизни. К сожалению, такие фильмы демонстрировались в СССР крайне редко, не чаще одного-двух раз в год. Выбирались при этом преимущественно картины с, так сказать, социальной тенденцией, каковая особенно подчеркивалась в надписях. Так я видел там «Огни большого города» и «Новые времена» Чарли Чаплина, «Сто мужчин и одна девушка» с участием дирижера Л. Стоковского и Дины Дюрбин (рассказ о страданиях безработных музыкантов, довольно, впрочем, веселый), а также французские фильмы Рене Клэра — «Под крышами Парижа» и «Последний миллиардер» (сатира на фашизм, как авторитетно разъясняла критика). Все, способное показать заграничную жизнь в благоприятном свете, тщательно устранялось цензурой, находившей крамолу в самых, казалось бы, невинных вещах. Я помню, например, как был снят с экрана после нескольких дней демонстрации венгерский фильм «Маленькая мама» с участием артистки Фран-

ческа Гааль. Когда, через несколько месяцев, он появился вновь, в нем была вырезана сцена в приюте для бездомных детей, куда по ходу действия попадает потерянный ребенок. Приют оказался слишком благоустроенным и мог смутить сердца советских зрителей.

Однако все это: и книги, и вещи, и фильмы — было лишь слабое отражение, заглушенное эхо заграничного мира. Мы не могли ограничиться этим; мы искали и нашли наблюдательный пост, откуда было возможно бросить взгляд на подлинный краешек живой, настоящей «заграницы». Понятно, что таким постом могла служить только государственная граница. Обычно, в Советском Союзе существует стокилометровая пограничная полоса, куда, под страхом немедленного ареста, не имеют права заходить обыкновенные смертные. Даже в Крыму, откуда, употребляя выражение Гоголя, сто лет скачи, ни до какого государства не доскачешь, запрещено на гребной лодке отъезжать более чем на 200 метров от берега; не говоря уже о том, что приобретение такой лодки связано с длительными хлопотами перед НКВД. Ибо побережье — это «госграница», слово произносимое в СССР чуть ли не со священным трепетом. Зайти в пограничную полосу без пропуска — значит наверняка обеспечить себе место в концлагере на долгие и долгие годы. Но около Ленинграда, почти на самой финской границе, лежал курорт Сестрорецк, который по ряду причин представлял из себя исключение: он долгое время был открыт для гражданской публики. Это место стало нашей Меккой. Мы ездили туда много раз каждое лето, всегда с наслаждением испытывая одни и те же переживания. В Сестрорецке разрешалось купаться, не заходя дальше столбов с колючей проволокой, идущих через пляж далеко в море. Берег делал изгиб, и в ясную погоду можно было хорошо различить несколько домиков на финской стороне и маленькую церковь в поселке Оллило. Как захватывало душу, как сладко, в каком-то трепетном восторге сжималось сердце при мысли, что здесь, совсем рядом кончались наши невзгоды, кончалась власть всего того, что терзало, коверкало и опустошало нашу жизнь. Здесь проходила граница зла, ясная, видимая, почти осязаемая.

Еще ближе к стране нашей мечты можно было подобраться, если ехать по круговой железной дороге из Ленинграда . . . в Ленинград. После революции Приморскую ветку, обслуживавшую дачные места на берегу залива, соединили с Финляндской железной дорогой, идущей на Выборг. Место соединения проходило через пограничную станцию Белоостров, на которой

пассажирам не разрешалось даже выходить на платформу. Но смотреть в окна запретить было невозможно. В тот момент, когда поезд проходил вдоль пограничной Сестры-реки, мы прилипали к стеклам. На той стороне был такой же унылый лесной и болотный пейзаж, как и у нас; те же стройные молодые сосны, перемешанные с грустными корявыми березками, зеленая или выцветшая на солнце трава, песчаные обрывы, обнажающие корни деревьев, и громадные гранитные глыбы, словно ползушие навстречу поезду. Иногда мы видели несколько коров, очень редко — человека. В одном месте над лесом поднималась ажурная вышка, похожая на уэльсовского марсианина. Такие же вышки были и на нашей стороне. Ничего особенного мы никогда там не видели; и все-таки, каждый раз, когда поворачивал поезд, и по обеим сторонам снова бежали «советские» пейзажи, мы отходили от окон, испытывая странный душевный подъем, некое возвышенное и очищающее чувство, словно еще раз получали доказательство, что страна нашей мечты существовала на деле, что она была не миф, а реальная хотя и недостижимая действительность.

Я знаю, что все это может показаться смешным. Может быть так оно и было, но только не для нас в то время. Для нас это был необходимый источник живой воды, из которого мы черпали силы для тяжелой борьбы за существование, — силы для обороны своего внутреннего мира от напора враждебной окружающей обстановки.

Как я уже говорил, мы держали нашу мечту в тайне от посторонних. В Советском Союзе не принято рассуждать о подобных вещах. «Заграница» там — это своего рода табу, о котором можно упоминать лишь в определенных случаях и в надлежащем тоне. Не раз мне приходилось слышать, например, как при выборах на какую-нибудь незначительную должность, вроде профуполномоченного, кандидат, рассказывая по советскому обычаю публично свою биографию, вскольз упоминал: «В переписке с заграницей никогда не состоял и не состою, родственников и знакомых заграницей не имею», — таким же тоном, каким он сказал бы: «Под судом и следствием никогда не состоял, ни в каких преступлениях не замешан». И все-таки я не сомневаюсь, что мы были далеко не единственными, у которых в глубине души гнездилась еретическая мысль о запретном рае. Редкие публичные лекции о путешествиях в другие страны привлекали, как правило, много слушателей, несмотря иной раз на ограниченную и узко-научную тему. Заграничные товары всегда пользовались прекрасной репута-

цией и неизменно служили предметом зависти и восторга. Заграничным модам старались подражать, хотя о них по существу ничего и не знали. В некоторых кругах молодежи считалось, например, особым шиком носить синюю парусиновую «робу», т. е. рабочую одежду иностранных моряков. Когда были присоединены или, деликатно выражаясь, «освобождены» Западная Украина и Западная Белоруссия, многие старались попасть туда всеми правдами и неправдами, как позже и в оккупированную Прибалтику. Однако это была нелегкая задача: граница существовала попрежнему и только специально командированные могли проникнуть по ту сторону заповедной черты. Оттуда возвращались они в новых костюмах, ослепительных ботинках затейливой формы и с чемоданами, наполненными всякого рода бытовыми предметами, которые никак не свидетельствовали об отсталости и нищете заграничных «трудящихся масс». Рассказы этих путешественников, шопотом передававшиеся из уст в уста, звучали примерно так, как я полагаю, должны были звучать во времена Колумба повествования о сказочной Индии расположенной на другом конце света. О советских «достижениях» в новоприсоединенных областях народная молва отзывалась в таком духе: «Мы им протянули братскую руку помощи, а ноги уже они сами протянут».

Против общего правила в завоеванный Выборг и дачные районы на Карельском Перешейке был открыт доступ для всех после некоторого периода «освоения» награбленного. Несомненно это произошло потому, что там, вопреки официальной пропаганде, не оставалось ни одного старого жителя, и таким образом не могло возникнуть опасной для советской морали гремучей смеси, т. е. контакта между представителями двух миров.

Выборг был основательно разрушен, выгорели целые районы, разбитые артиллерийскими снарядами стены зданий показывали внутренность квартир, словно висевших в воздухе, под ногами хрустело стекло. Но в центральной части города сохранилось много больших домов прекрасной северной архитектуры с причудливыми вырубленными из гранита фигурами людей и животных, будто сошедших со страниц «Калевалы». Улицы здесь были расчищены и по ним сновало много народа, со стен глядели вывески, четкие заграничные вывески наряду с примитивными временными афишами советских учреждений. На вокзале, у которого было разрушено только одно крыло, производились какие-то работы, и перед кассой, по советскому обычаю, уже стояла длинная очередь за билетами. В углу, в

куче мусора, я нашел маленький путеводитель по Выборгу на английском языке. Странное, непередаваемое ощущение охватило меня, когда я смотрел на картинки, изображавшие только что виденные мною здания, памятники, улицы. Все люди, случайно попавшие на эти фотографии, уже не существовали или были далеко, все до одного. Их место заняли новые пришельцы, не имевшие ничего общего с городом. Была ли в истории еще когда-нибудь столь полная перемена всего населения в столь короткое время? Почему-то мне вспомнились развалины Херсонеса под Севастополем: заросшие травой фундаменты базилик, выкопанные из земли мраморные колонны и мошная каменными плитами центральная улица, на которой еще сохранились следы колесниц. Вымершая цивилизация! Неужели страна нашей мечты относится не к будущему, а к прошлому? Неужели она отступает, сжимается, высыхает как Каспийское море, пока не исчезнет совсем? Почему же? Ведь нормальный рассудок подсказывает, что не она при всей ее фантастичности, а именно советский мир есть царство шиворот-на-выворот, страна перевернутого кверху ногами здравого смысла. Неужели же людям не свойственно жить так, как они хотят, говорить то, что они думают, одобрять то, что им нравится, и осуждать то, что противоречит их взглядам на справедливость? Я вспомнил совсем недавнее событие, как студенты в том ВУЗ'е, где я работал преподавателем, единогласно и с «энтузиазмом» приняли на собрании резолюцию, одобрявшую «решение партии и правительства» об отмене стипендии и введении платы за обучение. Две трети из них сразу же бросили занятия, некоторые плакали и жаловались мне частным образом, что у них теперь испорчена вся жизнь и разбиты планы на будущее. Какая-то «вампука» подумал я. С новой силой захотелось мне вырваться из моего старого мира, мира лжи, лицемерия и горя, и догнать уходящую на запад заповедную мечту. Через некоторое время мне удалось сделать это. Как это произошло и что я встретил здесь, я может быть расскажу впоследствии. Пока мне хочется ограничиться следующим сравнением. Представьте себе человека, выросшего в сыром, бедном и строгом детском приюте. Там много говорилось о всевозможных добродетелях, о любви и заботах высокого приютского начальства, о великом счастье жить под его благодетельным руководством, но на деле питомцы встречали лишь черствое и бездушное отношение. За малейшие провинности или отклонения от устава их беспощадно наказывали, все их вольности подавлялись в самом зародыше, однообразное их существование протекало в рамках распорядка, а мир ограничивался четырьмя непроницаемыми

стенами приютского сада. Представим себе теперь, что такой ребенок взят на воспитание в чью-то семью. Он и раньше догадывался, что где-то за пределами приюта существует иная жизнь, основанная на других началах, на доверии и подлинных искренних чувствах друг к другу. Теперь он видит это собственными глазами. Но сам он здесь чужой и лишний. Лучи солнца, согревающие других, светят для него лишь отраженным светом, а угрюмые стены приюта стоят в страшной, щемящей душу близости.

Б. И. В.

ПАМЯТИ И. И. ФОНДАМИНСКОГО-БУНАКОВА

Писать о милом друге, которого любил всей душой, с которым вместе прожил едва ли не всю жизнь и которого теперь нет больше на свете, и больно и сладко. И страшно. Больно, потому что заново переживаешь потерю; сладко, потому что остро вспоминаются светлые дни дружбы. И страшно — больше всего страшно, потому что чувствуешь бессилие сказать и передать другим то, чем полна душа. И, все-таки, это надо сделать — если не для себя, то для других. Трудно отделить воспоминания от попытки дать характеристику человека — пусть же на этих страницах переплетается и сливается одно с другим, как это сохранили память и сердце.

Думаю, не ошибусь, если скажу, что духовно Илюша Фондаминский вырос и сложился в том маленьком и дружном полу-детском, полу-юношеском кружке, который в самом начале 90-х годов возник в Москве и к которому принадлежали: Илюша Фондаминский, Абраша Гоц, Рая Фондаминская, Маня Тумаркина, Миша Цетлин, Яков и Амалия Гавронские, Коля Дмитревский. Фондаминский, Миша Цетлин и Дмитревский учились в одном и том же училище (частная гимназия Креймана), Гоц, Цетлин и Гавронские были кузенами. Это был кружок юных идеалистов-общественников, искавших смысла и оправдания жизни, чутко откликавшихся на все ее веяния и мечтавших о служении человечеству. Они ходили в Большой и Малый театры, усердно посещали Румянцевскую библиотеку, читали в своем кружке рефераты на общественные, литературные и научные темы, спорили до утра, дурачились и веселились, ходили на лекции. Вряд ли был такой вопрос — политики, литературы, искусства, философии, которого бы они не касались и не решали. Идеологами были Фондаминский и Гоц, активное участие в спорах принимали Тумаркина, Цетлин и Дмитревский, неистощимые шутки и веселье вносил в жизнь кружка Абраша Гоц, Миша Цетлин читал в нем свои стихи. Кружок был ревниво замкнутый, не допускавший к себе посторонних. Неизбежны были и романы — у одних прочные и неизменные, у других сложные, переплетающиеся, что, про-

чем, никак не отражалось на чисто-сердечных дружеских отношениях. Это был дружный и крепкий кружок, не знавший внутренних конфликтов, устремленный всегда к исканию правды, справедливости, красоты. Общественные мотивы были резко в нем выражены, что в значительной степени объяснялось тем, что старшие братья Илюши Фондаминского и Абраши Гоца уже были действительными участниками революционного движения.

В 1886 году Михаил Гоц и Матвей Фондаминский были арестованы в Москве за принадлежность к народовольческому кружку — Михаил Гоц был студентом московского университета (медик), Матвей Фондаминский — студент Петровской земледельческой академии (обоим было по 20 лет; они еще до ареста были связаны дружбой). Оба были отправлены в сибирскую ссылку, оба приняли участие в 1889 году в знаменитом «вооруженном» (пять револьверов на 30 человек против роты вооруженных берданками солдат!) сопротивлении в Якутске, когда было убито шесть ссыльных и десять человек ранены; в числе раненых были и Гоц и Фондаминский — у первого была пробита пулей грудь, второй был ранен штыком в живот. Оба затем были отправлены на каторгу, которую и отбывали в Акатуе и Зерентуе. Матвей Фондаминский умер в 1896 году от туберкулеза в Иркутске, Михаил Гоц по отбытии каторги был в 1895 году поселен в Кургане в Западной Сибири, куда к нему ездил летом 1897 года Абраша. Трагическая судьба Михаила Гоца и Матвея Фондаминского была тем фоном, на котором протекали детство и юность Илюши Фондаминского и Абраши Гоца, для которых старшие братья (разница в возрасте между ними была в 14 лет) были предметом восторженного поклонения и примерами, которым они мечтали следовать. В их семьях эта судьба была скрытой трагедией для отцов и прекрасной легендой для детей, вдохновлявшей их на будущие подвиги.

Разителен был контраст между старшим поколением семей Фондаминских, Гоца, Гавронских и Цетлин — и молодым поколением. То были ортодоксальные еврейские семьи с крепким бытом и верным исполнением всех обрядов. Но дети, родившиеся в Москве и учившиеся в русских школах, вовсе не унаследовали еврейской ортодоксальности и, хотя принимали участие во всех обрядах семьи, были совершенно чужды еврейской исключительности, едва знали еврейскую религиозную науку, которой их обязательно обучали в ранние годы, и всецело восприняли русскую культуру. Отцы и дети принасле-

жали не только к разным поколениям, но и к разным мирам, которые, в силу крепкой семейной традиции и семейных уз, никогда один с другим не сталкивались.

Душой кружка был Абраша Гоц — его живой, веселый, жизнерадостный характер, незлобивые шутки, неистощимые выдумки делали его как бы физическим центром содружества. Илюша Фондаминский был главным «идеологом» кружка — его доклады и рефераты (они часто читались) были на общие идейные темы, порою неожиданные, оригинальные. Главными спорщиками были Абраша Гоц, Маня Тумаркина и Коля Дмитриевский. Щедрый на шутливые прозвища Абраша Гоц называл Илюшу Фондаминского — «наш Иванушка Дурачок» за высказываемые им нередко парадоксальные взгляды. Абрашу и Илюшу связывала с юных лет нежнейшая дружба, они так тесно были связаны друг с другом, что как будто составляли единое целое. И это несмотря на то, что были очень разные: Абраша обеими ногами стоял на земле, у Илюши голова всегда была немного в облаках. И в этом выражении «наш Иванушка Дурачок» сказывалось и то и другое: нежность, соединявшая их, и вместе с тем особливость каждого.

Мне пришлось с ними всеми познакомиться зимой 1899-1900 годов и летом 1900 года. Сначала встретился (вместе с Н. Д. Авксентьевым) с Яшей Гавронским и Маней Тумаркиной в берлинском университете, затем — в конце лета 1900 года в Москве с Илюшей и Раей Фондаминскими, Абрашей Гоц и Колей Дмитриевским. С ними со всеми Н. Д. Авксентьев и я встретились в большой квартире Гавронских в доме Страхового Общества «Россия» на Лубянской площади, том самом доме, в котором позднее укоренилась Че-Ка и который сейчас занимает МВД или МГБ. Страшно подумать, что в наивной девичьей комнатке Амалии Гавронской, окнами выходившей на Лубянскую площадь, сейчас быть может кабинет советского жестокого следователя... Илюше Фондаминскому было тогда 19 лет. Это был стройный и высокий юноша, красавец, немного, пожалуй, артистической наружности, хороший спортсмен. У него были длинные, зачесанные назад черные волосы (по моде того времени — мы все почему-то носили такую прическу, она была как бы признаком передовых, радикальных убеждений), он хорошо танцевал, говорили, что он проявил способности в музыке, но почему-то забросил уроки на рояли, уже тогда он отличался увлекательным красноречием. В нем вообще было нечто врожденно художественное, пылкое, увлекательное. Помню первый прочитанный им доклад на квартире

у Фондаминских — на Тверской, в доме Персиц, на углу М. Гнездииковского переулка. На этом докладе присутствовал весь их кружок и его новые гости — Н. Д. Авксентьев и я. Мы были тогда уже студентами берлинского университета, а они только что кончили свои гимназии и училища и были накануне поездки за-границу для поступления в тот же берлинский университет. Н. Д. Авксентьев и я чувствовали свое как бы некоторое превосходство над ними. Доклад Илюши Фондаминского был посвящен тому, как следует изучать историю. Помню, что читал его Илюша по тетрадке. И сущность доклада заключалась, насколько помню, в том, что история ничему не учит и ничему не должна учить — она должна быть наукой описательной и чисто прагматической. Сурово обрушился на докладчика Н. Д. Авксентьев. У Н. Д. Авксентьева, уже избалованного в то время успехами в общественной работе, одного из главных руководителей студенческого движения 1899 года, председателя московского Исполнительного Комитета Союзного Совета Землячеств, была в те годы манера резких и уничтожающих противника споров. Он подверг резкой и саркастической критике всю «концепцию» парадоксального докладчика и, помню, сравнил его понимание задач истории с наивностью летописца Нестора, не поскупившись при этом на ряд язвительных замечаний. Я тогда же почувствовал, чего, увы, кажется, не заметил или не хотел заметить Н. Д. Авксентьев, что Илюша Фондаминский этой критикой — вернее манерой оппонента — был задет за живое. Помню, он закрыл тетрадку, по которой читал, и отказался отвечать своему критику. Положение спас милый Абраша Гоц, шутками и серьезным критическим разбором реферата сгладивший неловкое положение. Впрочем, никаких сколько-нибудь серьезных размовок это не имело. Начавшаяся тогда наша — берлинских студентов — дружба с симпатичным и интересным московским кружком продолжала крепнуть и перешла затем в прочную взаимную привязанность на долгие годы, можно сказать — на всю дальнейшую нашу жизнь.

Поздней осенью 1900 года Илюша Фондаминский — вместе с Абрашей Гоц, своей сестрой Раей, Амалией Гавронской, Колей Дмитревским — уехал в Берлин, где все они и поступили в университет. Все мы оказались на одних и тех же университетских скамьях. Все — кроме Миши Цетлина, у которого обнаружился туберкулез костей (коксит), почему родителями он и был увезен в Берк-Пляж, во Францию. Мы все слушали одних и тех же профессоров — по философии, социологии, политической экономии, праву. Но не забывали и обществен-

ности — участвовали в русских заграничных организациях, слушали русские доклады (открытые и закрытые — на последних выступали приезжавшие из Женевы эмигранты-революционеры), помогали собирать средства на революционную эмигрантскую литературу, даже способствовали ее отправке в Россию. Наше участие в революционной заграничной работе было настолько горячим, что когда 15 февраля 1901 года П. Карпович выстрелил в Петербурге на приеме в министра народного просвещения Боголепова в ответ на расправы над студентами, мы сочли благоразумным в спешном порядке рываться: П. Карпович был членом нашего берлинского кружка и на прием к Боголепову приехал прямо из Берлина. Илюша Фондаминский с Амалией Гавронской (своей невестой) уехал в Ниццу к Мише Цетлин. Абраша Гоц и я отправились в Париж к М. Р. Гоц, который в то время там находился.

На летний семестр 1901 года наша дружная компания обосновалась в Гейдельберге — Илюша, Абраша, Амалия, три сестры Илюши: Рая, Роза и Лиза и я. Мы слушали Куно Фишера, погружались в Канта, обсуждали слушанное и прочитанное, спорили, гуляли по окрестностям Гейдельберга, радовались жизни, наслаждались ею. Осенние каникулы провели вместе в Москве, а на зимний семестр снова уехали в Германию, но теперь разделились — Илюша, Амалия и Абраша в Берлин, я — в Галле, где были Авксентьев с Маней Тумаркиной.

Весной 1902 года Илюша Фондаминский вместе с Амалией выехали в Москву. На границе, в Александрово, Илюша был арестован и отвезен в Петербург, где и посажен в Дом Предварительного Заключения. Это был первый арест, обрушившийся на нас. Арестован был Илюша, несомненно, потому, что его встречи с эмигрантами-революционерами были прослежены, быть может стала известна и та помощь, которую он оказывал в деле транспортировки революционной литературы в Россию. Отделался он тогда очень легко — через полтора-два месяца одиночного заключения его выпустили без всяких последствий и он благополучно приехал летом в Москву. Но этот сам по себе незначительный эпизод сыграл огромную роль в его духовном развитии. Он был без объяснения причин арестован и посажен в одиночку — вероятно тогда встал перед ним образ брата, его ссылка и гибель. Он имел все основания думать, что и его может постигнуть такая же судьба. Позднее он несколько раз рассказывал пережитое им тогда в одиночке.

Он говорил о пережитом в тюрьме большом духовном переломе, решившем его жизнь. Ему казалось, как он говорил, что стены одиночки раздвинулись и духовному сознанию от-

крылась новая и светлая правда, ради которой только можно и должно жить. О пережитом он говорил, как о полном духовном преображении — для него было ясно, что в основе пережитого было несознаваемое до сих пор, но, быть может, дремавшее в душе религиозное начало. Словом, он вышел из тюрьмы другим человеком — с новым на всю последующую жизнь духовным опытом. Для меня нет сомнений, что именно тогда и произошел с ним перелом, после которого в нем родилось — и чем дальше, тем сильнее — укреплялось религиозное сознание, сделавшее из него в конце концов глубоко и искренне верующего человека, христианина.

Весь этот год — 1902-й — он прожил в Москве, радовался ей и всей русской жизни по новому. В феврале следующего года началась у него новая жизнь и в другом еще смысле — он женился на Амалии. Весной они уехали в Италию — были в Венеции, Флоренции, Ассизи, Риме, на Капри. К поездке серьезно готовились — изучали искусство Возрождения, прочитали в Москве кучу книг по искусству. Вероятно, это был один из самых счастливых периодов его жизни. Новая жизнь, ее новый смысл, любовь, Италия, искусство . . . Все сложилось в единую полноту жизни. С какой радостью он находил в ликах беллиниевских Мадонн черты любимой, а на ее живом лице отблески, как ему казалось, Мадонны Беллини . . .

Интерес к искусству не был у него мимолетным. В позднейшие годы он много и серьезно искусством занимался, много знал, составил богатейшую библиотеку на разных языках, имел огромную коллекцию фотографий, изучал музеи Италии, Парижа, Берлина, Испании. И это занятие искусством как-то хорошо к нему подходило, к его художественной натуре. Только в самые последние годы жизни, когда поиски духовного смысла жизни захватили его почти целиком, ослабел, как будто, его интерес к искусству — вероятно, он считал это свое бывшее увлечение излишней роскошью. Но аскетического в этом ничего не было — аскетизм был вообще чужд его натуре. Ему просто стало некогда этим заниматься . . .

В Москву Илюша и Амалия, как и Абраша Гоц, вернулись в самом конце 1904 года, когда, в связи с развивавшимися в России событиями, уже невозможно было больше оставаться за-границей. Я вернулся в Россию: еще в январе, но через год, после 9 января 1905 года, был арестован. В Таганскую тюрьму ко мне доходили вести, что Илюша и Абраша вплотную занялись революционными делами, оба вошли в московский комитет партии с.-р. Абраша занимался преимущественно организационной работой (а потом перешел и на боевую), Илюша —

выступал с докладами на частых собраниях в Москве, и не только в одной Москве. 1905-й год, действительно, был совершенно особенным — все и повсеместно в стране, как будто, кипело. Возникали всякого рода — легальные и полу-легальные организации, происходили собрания и съезды — общественные и профессиональные, на которых обязательно выносились резолюции с требованием всех политических свобод и созыва Учредительного Собрания, вспыхивали то там, то здесь выступления — во флоте, в войсках, как пожар разливалось крестьянское движение. Для Илюши теперь открывалось широкое поприще. В нем был природный дар оратора, пропагандиста, агитатора. Своими усидчивыми занятиями он даже как будто готовился к этому, накопив огромный запас сведений по экономике России, главным образом по аграрному вопросу. И он поплыл по бушующим волнам, как хорошо оснащенный и хорошо подготовившийся к плаванию корабль. Успех его, как оратора, как докладчика, быстро рос. Где и как, не знаю, но за ним быстро укрепилась кличка «Лассаль», «Непобедимый» . . . Эта вторая кличка может сейчас показаться странной, даже непонятной. «Непобедимый» . . . — с кем же и ради чего он сражался, кого «побеждал»? Чтобы понять это, надо перенестись в то время. То было время, когда два сталкивавшихся между собой мирозерцания боролись за души молодежи, за души масс. И «победа» означала в этой борьбе не победу над существующей твердыней власти, а победу одного мирозерцания над другим. «Непобедимым» Илюша считался именно в этой области — в борьбе народничества с марксизмом. Это была область идеологии, анализа экономических и социальных отношений, их развития — здесь речь шла, главным образом, о решении аграрного вопроса, о значении земли в социальной и политической жизни страны. Здесь Илюша и одерживал свои «победы» над идейными противниками — марксистами. Он часто выступал летом и особенно осенью 1905 года на больших полу-легальных собраниях в Москве (в «Обществе сельского хозяйства» на Смоленском бульваре, в особняках, где устраивались перед большими аудиториями дискуссии с участием видных ораторов обоих лагерей). Официально он выступал под фамилией «Бунакова» — случайный псевдоним, выбранный им по вывеске большого бакалейного магазина на Маросейке, мимо которого он как-то ехал на одно из таких собраний. И скоро имя «Бунакова», «Лассалья», «Непобедимого» стало известно далеко за пределами Москвы, потому что Илюшу приглашали на выступления и в Курск, и в Тверь, и в Нижний-Новгород и в Вологду . . . В чем были его сила и успех, как

оратора? Я слушал его бесконечное количество раз и думаю, не ошибусь, если скажу, что успех его выступлений зависел от художественного сочетания его порыва, темперамента, красивой формы и хорошего знания того материала, которым он оперировал. Он увлекался и увлекал — поэтому и был «Лас-салем», он удачно и благородно расправлялся со своими противниками — поэтому и был «Непобедимым». В нем не было ни крошки ложного пафоса, он всегда был искренен, всегда горел... И мы, близкие его друзья, всегда знали степень его успеха на собраниях по состоянию его воротничков — если они были смяты и превращались в мокрые тряпочки, мы знали, что он был на высоте. Тогда и позднее — в сентябре он был вместе с Амалией арестован, но вместе с другими заключенными освобожден толпой 18-го октября из Таганской тюрьмы — Илюша делил этот успех с двумя другими большими ораторами эсеровской партии — с Н. Д. Авксентьевым («Жорес», «Солнцев») и В. А. Мякотиним. Оба они тоже были очень популярны. Все трое были хороши каждый по своему. Часто они «срывали» собрания, которые устраивали социал-демократы, и заставляли съезды неожиданно принимать предложенные ими резолюции — после длительной и, казалось бы, успешной обработки съезда социал-демократами. — «Еще бы, — негодовали эти последние, — выпускают таких апостолов — никто не устоит!» — В них и правда было что-то апостольское — они не только убеждали, они звали, увлекали...

В краткий период «свобод» (после 17 октября) Илюша, вместе с другими эсеровскими ораторами — Н. Д. Авксентьевым, В. М. Черновым, Е. Е. Колосовым, выступал на массовых рабочих собраниях Путиловского, Семянниковского, Обуховского и других заводов. Это было сумасшедшее время — ораторы ездили с одного собрания на другое, за день иной раз им приходилось выступать на пяти-шести собраниях. Они заметно опали с лица, имели воспаленный вид, теряли голос — как теряли сорвавшие голос певцы. Их подкрепляли гоголь-моголем, сырыми яйцами... Когда в декабре 1905 года в Москве вспыхнуло «вооруженное восстание», Илюша находился в Москве — и этому движению полностью сочувствовал. Для тогдашнего его настроения характерно, что едва ли не все приданое Амалии он передал в московский комитет эсеровской партии на покупку оружия. Все эти сумасшедшие и страшные дни он провел в главном эсеровском штабе восстания (в одном из переулков близ Арбатской площади, на квартире Лидии Арманд), куда постоянно приходили и откуда уходили дружинники и их руководители — каким-то чудом эта квартира

не была обнаружена и не разгромлена войсками Дубасова и Мина. Из Москвы мы вместе с ним выехали на первый партийный съезд на Иматру (в Финляндии).

На этом съезде (в начале 1906 года) Илюша был делегатом от Москвы — вместе с В. В. Рудневым и М. В. Вишняком. Но потом он не мог найти себе места в партийной жизни. потому что она была снова загнана в подполье. Он несколько месяцев провел в Финляндии — в Гельсингфорсе — и вернулся, как будто нехотя, во исполнение долга, в Петербург, где тоже не находил применения своим силам. Но летом поехал с докладами по провинции. Побывал в Казани, Самаре, Саратове. На 8-ое июля доклад Бунакова был назначен в Харькове — публичный доклад в Городском театре. Оттуда он должен был с докладами проехать в Киев, Полтаву, Чернигов, Екатеринослав. Но утром 9-го июля во всех газетах было напечатано сообщение по телеграфу из Петербурга, что правительством издан указ о роспуске Государственной Думы. В тот же день он выехал в Петербург. Не только революционеры были тогда убеждены, что на разгон Думы страна ответит дружным отпором.

Центральный Комитет эсеровской партии находился тогда в Финляндии. Он принял важные решения: на роспуск Государственной Думы необходимо ответить организованным восстанием — прежде всего в самых чувствительных пунктах: в военных крепостях, гарнизонах, в армии и флоте, которые, по нашему общему представлению, были уже достаточно в революционном отношении подготовлены. Для этого в отдельные крупные пункты должны были быть брошены лучшие партийные силы — лучшие ораторы, агитаторы и организаторы. Такими пунктами были намечены — Кронштадт, Свеаборг, Ревель (где тогда стояла военная эскадра), Киев, Севастополь. В Свеаборг был отправлен В. М. Чернов, в Кронштадт — член Государственной Думы Онипко, в Ревель — Фондаминский-Бунаков.

17-го июля вспыхнуло восстание в Свеаборге — оно было неудачно и немедленно подавлено. 19-20 июля восстание началось в Кронштадте — оно было тоже подавлено и позднее за участие в нем были расстреляны 36 человек, главным образом матросы. В Ревеле сначала восстание было удачным — 20-го июля броненосец «Память Азова» был захвачен восставшими, но затем и там восстание было подавлено. 21-го июля в газетах была помещена телеграмма из Ревеля, извещавшая, что «правительству удалось справиться с движением — «Память Азова» снова в руках правительства, в числе арестованных на броненосце Бунаков-Фондаминский, участник восстания»...

Прочитав в петербургских газетах эту телеграмму, я заявил Центральному Комитету, что еду в Ревель — быть может, как-нибудь удастся спасти Илью. Меня не отговаривали.

Без особенного труда я установил, что произошло в Ревеле. Когда 17-го июля началось восстание в Свеаборге, а затем и в Кронштадте, волнение во флоте, как по пороховой нитке, передалось и в Ревель, где стояла тогда балтийская эскадра. Начались волнения на «Памяти Азова». В них приняли участие существовавшие в Ревеле революционные организации. «Память Азова» был захвачен восставшими матросами — несколько офицеров было убито, остальные были выброшены в море, но спаслись. Одним из руководителей восстания был некто Оскар, член ревельской социал-демократической организации. Илья приехал в Ревель, когда «Память Азова» был уже в руках восставших матросов. Он, несомненно, отдавал себе отчет в положении, потому что приехавшему вместе с ним члену Государственной Думы, трудовику, доктору Корнильеву сказал: — если я погибну, передайте Амалии, что моя последняя мысль будет о ней» (совсем как у Шиллера: “und sein letztes Wort war — Amalia”). Он отправился на шлюпке на восставший броненосец. Но он не знал, что как раз в это время положение на броненосце резко изменилось (броненосец стоял в некотором отдалении от берега, и на берегу не сразу могли узнать о том, что делается на борту броненосца); верные правительству матросы — так называемые «кондуктора», т. е. унтер-офицеры — взяли верх и снова овладели броненосцем. Восставшие во главе с Оскаром были схвачены и посажены в трюм. На шлюпке Илья этого еще не знал и, поэтому, был чрезвычайно изумлен, когда на палубе его и приехавших с ним двух членов ревельской организации с.-ров (рабочих ревельского порта) схватили и тут же связали, как участников мятежа.

Положение Ильи было скверное, если не сказать — безнадежное. После разгона Государственной Думы вместо старого и безвольного Горемыкина председателем совета министров был назначен бывший саратовский губернатор энергичный Столыпин. Одним из его первых мероприятий было учреждение военно-полевых судов. Кроме того — восстание в Ревеле произошло во флоте, следовательно виновные должны быть судимы военным судом, т. е. расправа будет короткая и беспощадная. Признаюсь, в ту минуту у меня не было никаких надежд на спасение Ильи.

Первое, что я тогда сделал — я послал Амалии в Берлин, где она находилась около больного Михаила Гоца, телеграмму.

Я и сейчас хорошо помню ее текст: “Tusik hier schwer erkrankt, doch habe Hoffnung. Andrei”, т. е. «Тузик здесь тяжело захворал, все-таки имею надежды. Андрей». («Тузик» — эту «собачью» кличку Илье придумал Абраша Гоц, мое условное имя тогда было — «Андрей»).

Я дал эту жестокую телеграмму Амалии, так как не считал себя вправе скрыть от нее правду — быть может, она еще успеет приехать и застать Илью в живых, получить с ним свидание. Амалия приехала немедленно — вместе со своей belle-soeur Л. С. Гавронской, которая примчалась из Москвы. Я встретил их на вокзале, но к ним не подошел. Лишь потом, с большими предосторожностями, проник в гостинницу, где они остановились. Дал им адрес местного присяжного поверенного А. А. Булата, который сочувствовал эсерам, а затем и примкнул к ним (позднее он был членом трудовой группы второй Государственной Думы); знакомство с ним было им очень полезно — они не чувствовали теперь себя в Ревеле совершенно одинокими.

За те несколько дней, которые прошли с момента ареста, удалось сделать — при помощи местной партийной организации — многое. Прежде всего удалось установить местопребывание арестованных. Илья вместе со всеми остальными арестованными — всего их было 12 человек — содержался во временной военной тюрьме, устроенной в верхней части города. Это была старая часть Ревеля, поднимавшаяся на небольшом холме над городом. Там были средневековые немецкие церкви и остатки старинной крепости с двумя царившими над городом башнями — одной высокой и узкой («Длинный Генрих»), другой — низкой и широкой («Толстая Маргарита»). Все арестованные содержались в «Толстой Маргарите», охраняемые военным караулом. Сидели в двух круглых камерах в разных этажах, причем Илья, как это удалось выяснить, сидел со своими обоими товарищами отдельно от остальных. Суд над всеми двенадцатью предполагался в ближайшие дни. План спасения Ильи заключался в том, чтобы подменить его во время посещения уборной, находившейся на темной лестнице в той же башне, куда арестованные ходили с одним солдатом и куда можно было проникнуть со двора. План дерзкий, даже отчаянный — но шансы на удачу, нам казалось, были. Он был одобрен организацией. В Гельсингфорс я отправил специального курьера с просьбой прислать, на всякий случай, кого-нибудь из техников Боевой Организации с запасом динамита на два-три снаряда. Приехала Павла А. Левенсон (живущая сейчас в Париже). Несколько товарищей из партийной ревель-

ской организации предложили себя в качестве метальщиков. Наш план заключался в том, чтобы после замены Ильи и выхода его из башни задержать, в случае надобности, динамитными снарядами погоню. Удалось переслать Илье письмо с подробным описанием плана и с просьбой указать день и час такой возможной замены. В маленьком пакетице, который мне от Ильи был передан, были две записочки — одна мне, другая — Амалии. Илья коротко и категорически, хотя и в ласковых словах, отказывался от нашего плана и вообще просил оставить всякую работу по его освобождению. На что он надеялся, он не писал. Что он писал Амалии, я не знаю.

И все же, быть может, я тогда, действительно, спас Илье жизнь! Накануне самого суда я узнал, что наша партийная ревельская организация, после отказа Ильи от нашего плана, на свою собственную ответственность решила вмешаться в события. Товарищи были убеждены, что все двенадцать арестованных будут приговорены к смертной казни и расстреляны. Знали, где будет происходить суд — дорога к нему от «Толстой Маргариты» после площади шла по узкой улице, очень удобной для нападения — в особенности с динамитными снарядами. Была даже знакомая квартира, в которую можно было забраться и которая окнами выходила на эту улицу. — «Пусть наши товарищи погибнут лучше от нашей руки, чем от руки царских палачей — зато при этом погибнет и стража, которая будет их окружать!» — Когда я узнал об этом ужасном плане, я от имени Центрального Комитета за претил им действовать. Неохотно, но моему приказу они подчинились.

Амалии свидания не дали. Суд был назначен и продолжался всего несколько часов. Мы узнали о вынесенном смертном приговоре, но, несмотря на все усилия А. А. Булата, не могли выяснить, сколько человек к смерти были приговорены. Вечером я видел Амалию — на нее страшно было смотреть, она как будто окаменела, но не плакала. Эту ночь мы не спали. А на рассвете весь город услышал залп наверху. Слышала его Амалия. Слышала его и я.

Сейчас же поползли по городу слухи и рассказы. Кто-то, как будто, даже видел сцену расстрела — на той самой площади, на которую выходила «Толстая Маргарита», у стены «Длинного Генриха». К канату между домами были привязаны арестованные, стреляли в них на близком расстоянии — затем все трупы взвалили на большую телегу и увезли. Сколько всего человек было расстреляно, никто не мог сказать, но единодушно говорили, что среди расстрелянных был только один в штатском, остальные были матросы. Оскар не мог не быть

расстрелян, следовательно?.. Скоро в гостиницу к Амалии пришел и Булат и сообщил, что расстреляны были восемь матросов и Оскар. Дело о троих, арестованных уже после восстания и захвата «Памяти Азова», было выделено. Илья спасся чудом.

Но этим его мытарства не кончились. Он и оба арестованных вместе с ним ревельских рабочих были перевезены в Петербург — и там над ними был назначен новый военный суд. Прокурором на этом суде был знаменитый Павлов — все суды с его участием кончались расстрелом. Суд состоялся через два месяца. Илью и его товарищей защищали несколько человек, в том числе и А. А. Булат. На суд были допущены Амалия и Л. С. Гавронская. Между защитниками и обвинением борьба за головы обвиняемых была горячая. И суд — военный суд — вынес всем трем обвиняемым оправдательный приговор! Поднялась суматоха, раздались аплодисменты. Стража расступилась — Илья оказался на свободе. Амалия судорожно вцепилась в него. В эту минуту один из членов суда подошел к Амалии и что-то шепнул ей на ухо. Он ей сказал: — «Увезите как можно скорее Вашего мужа за-границу»... — Они вышли из здания вместе с толпой. Газеты потом писали, будто Амалия вскочила с Ильей на извозчика и крикнула: — «Извозчик, за границу!» — Это была, конечно, только удачная выдумка репортера. В действительности они, правда, тут же сели на извозчика и уехали на Финляндский вокзал, откуда с первым же поездом — в Гельсингфорс, где через финских активистов им немедленно добыли заграничные паспорта, и дальше — в Або, из Або в Стокгольм, из Стокгольма через Германию в Париж. Ведь виз в то время не требовалось...

Таким совершенно чудесным образом спасся Илья от почти верной смерти. Это было в октябре 1906 года. В его биографии ревельский эпизод был, несомненно, самым ярким и не мог не оставить следа на всей его последовавшей жизни.

Фондаминские на долгие годы поселились в Париже — на квартире, которую, недалеко от себя, им нашла С. Г. Пети, на рю Черновиц, в Пасси. Тогда это был еще не вполне застроенный район, внизу расстилался огромный зеленый сад, спускавшийся к Сене, с балкона открывался чудесный вид на весь Париж — с Эйфелевой башней, «Большим Колесом» (Grande Roue), остававшимся еще от всемирной выставки 1900 года и с широким горизонтом. Весь Париж, как будто, был у ваших ног — отсюда 14-го июля мы обычно любовались ночной иллюминацией города. Мне всегда казалось, что приблизительно

такая же панорама Парижа открывалась перед Пьером в романе Золя «Париж».

Для Ильи эти тихие годы были годами самоуглубления и самоопределения. Большое влияние на него оказала близость — а позднее и дружба — с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, жившими эти годы тоже в Париже. С ними он познакомился в Петербурге — в свои наезды туда из Москвы — в 1905 и 1906 годах. Они издавали в 1905 году ежемесячный религиозно-философский журнал «Вопросы Жизни»; когда Илья бывал в Петербурге, он посещал собрания «Религиозно-Философского Общества», активными участниками и даже руководителями которых были Мережковские и Д. В. Философов. На издание «Вопросов Жизни» Илья передал какую-то сумму из личных средств (несколько тысяч рублей). В Париже влияние Мережковских на Илью усилилось, сделалось более постоянным. Оба они Илью нежно полюбили, Зинаида Николаевна называла его «Иваном Царевичем», не зная, что в свое время ближайший друг Ильи любовно называл его «Иванушкой Дурачком». Так на моих глазах «Иванушка Дурачок» Абраши Гоц превратился в «Ивана Царевича». Дружил Илья в те годы также с Б. В. Савинковым, который тогда тоже жил в Париже и тоже бывал у Мережковских. Но участвовал Илья и в партийной жизни, был членом Заграничной Делегации П. С-Р. Тяжело пережил азефовщину (в 1909 году), которая вся прошла у него на глазах — Азефа знал давно и хорошо (впрочем, как и все остальные — недостаточно хорошо!). Оставался ортодоксальным эсером в признании террора и после Азефа, был даже техническим посредником в сношениях партии с Савинковым, принявшимся за восстановление террористических предприятий. Но — для всего его внутреннего духовного развития — было только естественным, что затем (с весны 1910 года) от террора отказался: эта линия была выражена в новом литературном партийном начинании «Почин», в котором он принял участие и которое возглавил вместе с Н. Д. Авксентьевым.

Когда в 1914 году началась война, он — вместе с Н. Д. Авксентьевым — был горячим оборонцем. Вместе с Г. В. Плехановым они начали издавать в 1915 году журнал «Призыв», в котором была объявлена война «пораженцам». Все они получили от последних кличку «социал-патриотов» — «к свободе, — писал «Призыв», — можно придти только на путях национальной самообороны». По всему своему идейному прошлому Илья не мог не быть патриотом и патриотом страстным.

Патриотом он приехал в апреле 1917 года в Петербург — тогдашний Петроград. С головой окунулся в события. Чуть ли

не на другой день вошел в Совет Крестьянских Депутатов, избран был там в Исполнительный Комитет, был товарищем председателя (председателем был Н. Д. Авксентьев). Долго готовился к своему большому выступлению в Совете Крестьянских Депутатов и, действительно, с огромным успехом выступил на одном из пленарных заседаний Совета. Его доклад под названием «О земле» был напечатан в миллионах экземпляров и получил широкое распространение. Но по мере «углубления» революции и нарастания гражданской войны неудовлетворенность и неуверенность все сильнее охватывали его. Позднее свое состояние он объяснял тем, что у него падала вера в успех революции. Я объясняю его тогдашнее самочувствие иначе — он не находил себе лично применения. Чувствовал в себе силы, по своей активной натуре рвался к тому, чтобы применить их к делу — и не находил этого дела, не находил путей. Вот почему он с такой радостью ухватился за сделанное ему предложение — принять пост комиссара Временного Правительства для Черноморского флота. В подъеме уехал в Севастополь — и в течение нескольких месяцев участвовал в бурной политической жизни Черноморья, сводившейся тогда всецело к борьбе с нарастающим среди матросов Черного моря большевистским увлечением. Много ярких эпизодов пришлось ему там пережить, он был среди черноморских матросов очень популярен. Оставил Севастополь лишь в конце декабря, чтобы попасть на открытие Учредительного Собрания — он был огромным большинством голосов избран в Учредительное Собрание депутатом от Черноморского флота, имевшего в Учредительном Собрании свое особое представительство. Участвовал в единственном ночном заседании Учредительного Собрания 6 января 1918 года, выступал, не заметив даже — или не обратив внимания — как в него целился из винтовки какой-то матрос-большевик, узнавший в нем комиссара Черноморского флота; только вмешательство соседа остановило выстрел, который, по всей обстановке момента, был бы началом массовой кровавой расправы большевиков с депутатами...

После разгона Учредительного Собрания большевиками Фондаминский, как и многие другие, должен был перейти на нелегальное положение — сначала в Петербурге, затем в Москве и, наконец, на Волге в Костромской губернии, где он вынужден был скрываться и где лишь странная случайность спасла его от ареста и немедленной расправы (узнавший его Ф. Раскольников, большевистский комиссар по морским делам, явившийся с обыском на пароход, на котором ехал Фондамин-

ский, проявил не то слабость, не то неожиданное мягкосердечие и, взглянув на него, прошел мимо).

Летом 1918 года Фондаминским удалось добраться до Одессы. После короткой и неудачной попытки образования общего фронта против большевиков Илья через Константинополь выехал за-границу и ранней весной 1919 года вместе с Амалией они снова оказались в эмиграции, на своей прежней квартире, рю Черновиц в Пасси.

Было ясно, что эмиграция эта будет длительной — такой она и оказалась. Реального политического дела не было, да, думаю, по тогдашнему настроению Ильи, к нему у него и не лежала большая душа. Он принялся за большую работу, которая для него естественно вытекала из всего им пережитого и передуманного. Она, конечно, была посвящена России — так она и была им названа: «Пути России». Но подошел он к этой теме издали — сначала он дрянялся за изучение судеб других народов: Китая, Индии, Востока, Египта. Там он старался найти ответы на мучавшие его вопросы — как и чем определены были особые пути России. Он проглотил для этого в течение всех лет, отданных этой работе, огромное количество книг, добываясь до первоисточников. На это сначала уходило все его время. Зимой Фондаминские жили на юге Франции — в Грассе, в Париж возвращались только на летние месяцы. И ночами Илья упорно сидел за книгами, часами потом выхаживая по своему кабинету. Мы смеялись, что свои статьи он писал не только руками и головой, но и ногами — раньше, чем написать какую-нибудь статью, он должен был сначала всю ее от первого до последнего слова сказать себе. Он любил повторять слова Анатоля Франса, что раньше, чем написать фразу на бумаге, надо ее долго ласкать и гладить, пока она, наконец, не улыбнется. Так родилась длинная серия его статей под названием «Пути России», напечатанная в «Современных Записках», так им и не законченная. Из этих статей мог бы составиться толстый том. А из прочитанных им книг у него составилаь большая и богатая библиотека.

Илья входил также в редакцию «Современных Записок» — вместе с Н. Д. Авксентьевым, М. В. Вишняком, А. И. Гуковским (пока он был жив) и В. В. Рудневым. Журнал был лучшим в эмиграции, а как некоторые уверяют — и во всей русской журналистике. Илье особенно он был обязан своей широтой и гуманистическим подходом ко всем не только литературно-культурным, но и политическим темам.

Но эта работа не могла удовлетворить его. В натуре Ильи была, несомненно, какая-то проповедническая, апостольская

устремленность. Он не только стремился к знанию, не только хотел делиться своими знаниями с другими, но и старался убедить других в том, что он считал общечеловеческой правдой, старался воздействовать на ближнего. Вот почему так часто беседы с ним на литературные и общественные темы превращались в задушевный разговор о том, что его собеседника мучило, на что тот искал ответа для себя. И после многочасовых разговоров из его кабинета выходили люди — если и не с просветленной душой, то с просветленными лицами. Вот почему его так и любили те, кто его знал.

С годами круг его интересов и практической работы становился все шире. Уже давно он не ограничивался рамками партийных программ — он интересовался, иногда увлекался и часто помогал всем духовным исканиям и всем культурным начинаниям. Было ли то юбилейное издание «Очерков по истории русской культуры» Милюкова или собрание речей и воспоминаний Грузенберга, «Утверждения» Ширинского-Шихматова, очерки Мочульского по истории русской литературы — он с любовью и охотой помогал найти средства, издателя, типографию. Он выработал даже особый метод издания книг, авансируя типографию своими средствами и заранее распределяя будущее издание между разными русскими книжными магазинами Парижа и Берлина. Не беда, если порой материальная основа оказывалась шаткой или сомнительной — он смотрел на все будущие возможности оптимистически, за что однажды и поплатился крупной суммой, которая легла на него лично. Но он не ограничивался и этим. После смерти Амалии — в июне 1935 года — он почти с каким-то азартом отдался широкой общественной работе и работе личного воздействия на других людей. Каждую субботу на его квартире — на авеню де Версай — собирались — то молодые писатели и поэты, то один из созданных им кружков по изучению разных течений современной мысли, то артисты и театральные деятели. Он увлекался театром, при его личном воздействии и помощи родился и вырос в Париже «Русский Театр», успешно работавший в течение трех сезонов. К театальному миру он никогда раньше отношения не имел и скромно называл себя только «вдохновителем» (“animateur”). Он же в течение двух сезонов устраивал так называемые «Вечера Современных Записок» — с докладами на самые разнообразные темы — Милюкова, Керенского, Ростовцева, Давыдова, Жаботинского. Но любимым его детищем был, конечно, «Новый Град» — журнал религиозно-философско-культурного характера, который он редактировал вместе с Г. П. Федотовым и Ф. А. Сте-

пуном. А самыми дорогими были для него те собрания в его кабинете, на которых шли беседы на религиозно-философские темы с участием Г. П. Федотова, матери Марии (Скобцовой), Пьянова и других, создавших на Рю Люрмель «Православное Дело». Всеми этими заботами и делами он был занят неустанно до последнего дня нашей совместной жизни в Париже.

Для всех, живших эти годы рядом с Ильей и встречавшихся с ним, был очевиден особый духовный рост его, ведший его к раскрытию и расцвету того, что ему было присуще. Тогда мы не знали, куда это его приведет и поняли только после его гибели — он сознательно и радостно принес себя в жертву той духовной правде, которую всю жизнь искал и в конце концов для себя нашел.

20-го января 1940 г. я уехал на короткую побывку в Финляндию собрать среди русских военно-пленных новый материал о жизни в России. — «Смотри, — говорил он мне при прощании, — отпускаю тебя только на один месяц».

Разлука наша оказалась иной — больше мы с ним не виделись.

В. Зензинов.

И. И. ФОНДАМИНСКИЙ В ЭМИГРАЦИИ

Об Илье Исидоровиче Фондаминском трудно писать, не впадая в агиографический тон. Он, действительно, был праведником и в христианском и в светском смысле слова; а умер мучеником. Правда, шансов на канонизацию у него, еврея и социалиста-революционера, не много. Но есть другая, личная канонизация, которая, с легкой руки народовольцев, обескровила и обезличила биографии большинства праведников из русской интеллигенции. Вот почему так важно сохранить черты живого человеческого лица, пока они еще не стерты героической легендой. Легкая мера болландистского критицизма сугубо необходима.

*
**

Я никогда не встречался с Бунаковым-Фондаминским в России. Лишь отголоски его легенды — Лассалья, Непобедимого — долетали до меня в далекие годы первой революции. Познакомился я с ним в Париже, вскоре по моем приезде туда, в эмиграцию, в самом конце 1925-го или в начале 1926-го года. Не могу сказать, при каких обстоятельствах наше знакомство произошло, но с тех пор, как помню себя в эмиграции, вижу себя в уютной столовой Фондаминских за чашкой чая, среди немногих гостей, или в кабинете Ильи Исидоровича в беседе с хозяином, почти всегда деловой или идеологической, почти всегда связанной с одним из его многочисленных литературных или общественных предприятий. Пятнадцать лет я был его сотрудником почти во всех его начинаниях, особенно по изданию «Нового Града», где к нам присоединился Ф. А. Степун. Я мог наблюдать жизнь И. И. и в домашнем быту, гостя у него на его вилле в Грассе. Имею ли я право называть себя его другом в русском смысле этого слова? По совести, не знаю. Илья Исидорович не посвящал меня в интимные стороны своей жизни, редко вообще говорил о себе, о своем прошлом. Никогда не жаловался на жизнь. Наверное, были люди, которые знали его ближе и глубже, но боюсь, что «иных уж нет, а те далече». И мне приходится восстанавливать его духовный облик из отражений и обрывков внешних впечатлений.

Первое, что поражало и покоряло в Фондаминском, была его редкая доброта. Она казалась безграничной. Разная бывает доброта. Доброта Ильи Исидоровича проявлялась ярче всего в аспекте кротости. Удивительна была его мягкость и деликатность в отношениях с людьми. Я никогда не видал его рассерженным, нетерпеливым или даже негодующим. Казалось, он готов принять всякого человека в братское общение, все ему простить и верить в кредит. Совершенно неслыханной в кругу русской идеологической интеллигенции была его терпимость к чужим убеждениям, даже самым далеким, даже враждебным. Он всегда старался понять противника в его основной правде, не переспорить, а переубедить его. Он часто сокрушался по поводу фанатизма русских людей его круга, русской интеллигенции вообще, где расхождения во взглядах всегда готовы вылиться в личную вражду. Фондаминскому это было чуждо, словно он сам никогда не принадлежал к столь чтимому им «ордену» русской интеллигенции. Конечно, эта терпимость отчасти объяснялась открывшейся ему другой стороной истины. Он был одним из немногих, кто на историческом водоразделе сумел видеть подлинные, не шаржированные очертания и старой и новой России. Но интеллектуальные мотивы недостаточны для объяснения его терпимости. «Широкая церковь» у нас имеет тоже своих фанатиков. У И. И. терпимость была выражением доброты, которая принимала и активные формы, показывающие, что она не была только биологически-защитной установкой, за которой нередко скрывается равнодушие. И. И. помогал множеству людей и в материальных и в духовных нуждах. Помогал достойным и недостойным, и не жалел своих денег. А, ведь, деньги более надежный показатель доброты, чем улыбки.

Но есть еще более ценные дары, чем деньги и улыбки. И. И. притягивал к себе людей, мучающихся личным горем или заблудившихся на путях жизни. К нему шли не только как к другу, но почти как к духовнику или светскому старцу. В наше время растерянности, разброда и отчаяния, потребность в чужом водительстве сильнее, чем когда-либо. И. И. не тяготился этой ролью, выпавшей на его долю. Он даже как-будто любил ее, изменяя в этом своему обычному смирению. Может быть, потому, что нравственные истины — необычайное явление в нашу эпоху — были для него яснее, неотразимее истин рациональных, где он охотно прислушивался к чужому голосу. И, несмотря на эту абсолютность нравственных императивов, И. И. не был строгим духовником. Он никогда не обличал, не возлагал тяжкого бремени. Он сочувствовал, переживал сам

чужое горе и давал надежду. В этом отношении его оптимизм оказывался чудодейственным средством. Казалось, в жизни для него не было безысходных или трагических положений. Даже таких, что требуют смерти или мучительной жертвы, которая бывает хуже смерти. Оптимизм не изменял ему в самых тяжелых обстоятельствах. Он имел характер не природной жизнерадостности, а исповедания веры или нравственного долга. Не было словечка, которое так часто срывалось бы с его губ, как его любимое «чудно, чудно!» Оно слетало иногда и невпопад, при обстоятельствах далеких от чудесности. И. И. не изменил себе и своему обязательному оптимизму даже во время последней болезни любимой жены, когда ее положение было признано безнадежным. И на кладбище, над могилой Амалии Осиповны, он силился изобразить улыбку на своем лице. Но в этой улыбке было уже нечто безумное.

Конечно, оптимизм был драгоценным качеством светского «*directeur de conscience*». Им Илья Исидорович напоминал не столько оптинских старцев, сколько горьковского Луку. Не то, чтобы Фондаминский, подобно Луке или Горькому, стоял за «золотой сон» или «возвышающий обман». Но он был органически неспособен причинить человеку страдание. Сама правда, даже нравственная правда, должна была потесниться перед человеком. А любовь к человеку для И. И. прежде всего требовала утешения, облегчения горя.

Если считать, что совершенная любовь должна преодолеть и жалость, то любовь И. И. не была совершенной, хотя и была бесконечно выше того, что под именем любви понимают аскетические истязатели. Но в его любви не хватало и другого, — и в этом истязатели уже вполне на его стороне. Не хватало совершенно личного отношения, того, что можно назвать моментом выбора, избрания, *di-lectio*. Для многих представителей монашеской этики, но также и для Толстого, любовь должна быть равной ко всем, не знать предпочтения. Но в ограниченности человеческого, а не Божественного сердца это равенство обескровливает любовь, делает ее теплой, если не прохладной. Несомненно, многие из друзей И. И. или спасаемых им духовных чад досадовали на широту его сердца, когда убеждались, что не могут притязать на исключительное место в его жизни. И. И., по крайней мере в те годы, когда я его знал, не имел друзей в том смысле, как романтики понимали это слово. Он сознавал за собой это свойство или недостаток и с юмором смирения принимал упрек, делаемый ему в «*fausse bonté*».

Незлобивость И. И., его неограниченная терпимость, если не ко злу то к злым, его оптимизм могли приводить в отчаяние его товарищей по партии, да и не только их одних. Общась с ним, трудно было представить себе, что этот кроткий непротивленец и былой Бунаков-Непобедимый один и тот же человек. Он ни от чего не отрекался, ничего не проклинал в своем прошлом. Но он стал христианином, и это изменило его природу. Мы не знаем — и вряд ли кто-нибудь из живых может теперь рассказать, — как происходило его «обращение». Повидимому, это был длительный процесс, начало которого относится к первым годам века, то-есть, к первым годам его революционной карьеры. Кризисы, несомненно, прорезывали эту в общем духовно-счастливую жизнь. Об одном из этих кризисов И. И. говорил намеками, и мы решаемся, конечно, только в виде предположения, искать в нем объяснения загадки его личности. По его словам, он однажды пережил тяжелое душевное потрясение, приведшее его к нервной болезни, — может быть, на порог безумия. Из кризиса он вышел обновленным, но далось ему это не легко. Он должен был с огромными усилиями строить в себе нового человека. Людей, переживших религиозное обращение, которое пересоздало всю их личность, называют дважды рожденными. Это определение как-то не подходит к И. И. Говоря о нем, скорее вспоминаешь о художественной вазе, разбитой, но искусно склеенной. С первого взгляда не видны швы и следы поломки, но они проступают, когда вглядываешься пристально. Может быть, правильнее было бы подыскать органическое сравнение. Ведь, самые тяжелые раны заживают, кости срастаются, но рубцы остаются. Остается иногда и функциональное поражение мускулов, хромота, например. Почти неестественная кротость, терпимость и оптимизм И. И. были не то что маской, скрывающей его лицо, но броней, в которую он заковал себя, эгидой, которой он отвращал чудовищ, некогда глянувших на него из глубины хаоса.

Народническое прошлое облегчало для И. И. его христианское самовоспитание. Кротости и терпению приходилось учиться заново. Но человеколюбие было пересажено безболезненно. В науке любви безбожные праведники русской интеллигенции мало чему могли научиться от современных христиан. Остался также и народнический «кенозис», та форма социальной аскезы, которой русская интеллигенция сближается с традицией русских святых. «Худы Ризы» Сергия Радонежского соответствовали поношенному пиджаку, измятому воротничку, в которых И. И. появлялся на собраниях и даже в концертах, его по неделям не бритой бороде.

Он не подвергал себя нарочитой аскезе, не спал как Рахметов на гвоздях, не отказывался от тех благ культуры и комфорта, которыми мог пользоваться по своим средствам, или, вернее, по привычкам своей жены, но он в них нисколько не нуждался и, ясно было, от них мог легко отказаться при первой необходимости.

Насколько христианство И. И. было полным и глубоким? На этот вопрос не легко ответить. Как известно, он крестился лишь накануне смерти, — следовательно, не принимал участия ни в таинствах церкви, ни в так называемой церковной жизни. Но он молился и его можно было видеть в церкви каждое воскресенье. В последние годы перед войной он принадлежал к маленькому православному французскому приходу о. Жилле. Было бы естественным предполагать у него какие-либо догматические или иные сомнения, заставлявшие его откладывать вступление в церковь. Но И. И. всегда отклонял такие предположения. По своей скромности, он никогда не выступал с богословскими речами или статьями, и счастливо избежал пространственного соблазна стать православным публицистом. Но современная богословская интерпретация православия, Соловьева, Булгакова и особенно Бердяева, повидимому, его вполне удовлетворяла.

Отрицал он и другое предположение, что он не стремится к таинству потому, что не чувствует в нем потребности. Его философский идеализм давал основания для этого мнения, но И. И. утверждал, что для него вполне ясно, почему человек, существо духовно-телесное, нуждается и в материальных символах для духовных даров. И в этом он был искренен, хотя, несомненно, что шел он ко Христу путем этическим, а не мистически-сакраментальным. На вопрос, почему он, будучи во всем согласен с церковью, не крестится, он отвечал всегда одно: что он недостоин. В этом тоже была доля истины, то есть в смирении его самооценки. Подобно христианам IV века он считал, что крещение означает еще новый перелом в жизни, новый подвиг святости. Так, в XX веке он восстанавливал в церкви чин оглашенных.

Думается, была и другая причина его медлительности, и заключалась она в его еврейском самосознании. Русское в Фондаминском преобладало над еврейским, и в культуре и в нравственном характере. Но оставалось место и для еврейства. Не болея особенно еврейскими проблемами, он не хотел разрывать связи с еврейским народом, прежде всего с кругом друзей, родных и близких, для которых религиозное и национальное бы-

ли связаны неразрывно. Даже «агностики» не простили бы ему крещения, как измены своему народу. Вся религиозная трагедия еврейства непосредственно переживалась им в отношении к его жене. Амалия Осиповна, христианка, как и он, по убеждениям, была более кровно связана с еврейством, чем И. И. Ее страстная любовь к матери, ортодоксальной еврейке, делала для нее невозможным крещение, даже после смерти последней; А. О. не хотела разлучаться с матерью и в иных мирах. Такова же должна была быть и религиозная драма И. И. Она во многом напоминает драму Пеги, этого пламенного и ортодоксального католика, который до порога смерти не мог ходить на мессу, чтобы не покинуть своих неверующих друзей, свой «орден» радикальной интеллигенции. Впрочем, Фондаминский никогда не говорил об этом тайном мотиве своего оглашенчества. Всегда ссылаясь на свое достоинство.

*
**

И. И. Фондаминский не был крупным мыслителем. Его личность была много значительнее его писаний. Но мысль его работала всегда, пытливо и самоотверженно, и он, несомненно, займет свое место в истории русской общественной мысли. Ему выпало на долю, как задача жизни, перебросить мост от революционного народничества к христианству. Задача была не легкая, поскольку он хотел оставаться общественником, а не уходил, подобно многим, потерпевшим крушение, в религию личного спасения. Не пошел он слепо и за кем-либо из новых православных вождей-социалистов, как Булгаков или Бердяев. Он искал своего пути.

Фондаминскому не легко давался процесс писания. Он был прирожденный оратор, и большинство написанного им представляет запись непрерывной внутренней речи. Но и писал он мало, предпочитая быть организатором чужой или общей мысли. Его идеи можно изучать по большой неоконченной работе «Пути России», печатавшейся в «Современных Записках», и по статьям в журнале «Новый Град» (1931-1939).

«Пути России» посвящены прошлому. Это опыт анализа политической идеологии, на которой строилась русская государственность. Он довел свое изложение до XIX века, оставаясь все время в кругу одной идеи: идеи русского самодержавия.

Вместе с евразийцами, с Данилевским и Шпенглером — Фондаминский утверждал основную противоположность России и Европы. Россию он относил к восточной культурной

сфере, наряду с Египтом, Китаем и др. Это значит, что для него Московское Царство было высшим раскрытием русской идеи в прошлом, и самодержавие — политической верой русского народа. К пониманию самодержавия его подвели русские славянофилы, которых он глубоко чтит, как отцов, по его мысли, русского народничества. Из первоисточников, главным образом XVII века, он собрал громадный материал для характеристики идеалов московского царя, отца народа, защитника сирот и притесненных. Научная ценность этой работы подрывалась ее односторонностью. Фондаминский мог видеть и изучать только одну сторону действительности, и писал только яркими, несмешанными красками. Но все же после Тихомирова, народовольца, Фондаминский, социалист-революционер, собрал наиболее богатый материал для понимания души русского самодержавия.

Так как самодержавие было верой русского народа, то Фондаминский в порядке личного самоотречения, перестал питать к нему ту священную ненависть, которой жил орден интеллигенции. Он мог без всякого отвращения рассказывать — и даже злоупотреблял этим рассказом — о сапогах Александра Первого, которые целовал обступивший его народ. Не только либералы, но и русские дворяне, в обществе которых выступал Фондаминский, не могли не чувствовать брезгливости к подобным жестам.

Фондаминский не стал монархистом, но по отношению к монархии был навсегда обезоружен. Он никогда не полемизировал с монархистами из правого лагеря или «пореволюционной молодежи». Но он всегда проводил различие между идеалом православного самодержавия и всеми современными формами фашизма, монархического или иного, по отношению к которым сохранял всю свою непримиримость.

Но «Пути России» обращены к прошлому. Сам Фондаминский глядел в будущее. Не историк, а политик, он жаждал принять участие в строительстве нового мира, который он провидел за хаосом исторического крушения. К строительству Нового Града он подходил как социалист, демократ и либерал. Но великие идеологии XIX века должны быть очищены в горниле христианской правды и опыте истории. Социализм должен освободиться от узости классовой борьбы и от материализма, убивающего дух рабочего класса; либерализм — от буржуазного индивидуализма, разъедающего основы общества; демократия — от устарелых форм парламентарной механики. Надо всем этим господствует завещанная славянофилами идея собор-

ности, примиряющая все противоречия в универсальной гармонии.

Как личное с общественным, так национальное примиряется со вселенским в христианском идеале Нового Града.

В широком культурном, не политическом плане, Фондаминский называл свой идеал гуманизмом. Конечно, это было филологическое недоразумение, столь распространенное в нашей среде. Гуманизм у нас смешивается с гуманностью, и человек берется не как существо творческое, а как страдающее. Гуманизм оказывается учением Нагорной Проповеди, но при этом из него должны быть исключены гуманисты Возрождения, давшие ему свое имя, как и великие гуманисты нашего времени: Гете, Ницше, Вячеслав Иванов. Зато в него включаются Белинский и Добролюбов, Диккенс и Некрасов. Гуманизм Фондаминского носил исключительно этический характер, продолжая традиции панморализма русского народничества. Не то, чтобы Фондаминский был совершенно чужд эстетической культуре. Его можно было встретить и на концерте и на художественной выставке. Он наслаждался искусством искренне, и его суждения о нем, всегда скромные, не были слишком некомпетентными. Но эстетическое не нашло места в его мирозерцании. Вероятно, Ницше, как и декадентство, никогда не касались его души, не разъедали ее нравственной цельности. В этом была его сила и его счастье. Примирить Ницше с Христом, над чем трудился Бердяев, было несравненно более сложной задачей, чем примирить с Христом Некрасова. Но это делало мир Фондаминского узким и его воздух немного спертым. При всей тяге к современности и к будущему, весь его облик носил характер несовременный и старомодный — тень XIX века.

Гуманизм, в понимании Фондаминского, несомненно, христианского происхождения и, однако, он считал, что его актуализировала или явила миру французская революция. Странное заблуждение, разделяемое многими. В этом смысле Фондаминский не углублявшийся в историю Европы, как углублялся он в Россию и Восток, остался верен иллюзиям своей молодости. Но он хорошо отдавал себе отчет в том, что Россия, по мере выветривания монархической веры, становилась ареной борьбы между самодержавием и идеалами свободы, равенства и братства. Сам Фондаминский был — в последнюю половину жизни — не столько борцом, сколько проповедником этого революционного гуманизма. Он видел на родине крушение своего идеала в огне черносотенной революции, но не приходил в отчаяние. Он имел еще более горький опыт: видел, как пре-

давала его гуманизм молодежи эмиграции, воспитанию которой он отдавал так много сил. Они любили его; любили слушать, когда он говорил им о христианстве, социализме, самодержавии; но затыкали уши, когда он говорил о свободе. Без свободы идеал обращался в русский вариант фашизма, которым были заражены почти все новые пореволюционные течения. Фондаминский видел и это, и не отчаивался. У него была своя философия истории, в которой не трудно распознать следы «исторических писем» Лаврова. Отталкиваясь от марксизма и всяческих форм исторического материализма, Фондаминский возвращался к вере в непобедимую силу идей и носительницы их — героической личности. Любая идея может победить в мире, всегда и в любой исторической обстановке. Нужна лишь крепкая вера в нее сплоченной группы людей, готовых проводить ее в жизнь. Победа Ленина в России, вопреки всем экономическим законам, вопреки здравому смыслу, подтверждала для Фондаминского его доктрину. Он любил говорить, что в 90-х годах вся большевистская партия могла уместиться на одном диване. Он верил, что та малая кучка молодежи, которую он старался собрать вокруг себя, со временем может изменить судьбу России и, может быть, мира. Но одно логическое признание идеи недостаточно. Действенность идеи зависит от энтузиазма ее носителей, и большая часть работы Фондаминского была посвящена «культуре энтузиазма».

В отличие от Ленина 90-х и всяких других годов, Фондаминский менее дорожил чистотой принципов и качеством отбора, чем широтой охвата своей пропаганды. Он шел во все политические и культурные группировки, которые его терпели, и строил свои собственные. Не говоря уже о журнале «Современные Записки», которого он был одним из редакторов, он работал в кружках Христианского Студенческого Движения и позже Православного Дела, бывал в Р. Д. О., у младороссов, в Пореволюционном Клубе Ширинского-Шихматова, читал даже в Союзе Дворян. Этот список далеко не исчерпывает всех организаций и кружков, куда Фондаминский вкладывал свою неутомимую активность. Со времени основания «Нового Града», он старался сделать его центром своей организаторской работы. По его мысли, вокруг «Нового Града» и на основе его идей должны быть созданы группы интеллигенции на профессиональной основе — педагогов, инженеров, врачей, писателей — которые готовили бы себя для общественной работы в России. Из этих планов осуществился только один: кружок («Круг») молодых писателей (вернее, поэтов). Среди всех профессио-

нальных групп поэты менее всего подходят для роли общественных деятелей и реформаторов. Но они тянулись к Фондаминскому, находя вокруг него человеческое тепло и веру, отогревающую их в ледяной стуже Монпарнаса. У некоторых из них просыпалось желание найти выход из внутренней анархии, в каком-то положительном идеале, религиозном или общественном. Лично Фондаминский помог многим найти себя, устоять в безвременьи. Но общественной цели своей он не достиг. Он попробовал отобрать в «Круге» маленькую группу людей, разделяющих идеи «Нового Града» и готовых работать для них, но с самого начала в ядре будущего ордена не оказалось единства. Когда грянула война, группа рабрелась в разные стороны; многие стали жертвой соблазнов московского фашизма.

Смотря на работу Фондаминского со стороны, и со стороны общественной, следует признать, что она потерпела крушение. О Фондаминском можно было бы сказать словами одного древнего русского писателя: «аки на воду сеял». Но нельзя измерить внешними результатами впечатления слова, за которым стоит пламенное убеждение и любовь. Хочется думать, что те из «советских патриотов», которые когда-то были учениками или слушателями И. И., не способны уже стать порядочными чекистами. Историческое несчастье Фондаминского в том, что он не дожил до встречи с новой советской молодежью, «избравшей свободу». В нем они нашли бы того вождя, которого ищут так страстно, а он — ту армию Нового Града, которая — кто знает? — могла бы действительно завоевать новую Россию.

*
**

Терпеливая и мужественная оборона против хаоса выдержала одно тяжелое испытание. Смерть жены была для И. И. страшным ударом. Несколько лет спустя он как-то признался, что потерял всякий вкус к радостям жизни; что даже природа, которая прежде давала ему столько утешения, стала в тягость. Но он и виду не подавал, какую глубокую рану нанесла ему утрата. Даже не стал суше, суровее. Весь целиком ушел в свою работу. Общественность стала для него единственной жизнью; личной жизни уже не было. И вот тут-то рок нанес ему второй удар, который добил его. На этот раз, казалось, хаос победил.

При всей своей русскости Фондаминский любил Францию; любил ее дивную землю, ее людей, простых, умных и добрых. Гуманистическая религия, в его понимании, родилась на этой

земле. Другой Европы для него не существовало. Когда армии Гитлера прорвали, словно картон, слабое французское сопротивление, Фондаминский почти заболел, физически. Не спал по ночам, не мог уже скрывать своей подавленности. Для него поражение Франции было концом войны. Он не верил в Англию, да и не знал ее. Поражение в этой войне было окончательным торжеством зла на земле, по крайней мере в пределах нашей исторической эпохи. Что должен был выстрадать И. И., когда порывалась последняя нить, связывающая его с миром культуры, да, пожалуй, и с самой землей! Сколько раз он должен был повторять: «Боже мой, почему Ты меня оставил?»

Вернувшись в немецкий Париж после летнего убежища в Аркашоне (в 1940 году), Фондаминский долго и мучительно решал для себя вопрос: оставаться ли ему или уезжать в Америку, куда уже бежали или собирались бежать большинство его друзей из социалистического лагеря. Но бежать стоило лишь для того, чтобы продолжать борьбу. Для борьбы не было ни сил, ни веры. Трудности бегства — и для чего? для собственного самосохранения? — казались непреодолимыми. В этой нерешительности и безволии И. И. производил жалкое впечатление убитого человека: «Презрен и умален паче всех сынов человеческих». И все же не по слабости остался И. И. в Париже, где его ожидала смертельная опасность. Думаю, что решающим был иной, свободный выбор. Не все друзья его были в Америке. Уехали общественники, остались другие, те, с кем он мог молиться и беседовать о последних вещах: Мать Мария (Скобцова), ее друзья из Православного Дома, Мочульский, Бердяев, столько других. В последние дни, перед лицом смерти, И. И. почувствовал, что этот мир для него ближе той общественности, даже христианской, которой он служил всю жизнь.

Арестован был Фондаминский вместе с русскими в июле 1941 года, когда началась война с СССР, но остался в лагере (Компиенском) вместе с евреями, когда большинство русских уже были освобождены. Говорят, что не пощадило его в лагере и последнее испытание: анти-семитизм соотечественников, которых не смягчала и обреченность беззащитных жертв. Но с И. И. было несколько друзей-христиан, от которых мы знаем, как он окреп и вырос в это страшное время. Очевидно, он примирился со смертью и приготовился к ней. Он даже писал в это время своей сестре, что переживает лучшую пору своей жизни: «Я чувствую себя прекрасно, и уже давно, давно не чувствовал себя таким спокойным, веселым и даже счастливым».

Таково же было и впечатление сестры, которой удалось получить свидание с ним (февраль 1942 года): “Il est en bonne humeur, même heureux”. В лагере Илья Исидорович много работал, даже читал лекции своим товарищам по заключению. Тогда-то он решил и креститься. Никакого давления на него не было оказано. Священник, который крестил его, скорее сам чувствовал его влияние, его духовное и даже богословское превосходство. Этот священник рассказывал, что, когда, после крещения, он служил литургию, за которой И. И. должен был впервые причаститься, ворвались немецкие солдаты и приказали прекратить службу, так как походная церковь подлежала закрытию. Таинство было закончено вне церкви, в одном из барачков. Так старый подпольщик в подполье встретил своего Христа.

Чтобы уяснить вполне значение смерти Фондаминского нужно помнить, что она была наполовину добровольной. Ему представлялась возможность спастись. Тяжело заболев в лагере, он был переведен в больницу. Бежать оттуда было возможно, и друзья (на этот раз социалисты) брались устроить побег. Фондаминский отказался. Своим мотивом он указал желание разделить участь обреченных евреев. В последние дни свои он хотел жить с христианами и умереть с евреями, этим, может быть, искупая ту невольную боль, которую он причинял им своим крещением.

Смерть Фондаминского, вероятно, останется навсегда окутана тайной. Он был увезен в Германию, и там следы его теряются. Неизвестен даже и лагерь, в котором он встретил свою смерть. Близкие и друзья годами надеялись на его спасение. Ходили слухи о том, что И. И. вывезен в Россию; были даже люди, которые слышали по радио его голос. Но в смерти его нет сомнения. Французское правительство сообщило семье точную дату: 19 ноября 1942 года. А внешние подробности могут ли прибавить что-нибудь к смыслу его страшной и славной жертвы? Не тысячи, а миллионы прошли тем же путем на Голгофу, но не многие умерли добровольно — чтобы разделить страдания своего (даже наполовину своего) народа.

Вольная смерть, внешне бесцельная и неоправданная, отказ защищать свою жизнь от убийц, «яко агнец непорочен, прямо стригущему его безгласен» — есть русское выражение кенотического подражания Христу. В непротивленчестве своем бывший революционер, из льва обратившийся в агнца, стал учеником — думал ли сам он об этом? — первого русского святого, князя Бориса.

Русский религиозный кенотизм, с первых дней русского христианства, нашел двоякий исход своей жажде подвига: в социальном уничтожении, основанном на любви, и в вольной жертвенной смерти. Через столетия, в безбожной культуре XIX века, русское народничество (по существу тот же кенотизм), следуя бессознательно голосу совести еще христианского народа, осуществляло себя на этих обоих путях. В лице И. И. Фондаминского русское народничество заплатило Церкви с лихвой свой исторический долг.

Г. П. Федотов.

«ПАРИЖСКИЙ ВЕСТНИК»

ПРОГИТЛЕРОВСКИЙ ОРГАН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

(Опыт характеристики)

1.

Изучение печати на русском языке, издававшейся в годы второй мировой войны на обширных территориях, оккупированных нацистской Германией, представляется задачей весьма большого значения. Перелистывая газету «Парижский Вестник», пишуший эти строки наткнулся на целый ряд наименований газет и журналов, выходивших в эти года по-русски, как на территории России, так и в различных пунктах Европы. Достаточно назвать, помимо берлинского «Нового Слова», следующие издания: «Голос Крыма», «Заря», «На переломе» (Смоленск), «Современник» (Крым), «Доброволец» (орган «Войск Освободительного движения»), «Речь» (Бобруйск), «Казачьи Ведомости», «Информационный Листок» (Италия), «Боец РОА», «Борьба» (Брюссель), «Новое Время», — чтобы было ясно, насколько существенно для познания этой драматической эпохи коллекционирование — пока не поздно — и изучение всей этой газетной и журнальной литературы.

Среди прогитлеровских изданий на русском языке «Парижский Вестник» заслуживает особого внимания прежде всего потому, что Париж и Франция вообще были в то время, в численном отношении, одним из наиболее крупных центров русской политической эмиграции. Помимо того, Париж, даже оккупированный немцами, в какой то мере продолжал оставаться одним из самых невралгических центров европейской цивилизации. Поэтому, сколь ни убого было существование русской газеты в Париже в эти годы, — в ней неизбежно было меньше провинциализма, нежели в других аналогичных органах этой эпохи.

Конечно, «Парижский Вестник» был создан немецкой нацистской властью, преследовавшей свои цели. Его руководители были «оком Гитлера» над русской эмиграцией. Более того, это «русское око» находилось в свою очередь под систематическим надзором немецкого военного и партийного начальства: русскими «гауляйлерами»

командовали и руководили «гауляйтеры» нацистские. И тем не менее порою кое-какие голоса живой жизни пробивали это двойное заграждение, — особенно в тот период, когда победоносное шествие гитлеровских орд начало встречать сопротивление.

2.

21 апреля 1942 года приказом Militaerbefehlshaber in Frankreich было создано во Франции Управление делами русской эмиграции (Direction des Affaires des Emigrés Russes en France). Начальником Управления («гауляйтером» или «фюрером») был назначен Ю. С. Жеребков, его заместителем — П. Н. Богданович. При Управлении были образованы три отдела: секретариат — П. А. Рогович, 2-й отдел — С. Н. Краснов, 3-й отдел (регистрация эмигрантов) — А. М. Греков. Затем был образован отдел спорта — во главе В. В. Кедров, и был назначен юрисконсульт Управления Д. В. Печорин. Кроме того, при начальнике Управления было организовано совещание, председателем которого был назначен ген. Н. Н. Головин. Вся эта справка имеет непосредственное отношение к нашей теме, ибо, — как было сообщено в первом номере «Парижского Вестника» «в качестве отдела в Управление включается редакция газеты «Парижский Вестник», издаваемой Управлением».

Эта газета выходила с 14-го июня 1942 года по 12-е августа 1944 года еженедельно. Всего вышло 112 номеров. Первые 22 номера, до 8 ноября 1942 года, выходили за подписью «ответственного редактора» П. Н. Богдановича (он же — «заместитель начальника»). С 23-го номера по 61-й — до 21 августа 1943 года — наряду с «ответственным редактором» подписывал газету в качестве редактора О. В. Пузино. С номера 64-го (4-9-43) заболевшего Пузино сменил Н. В. Пятницкий, который оставался редактором «Парижского Вестника» до конца. Подпись ответственного редактора П. Н. Богдановича с № 78 (11.12.43) совершенно исчезает. Но кроме имен редакторов существенно, конечно, дать представление о лицах, сотрудничавших в газете. Это нелегко сделать прежде всего потому, что составленный мною список всех лиц, как постоянно, так и случайно писавших в газете, немал: я насчитал их 131. Поэтому будет правильно выделить из этого списка три группы: 1) группу постоянных сотрудников газеты, 2) писателей или людей с именем, эпизодически появлявшихся в газете и 3) группу новых людей, — преимущественно из среды власовцев (РОА — Русской Освободительной Армии), появившихся в газете главным образом в течение последнего года ее существования.

В числе постоянных сотрудников газеты были следующие лица:

П. Н. Краснов, О. Пузино, Ю. Жеребков, Бор. Ивинский, Н. В. Пятницкий, Вл. Абданк-Коссовский, ген. Н. Н. Головин, И. Сургучев, полк. Феличкин, Ив. Шмелев, А. Ренников, Л. Мансырев, полк. П. В. Карташев. Из них Шмелев напечатал ряд рассказов в газете; Сургучев писал фельетоны; Жеребков помещал директивные статьи в качестве «фюрера»; ген. Головин вел преимущественно военные обзоры; Пятницкий писал обширные исследования, посвященные отдельным проблемам жизни и управления в СССР; Абданк-Коссовский обнаружил большую плодовитость в разработке разнообразных сюжетов, то и дело опускаясь до вульгарного жидоедства; Л. Мансырев напечатал ряд очерков о строителях Новой Европы, — Геринге, Геббельсе, Муссолини и др.; полк. Феличкин, быв. полицмейстер царского времени, специализировался главным образом на жидомасонах. К этой основной плеяде постоянных сотрудников надо прибавить репортеров В. Унковского и В. Кононенко, юрисконсульта Управления Печорина, опубликовавшего ряд статей о правовом положении эмиграции и национал-социализме, поэта-сатирика Вл. Горянского, литературного критика Георгия Мейера, рецензентов Ник. Курова и Юса (псевдоним Юс разоблачен недавно Ю. Поплавским, опубликовавшим за полной подписью в одной русской газете в США свою статью, ранее напечатанную им в «Парижском Вестнике» за псевдонимом Юс...).

Ко второй группе только эпизодически и случайно опубликовавших свои статьи, заметки или письма, принадлежат следующие лица: Сергей Лифарь, Александр Бенуа (статьи о Фокине), А. Плещеев, Б. Кадомцев, проф. П. Мигулин, Н. Н. Евреинов, Георгий Евангулов и др. К третьей группе относятся лица, обычно прикрывавшиеся псевдонимами, до того ни в литературе, ни в общественной жизни неизвестные. Эти люди, пришедшие с того берега: либо из оккупированных мест Советской России, либо находившиеся в армии. В этой группе сотрудников следует отметить авторов воспоминаний о советском быте или публицистов, пытавшихся наметить новую тактику в борьбе с большевизмом, как, например, Влад. Иванов, Т. А. Марин, В. Арбенин, Вас. Осокин, Б. Л. Боярский (именующий себя бывшим адъютантом Тухачевского), Дим. Березов, В. Блюменталь-Тамарин, М. Илларионов, Н. Анин (написавший о трагической судьбе сына Н. С. Гумилева), П. Николаев и др. В этой группе, так же, как и в первой, немало специалистов-антисемитов. Среди них особенно выделялся «профессор Ростовского университета» А. В. Гротов, активный участник власовского движения и автор ряда статей, напоминающих погромные листки царского времени.

3.

Большой соблазн представляет задача осветить по «Парижскому Вестнику» некоторые проявления тогдашней жизни русской эмиграции. Приходится поневоле ограничиться вылавливанием отдельных крупиц. Так, существенно подчеркнуть, что Управление по делам русских эмигрантов имело множество других функций, помимо издания газеты. Одной из таких функций была регистрация русских эмигрантов. Началась она в июне 1942 года, срок окончания ее был назначен на 1-ое сентября, а потом перенесен на 1-ое декабря 1942 года. Жеребков грозил, что все, кто не получит удостоверений от него, будут «приравнены к гражданам СССР и будут подлежать административным мерам, применяемым к последним». Одновременно Управление объявило и добровольную запись лиц, готовых ехать в «освобожденные районы России». 7 и 17 мая первые группы русских офицеров покинули Париж. Повидимому, этот отъезд не сопровождался энтузиазмом русской колонии. Во всяком случае Жеребков грозил всякими бичами и скорпионами тем, кто «осмеливается отговаривать кого либо ехать бороться с большевиками или возмущается отъездом русских офицеров»... Для вящей убедительности он добавлял, что «всякое распространение ложных слухов и критика деятельности Управления будет караться»... Из дальнейших сообщений «Парижского Вестника» мы узнаем, что «уехало в Германию из Парижа много русских шоферов». Русские офицеры, вступившие под начальство гитлеровских военных или гестаповских образований, с радостью писали «Парижскому Вестнику»: «У нас особая форма, погоны, черный круг с белым крестом, два чина — капитана и лейтенанта... Получили револьверы и очень горды». Стоит отметить что оккупационными властями были назначены в Литве начальником Управления — А. В. Ставровский, в Латвии «главным представителем русского населения» — Г. А. Алексеев, в Эстонии «поверенным по делам русского населения» — К. Аренбургер. В Белоруссии же, где 21 декабря 1943 года был образован Центральный Совет, председателем Совета был назначен проф. Р. Островский.

Номер первый (14.6.1942) вводит нас естественно в суть того направления, которое собирался выражать «Парижский Вестник». Сам Жеребков, поставленный «фюрером» русской эмиграции, от имени Управления печатает всякие официальные оповещения, сопровождаемые угрозами. Конечно, имеется статейка о Гитлере с портретом. На первом плане напечатано торжественное письмо П. Н. Краснова по поводу того, что «русские офицеры допущены к действенной борьбе с большевизмом». Заявляя себя сторонником национал-социализма, казачий генерал призывает бороться вместе с немцами. «Это

могло бы быть иначе, если бы прозрел и восстал против поработителей-жидов русский народ». И дальше: «Предоставим прихвостням англо-американского капитала болтать глупый вздор о помощи жидовских демократий». Вот, собственно, и все исповедание веры ген. Краснова, вызвавшее против него выступление ген. Деникина. Позднее (в № 82, 15.1.44) в некрологе ген. Головина сообщалось, что в конфликте Деникин-Краснов ген. Головин стал на сторону Краснова, «критикуя слепое и бессмысленное антантофильство ген. Деникина». Что еще было характерного в первом номере газеты? О. Пузино возвещает: «В освобожденных германскими войсками областях зазвонили колокола». Началось «освобождение от иудобольшевистской власти». Д. Михайлов в восторге от того, что с 7-го июня 1942 года во Франции введен отличительный знак для евреев, и пользуется случаем поделиться с читателем таким глубокомысленным замечанием: «если бы (у нас в России) все евреи носили отличительный знак, то всей революции не было бы вовсе». Вот тот идейный и политический багаж, с которым выступил на свет Божий «Парижский Вестник». Не знаю, серьезно ли или со скрытой иронией писал И. Сургучев, публикуя в № 4 свой «Дневник»: «Историческая дата: вышел первый номер «Парижского Вестника».

4.

Центральная политическая идея «Парижского Вестника» — это конечно, ориентация на нацистскую Германию. Старый германофил и фашист П. Н. Краснов в первом номере газеты формулировал эту идею, и ей газета остается верной до конца. В обозе Гитлера эти господа рассчитывают дорваться до власти в России. Пятницкий в № 2 «Парижского Вестника» восклицает: «Разве не счастье, что Германия оказалась» и нацистской, и вооруженной до зубов? Гитлер «приносит в жертву лучших сынов Германии для спасения русского народа» — с умилением пишет Жеребков (№ 6). И тот же Жеребков на встрече представителей ген. Власова 24 июля 1943 года (№ 59) приветствуя гостей, восклицает: «Не будь Германии, не будь ее вождя... русский народ не имел бы надежды на избавление от Сталина и его шайки». Передовая «Парижского Вестника» от 9-го октября 1943 года (№ 69) совершенно точно формулирует политическое кредо газеты: «Мы с национал-социализмом, с фашизмом, с Германией и ее союзниками во имя новой, свободной от большевизма, национальной России, против коммунизма, еврейства, масонства, плутократии, против лживого демо-либерализма и против англо-американских прихвостней жидовского фининтерна». Та же мысль варьируется и позже в передовой № 95 (15.4.44), посвященной

55-летию Гитлера и оценке его исторической роли: «Мы, россияне, не можем не понимать, что в мире существует только одна Германия, как единственная сила, способная победить Красный Кремль, цитадель мирового еврейского интернационала... Мы, русские патриоты-антикоммунисты, видим в вожде Германии и нашего вождя, которому мы готовы отдать во имя счастья нашего отечества всю сущность нашего бытия».

Наряду с этой прогитлеровской пропагандой в «Парижском Вестнике» печатается ряд статей против Англии и Америки. Разумеется, это сопровождается резкими выпадами против демократических направлений русской эмиграции. Вот два типичных примера этого рода полемики. И. Сургучев изрыгает слюну бешенства по адресу левой общественности: «Эта банда с Кусковой, как столпом, — определяла ваш успех, ваше значение, вашу пригодность. Эта многоголовая банда умела галдеть. Эта многорукая банда умела аплодировать. Банда делала погоду» и т. д. (№ 21, 1.11.43). Другой баян русских гитлеристов, полк. П. Карташев, незадолго до того прибывший из США, писал о... «поджигателях войны»: «Не дай Бог сказать, что это евреи. Помилуйте, все наши «передовые» — Милюковы, Коноваловы, Вакары, Осоргины, Бунины и др. затравили бы вас общественным презрением, как мракобеса. Но мы не боимся этих кличек и заявляем, что война нужна была только евреям, войну подожгли только евреи и ведут ее только они» (№ 35, 13.2.43).

Мы уже приводили примеры постоянно сопутствующих выступлениям русских гитлеристов боевых антисемитских выпадов. Порою даже создается впечатление, что единственная вдохновляющая «Парижский Вестник» идея — это погромное жидоедство. На этом поприще особенно подвизаются «специалисты» — такие, как бывший пресловутый полицеймейстер Читы и Риги, затем организатор курсов для подготовки полицейских кадров в «освобожденной» России, полк. Феличкин, — эксперты по жидо-масонству и по изысканиям в Талмуде и «тайном еврейском учении» Борис Ивинский, Абданк-Коссовский, Пятницкий и многие другие. Передовая «Парижского вестника» (№ 99, 13.5.44), подводящая итоги четырем годам войны и полная злопыхательства и сознания близкого поражения, — придает анти-еврейскому элементу пропаганды политический характер. «За это время мировое еврейство своими капиталами вооружило Англию и Америку, дав им мощные средства террора против ни в чем не повинных граждан, женщин и детей». За Рузвельтом, Черчилем, Сталиным «стоит хищная, дегенеративная, кровожадная и алчная харя их хозяина и дирижера — мирового еврейства»... «Для людей нашего понимания», — заканчивает передовик — ясно, что «поваленный в Европе еврейский демократизм не должен быть восста-

новлен. — «ибо демократия в Европе есть торжество хищного еврейства плюс коммунистическое рабство». Еще за полгода до того О. Пузино (№ 23, 14.11.43) возражал на упрек, предъявляемый газете по поводу того, что она все занимается еврейским вопросом. Неужели читатели «не могут усвоить, что главным виновником происходящей драмы является еврей?» — «Сердобольные заступники» приводят разные доводы, но одного они не могут отрицать: «еврейство — не арийской расы». И это все! Ведь в России всем памятно время «Гоц-Либер-Дана», подготовивших приход к власти «полуеврея Ленина и его синагоги».

Любопытно отметить, что с появлением на авансцене власовцев в этом пункте не только ничего не изменилось, но языки развязались еще бойчее. Когда в июне 1943 года в Париже появились официальные представители Власова, они выступили, как откровенные антисемиты. Особенно свирепствовал сопровождавший их и затем объезжавший всю Европу проф. А. В. Гротов (из Ростова), который утверждал, что «иудеи — основа большевизма», что «жиды» управляют Россией, что «русская наука ожидала» и т. д. В списки «презренных иудеев» этот «профессор» зачисляет Красина, Троянского (Трояновского?), Красикова, Шверника и целый ряд лиц, никогда не бывших большевиками. Признавая, что Сталин расстрелял по процессам и без них немало евреев-коммунистов, этот горе-профессор делает компетентное добавление: «У Сталина и Ежова не поднялась рука на таких крупных вождей мирового иуданзма, как Карл Радек, Сокольников и Раковский: Сталин просто не посмел казнить тех иудеев, которые занимают высшие ступени в тайных организациях мирового масонства и Сионских мудрецов». При всех этих благоглупостях, которые Гротов вывез из глубин СССР, где, повидимому, они довольно прочно сохранились, — ему присуще и реалистическое чутье, и в одной из своих статей (№ 57, 17.7.43) он роняет слова, свидетельствующие, что этот власовец знал, что на деле происходит: «Мы накануне исполнения гениального пророчества великого фюрера о том, что война, начатая мировым иудейством, закончится уничтожением иудейства в Европе». Люди из «Парижского Вестника» чувствовали себя вполне солидарными с этим гитлеровским делом и в меру сил подбрасывали хворост в костры новейшей инквизиции.

5.

Появление на политической авансцене ген. Власова, образование Русского Национального Комитета и Русской Освободительной Армии (РОА) произвело огромное впечатление в кругах «Парижского Вестника». Номера 40 и 41 газеты (от 20 и 27 марта 1943 года)

отразили прилив надежд на открытие новых возможностей в борьбе с большевизмом. Все это вполне понятно, потому что политическая позиция ген. Власова и его официальных представителей — в этот во всяком случае период — ничем не отличается от позиции, занятой «Парижским Вестником»: та же ориентация на нацистскую Германию, та же вражда к «ожидовевшей Англии» и к «плутократии Америки», то же отталкивание от идеи демократии и приверженность к авторитарным идеям, — наконец, тот же боевой антисемитизм.

В «Парижском Вестнике» имеется множество цитат из речей самого генерала Власова и его официальных представителей. В № 40 (20.3.43) цитируется обращение ген. Власова такого рода: «Задачи, стоящие перед русским народом, могут быть разрешены в союзе и сотрудничестве с германским народом... Я зову народ к борьбе за завершение национальной революции, на путь сотрудничества и вечной дружбы с великим германским народом». В № 42 (3.4.43) приводится заявление ген. Власова о том, что «нет никаких оснований, чтобы русский народ истекал кровью ради выгод англо-американских капиталистов. Англия — враг номер первый». Из № 50 (29.5.43) мы узнаем, что в Пскове ген. Власов заявил: «Русский народ сумеет создать свободную Россию без большевиков и капиталистов», и что в Берлине 27 мая ген. Власов сделал следующее заявление программного характера: «Будущая Россия будет иметь авторитарное правительство. Парламентаризм и всякого рода демократии, подобные тем, которые существуют в Советском Союзе, суть обман для народа и мы не хотим его возобновлять». В № 51 (5.6.43) передана речь ген. Власова в Риге, в которой генерал заявил: «В новой России все народы смогут жить согласно своим чаяниям. Но евреям там не будет места... Евреи были главными носителями интернационального большевизма, а потому освобождение России от Сталина и большевизма влечет за собой очищение ее и от евреев». В № 54 (26.6.43) приведено заявление ген.-лейт. Малышкина, заместителя Власова, который говорил на конференции командиров и бойцов РОА: «В новой России будет полностью осуществлена национальная свобода каждого народа, входящего в наше государство, — исключение составляет только один еврейский народ, который не имеет никакого права на такую свободу». В июне и июле состоялись в Брюсселе и затем в Париже большие собрания в честь представителей ген. Власова: Малышкина, полк. Боярского, кап. Белова, поручика Лавиденкова и упомянутого выше «профессора» Гротова. Они не только выступали в полном контакте с Жеребковым и Ю. Л. Войцеховским (это «фюрер» для русской эмиграции в Брюсселе), но в некоторых пунктах, особенно в жидоестве, старались перешеголять старых, матерых эмигрантов, издавна опытных по этой части.

Правда, в главной речи в Париже ген. Малышкина прозвучали несколько иные ноты, которые, может быть, и были неприятны для старых монархистов и реставраторов. Малышкин определенно выступил против мечтаний о «реставрации царской, дворянской, помещицкой России». По его мнению, царский режим «оказался несостоятельным, он себя скомпрометировал и возврата к нему быть не может». Более того, он склонен принять и... революцию 1917 года, хотя в этой части позиция остается довольно двусмысленной. Ибо, если быть противником демократических идей, то как сочетать это с приятием февральской революции? (№ 59, 31.7.43). Полк. Боярский в статье в «Парижском Вестнике» тоже говоря о «великой народной революции в 1917 году», тотчас же покрывает свою мысль отборной словесностью об «испоганивших» ее евреях.

Повторяю, может быть, все эти выпады против реставраторов и за «Февраль» раздражали кое-кого из старых эмигрантов (об этом есть показания в газете). Во всяком случае, на Жеребкова, Пятницкого и других руководителей «Парижского Вестника» они никакого впечатления не произвели. Раз Гитлер допустил и одобрил власовское движение, — это уже было определенной директивой для «Парижского Вестника», и газета пустилась во всю, распинаясь за Власова и солидаризируясь с ним полностью. «Эмиграция должна разделить все основные положения, которые приняты Русской Освободительной Армией, — пишет передовик «Парижского Вестника» № 51 (5.6.43), — 1) беспощадная борьба с коммунизмом, 2) борьба с демократизмом, марксизмом, парламентаризмом и пр., 3) борьба с еврейством, 4) борьба с капитализмом, как непременное условие будущего справедливого социального порядка». Отражая споры, видимо происходившие в близкой к нему среде, Ю. Жеребков ведет кампанию в пользу Власова и пишет в № 55 (3.7.43): «Бывший командующий советской армией, ген. Власов, больше подходит для возглавления нового народного движения, чем какой либо эмигрантский политический деятель, имени которого никто больше в России не знает... Мы готовы всячески поддержать ген. Власова». С течением времени сближение «Парижского Вестника» с движением Власова, более того, приспособление газеты к потребностям этого движения, — становилось все более заметным, вызывая среди реставраторов старой марки определенное недовольство «Парижским Вестником». Эта размолвка между монархистами старой марки и русскими гитлеристами получила свое отражение в передовой «Парижского Вестника» № 92 (25.3.44). Гитлеристы Жеребков, Пятницкий и другие, видимо, освободились от многих дворянских, кастовых, монархических предрассудков и усвоили плебейский подход ко многим проблемам, характерный для нацистов. И в указанной передовице они

охотно принимают брошенное им обвинение в том, что «Парижский Вестник» стал — «подголоском РОА», «бесплатным приложением к «Добровольцу», «немецким прихвостнем» и т. д. Но, по их убеждению, для осуществления стоящих на очереди задач нет иных путей, кроме ориентации на Райх и на РОА. Во имя ориентации на власовское движение они согласны идти и на существенные уступки.

6.

Эти уступки получили свое выражение в «Парижском Вестнике», начиная с номеров 76-78 (ноябрь 1943 года). В № 76 сообщается, что число читателей газеты, знающих только новую русскую орфографию, увеличивается, и поэтому «Парижский Вестник» решил на нее перейти. Не следует недооценивать этот «революционный шаг»: это почти признак «политической эволюции», — если под ней понимать ориентацию на новую эмиграцию. С № 78 (11.12.43), с которого, между прочим, исчезает под газетой подпись «ответственного редактора» Богдановича (может быть, он с «реформой» был не согласен?), — и вступила в силу новая орфография, сопровождаемая обоснованием, направленным против старых эмигрантов-реставраторов: «Чтобы никто не мог сказать про эмиграцию: Они даже не способны отказаться от 'ять' и 'твердого знака', как же откажутся бывшие помещики от своих поместий и сословных привилегий?» Словом, эволюция произошла.

Кто читал предшествовавшие ей 12-15 номеров газеты, мог заметить ее признаки и в другом: именно к этому времени в строй активных сотрудников «Парижского Вестника» вступают рядовые власовцы, — не официальные представители движения, но безымянные офицеры РОА, прибывшие из оккупированных областей России в Европу или военнопленные, и в том и в другом случае — бывшие советские люди. Их сотрудничество в газете не кладет на нее еще заметного отпечатка. Главное место продолжает занимать старая гвардия махровых гитлеровцев русского корня. При этом перепечатки из «Фелькишер Беобахтер» и «Же сюи парту» продолжают, как и прежде. Да и эти рядовые власовцы, голос которых звучит со страниц газеты, говорят и пишут в унисон с общим направлением газеты. Так, в том же № 78 Пятницкий передает свою беседу с видным офицером армии Власова, который и за союз с Гитлером, и за истину нацизма, и против Временного Правительства, и против «власти еврейского кагала», то есть преподносит весь обычный ассортимент гитлеровской пропаганды. В том же духе выдержано выступление пяти офицеров РОА в № 84 (28.1.44): «Уничтожить англо-американскую плутократию, сокрушить устои иудо-большевизма — наша задача». (Кстати, термин «иудо-большевизм», как выражение тожде-

ства большевизма и еврейства, пошел гулять с легкой руки самого генерала Власова. См. № 76 — письмо Власова с приложением портрета).

И тем не менее, — объективность требует это подчеркнуть: порою рядовые советские люди, власовцы, активные участники РОА, вносили другие ноты, не только расходящиеся с официальным направлением газеты, но и с высказываниями официального руководства власовского движения. По многим соображениям следует остановиться на этих выступлениях, ибо они-то больше всего и протягивают ниточку к политическим настроениям послевоенной новой эмиграции. Что характерно в них это — элемент раздумья, это — стремление к объективности, стремление самостоятельно мыслить, не по шаблону. Даже в большевизме эти люди хотят разобраться не по указке.

Вас. Арбенин (№№ 91-92, 18 и 25.3.44) в любопытной статье: «По эту сторону фронта» говорит о настроениях определенной группы людей, наиболее последовательно выступающих против большевизма: «Эта группа подсоветских, — пишет он — хорошо зная большевизм, расценивает его объективно и поэтому огульно не оплевывает все советское... Действительно идейный противник большевизма не будет строить свою борьбу только на ругательных фразах. Подобный подход к делу может вызвать только противоположное действие». Заслуживает внимания и такая ироническая фраза, попадающая не в бровь, а в глаз его соседей по газете: «Если человек не бьет себя в грудь и не говорит через два слова на третье, что жидовско-сталинская многоголовая гидра является его смертельным врагом, то он уже вызывает сомнения».

Другой автор Росс (№№ 93-94, 1 и 8.4.44), хотя и делает все необходимые оговорки о доблести и неисчерпаемых силах нацистской Германии, тем не менее находит слова, чтобы объяснить читателю... победы Красной Армии: «Не потому сейчас воюет русский народ, что он поддерживает и любит советскую власть, а потому, что пробуждены национальные силы русского народа, жива вера в устройство жизни своими руками». Владимир Иванов в статье, посвященной «особенностям освободительного движения» (№ 103, 10.6.44), формулирует ряд программных требований власовцев и призывает изучать большевизм: не сенсации, не легенды, не разоблачения, — нужны исследовательская работа, исторический анализ и т. д. В № 104 (17.6.44) Т. А. Марин (РОА) в обширной статье пишет о земельном вопросе в России. Вас. Осокин, печатающийся в ряде номеров (107 и др.) свои «Записки военнопленного» даже задумывается над правдой... антисемитизма: «Разве все, что творится в нашей стране от жидов? — вопрошает он. — Разве это только они являются

главными виновниками октябрьской революции? Уж не много ли чести?»...

Нужно иметь в виду, что все эти голоса в «Парижском Вестнике» стали раздаваться в летние месяцы 1944 года. Надвигалась осень, которая принесла с собой ряд сногшибательных событий: приближалось крушение Третьего Рейха. Для «Парижского Вестника» наступали страшные дни действительного освобождения Франции союзными войсками. В № 103 (10.6.44) «Парижский Вестник» писал, что «узнав о крупных военных событиях во Франции, Жеребков немедленно вернулся (из Берлина) к месту службы». Передовая № 109 (22.7.44) с трепетом и ужасом писала: «Если исходить из предположения, что можно допустить гибель Германии в этой войне... то у всякого разумного и лояльного человека волосы должны встать дыбом на голове». Не прошло и трех недель, как вышел последний номер «Парижского Вестника» (12.8.44). На этом закончилось его «мирное житие». Жеребков бежал, разбежались, вероятно, и другие сотрудники газеты. Последняя страница истории прогитлеровского органа на русском языке в Париже была оборвана.

Григорий Аронсон.

БИБЛИОГРАФИЯ

ИВАН ТХОРЖЕВСКИЙ : Русская литература. Два тома. Том I : До Толстого и Достоевского. Том II : До наших дней. Изд. «Возрождение». Париж, 1946. 639 стр.

Как это ни странно, на русском языке до сих пор нет сколько-нибудь удовлетворительного сжатого общего обзора русской литературы. Старые истории — Скабичевского, Соловьева-Андреевича и т. д. — и однобоки, и безнадежно устарели. В Советской России вышло несколько дельных и обстоятельных обзоров по отдельным периодам (Гудзия по древней литературе, Гуковского и Благого по литературе 18-го века), но в них, к сожалению, вторгается в той или иной мере неизбежный «марксистский» подход. Незадолго до войны в Советском Союзе был предпринят капитальный многотомный труд по истории всей русской литературы, которого появилось пока несколько томов. Но лучшим сжатым общим обзором остается, хотя и написанная русским, но по-английски — двухтомная книга кн. Д. П. Святополка-Мирского (1926-1927 годов).

Новая книга И. И. Тхоржевского этого пробела не заполняет. Автор — не историк литературы, а любитель, и книга его не является «историей» в настоящем смысле слова. Для этого она слишком субъективна и импрессионистична и слишком много в ней и спорных, и просто неверных суждений, и фактических ошибок и неточностей. Автор — сам поэт и переводчик, чувствующий и понимающий литературу, часто по-новому подходящий к старым явлениям и умеющий давать заостренные и меткие характеристики. Нельзя отказать его подходу и в руководящей идее, которая спасает его очерк от превращения в набор разрозненных импрессионистических картинок. Такой *idée maitresse* Тхоржевского является мысль, что вся русская литература, особенно же после Пушкина, представляет собой борьбу — и вместе с тем сложное сочетание и переплет — начала почвенного и бунтарского. Переплет этих двух начал виден и в русской истории и в русском характере. Они ярко воплотились в фигуре Петра Великого, которого Тхоржевский называет «самым беспокойным из наших 'бунтарей', но и крепчайшим из русских 'почвенников'» (мысль о почвенности и неискоренимой «русскости» Петра Великого в свое время высказал

Вяземский в своей стихотворной полемике со славянофилами). Сочувствие самого Тхоржевского на стороне почвенного начала, и в конечном счете он видит в русской литературе, даже по-революционной, советской, победу этого начала — ибо существование подлинной литературы в отрыве от почвы представляется ему немислимым. Правда, он не отрицает и стимулирующего и осояющего значения начала бунтарского, наличие которого видит у некоторых из крупнейших русских писателей. Но рассмотрение всей русской литературы под углом зрения столкновения и сочетания этих двух начал ведет к некоторому упрощению и стилизации, а также к пренебрежению вопросами формы, что является главнейшим общим недостатком книги.

Но, и помимо этого основного недостатка, книга изобилует сомнительными и неверными суждениями, обесценивающими ее, особенно для неподготовленного и неискушенного читателя. Неверно, что стихи Радищева «еще слабее его прозы». Более, чем сомнительно, утверждение, что Жуковский «не создал самостоятельных художественных ценностей». Странно звучит характеристика гоголевской «Шинели», как «сентиментальной петербургской повести» и «одной из самых непосредственных вещей Гоголя» (подчеркнуто мной — Г. С.). Еще более странно определение «Ревизора», как «самой притязательной» вещи Гоголя, и снисходительное признание в нем «искр творческой гениальности», которые «блещут сквозь неправдоподобие». Вообще глава о Гоголе страдает противоречивостью и непоследовательностью. Тхоржевский как будто принимает новейший взгляд на Гоголя, установившийся после работ Розанова, Мережковского, Брюсова и др., а вместе с тем заканчивает свое рассмотрение «Мертвых душ» утверждением, что от них «осталось широкое полотно русского реалистического романа». Неверно также, что над гоголевской перепиской «склонялись, с напряженным вниманием, всего двое русских: Толстой и Достоевский» — как насчет Розанова, Волинского, Мережковского и др.? Явно недооценивает Тхоржевский Тургенева: перефразируя знаменитую фразу Пушкина о Державине, он говорит, что кумир Тургенева «на 3/4 фарфоровый», что, за исключением «Дворянского гнезда» и нескольких повестей, Тургенев безнадежно устарел. Лермонтовский Печорин для Тхоржевского — «фигура романтизма довольно дешевого». Едва ли верно, что Полонский оказал большее влияние на русскую поэзию, чем Фет. Взгляды Константина Леонтьева изложены сбивчиво и неудовлетворительно, и уж никакого представления о замечательном этюде Леонтьева о Толстом не дает такая его характеристика: «Еще выше 'турецкой' беллетристики Леонтьева... критические заметки о Льве Толстом: о нравственной 'атмосфере', окружающей Толстовских героев». Можно подумать, что Тхоржев-

ский просто не читал этого этюда, хотя и называет его «самым интересным» у Леонтьева. Непростительно в главе о Короленко, которого Тхоржевский тоже недооценивает, отсутствие всякого упоминания о «Записках моего современника», тем более, что Тхоржевский строит рассуждение на том, что Короленко «выдохся» после «Слепого музыканта».

Неверных суждений еще больше в очерках литературы 20-го века. Очень низкая оценка Брюсова есть, конечно, вопрос вкуса, но все-таки у Брюсова гораздо больше заслуг перед русской литературой, чем то готов признать Тхоржевский. Зато к Вячеславу Иванову и Зинаиде Гиппиус он уже прямо несправедлив. Назвать прозу Андрея Белого «только истеричной» — опять таки дело вкуса, но сказать, что Белый был влиятелен «только в своем тесном литературном кружке», значит не понимать некоторых существенных линий развития русской прозы после революции, а также не отдавать себе отчета в том, что Белый предвосхитил некоторые направления обще-европейской литературы, оказавшиеся весьма влиятельными (кстати, Тхоржевский дает странное и совершенно неверное определение экспрессионизма). Неверно, что Ходасевич предвзято отвергал «все новое», как неверно и то, что «никто и никогда не мог привести, в подтверждение похвалам, ни одного цельного, прекрасного стихотворения Ходасевича» (я берусь привести Тхоржевскому ряд таких стихотворений). Но уже просто безвкусно говорить, что «Так, учителем танцев Ходасевич и остался», как равно безвкусна и фраза о Вячеславе Иванове: «'Танталом' трагически называл он сам себя. Шутливым и более верным символом был бы иной: — в лавровом венце, безрогая корова». Таких хлестких безвкусок немало у Тхоржевского, и они очень портят его книгу.

Тхоржевский, должно быть, просто не читал последних книг Гумилева, и в частности «Огненного столпа», а то бы он не говорил, что «непосредственной поэтической 'благодати' нет в отточенных до совершенства, до 'акмеизма', сборниках Гумилева», и не приводил бы строк из «Колчана» (1915 г.) со ссылкой на «Огненный столп» (1921 г.). А такое замечательное стихотворение Гумилева, как «Заблудившийся трамвай» даже не упомянуто! Неправильных цитат, явно по памяти, в книге Тхоржевского несколько (на стр. 209 из Тютчева, на стр. 479 из Блока, на стр. 499 из Ахматовой; последняя особенно раздражает, ибо напоминает тургеневские попытки пригласить и причесать стихи Тютчева!) Совершенно неправильное представление дает Тхоржевский об Осипе Мандельштаме. Вообще из поэтов 20-го века он по настоящему признает только Бальмонта (из которого, однако, цитирует далеко не лучшее), Блока и Ахматову.

Очень много спорных суждений в главах о советской литературе (о Федине, о Замятине, о прозе Тихонова, о Пастернаке). Во всей

траговке советской литературы много наивного увлечения, характерного для первого после-военного времени, когда писалась книга. И кончается книга на ноте бодрого и наивного оптимизма, который и тогда едва ли был оправдан: «Самая тягостная полоса русской жизни окончилась. Победившая Россия сложила себе новый гимн, вместо интернационала. Она может позволить себе впредь роскошь и большей личной свободы, большей общей культурности. Можно не все уже приносить в жертву технической и политической силе государства...» В этих словах, конечно, желание и надежда, но в них, как видно из других мест книги, посвященных советской литературе, и утверждение сдвига, сдвига не только в народной психологии, но и в политике власти. И. И. Тхоржевский принадлежит к тем людям умеренно-правого, я бы даже сказал либерального, направления, которые уверовали, что на путях войны с Германией Советский Союз твердо стал на национальный путь. Сейчас он едва ли бы написал вышесказанные слова. Совсем уже наивно звучат следующие восторженные слова Тхоржевского об эволюции Ильи Эренбурга: «И этот-то Эренбург, международное 'перекати-поле', газетный одуванчик, — стал неузнаваем! Война с Германией, — вторая отечественная война для России, — переделала и его... Илья Эренбург вторит Достоевскому и Аполлону Григорьеву...» Кому только еще за свою жизнь не вторил Эренбург и кому еще не будет вторить?

Настоящих пробелов в книге Тхоржевского нет — в отсутствии полноты ей отказать нельзя: даже многие второстепенные писатели переоценены заново (интересно, например, то, что он говорит о Мее). Пожалуй, наиболее серьезный пробел — полное умолчание об идейно-политических течениях начала 20-го века. Ни словом не упомянуты «Вехи» (а между тем Победоносцеву посвящена целая маленькая глава). Благодаря этому, символизм оказался не двинутым в рамки общего идейно-культурного сдвига. Из индивидуальных авторов этого периода незаслуженно забыт Гершензон. Из-за этого опять таки чрезмерно выпячиваются советские авторы литературно-исторических биографий, как какие-то новаторы.

В книге много фактических ошибок и неточностей. Ограничусь упоминанием некоторых, наиболее существенных. «Слово о полку Игореве» было найдено не в 1791, а в 1795 году. Совсем неверно, что в «Истории о Василии Корнотском» — «основной дух до-петровский, ленивый»: и по языку, и по теме, и по духу это характернейшее для петровского времени произведение! Говорить, что «Карамзин писал короткими фразами», можно, только не перечитав Карамзина: длинные, закругленные периоды — одна из характернейших особенностей его стиля и в «Письмах русского путешественника», и в «Истории Государства Российского». Первое свидание Пушкина с Николаем I не

могло произойти в Зимнем дворце, ибо имело место в Москве. Мы не имеем никаких доказательств знакомства Лермонтова с Пушкиным, факт коего Тхоржевский безоговорочно утверждает. Аполлон Григорьев рос не в деревне, а в Москве, о чем сам рассказал в своих воспоминаниях. Чернышевский не был марксистом. Ни одна из «Симфоний» Белого не была «сборником стихов». «Пушторг» и «Улялаевщина» Сельвинского тоже не сборники стихов, а длинные повествовательные поэмы. Ольга Форш (печатавшаяся до революции под псевдонимом А. Т.—рек) вовсе не принадлежала к «старшему поколению символистов». Таких примеров небрежности автора можно было бы привести еще много.

Я остановился главным образом на недостатках книги. Это не значит, что в ней нет достоинств. Автор любит русскую литературу и часто подходит к ней по новому свежо и остро. У него много отдельных интересных для литературоведа наблюдений (интересны, например, мысли о связи политических стихов Тютчева с его поэзией вообще, интересно сопоставление Обломова с крыловским «Лентяем»). Книга написана хорошо, живым языком — одаренность самого автора в ней очень чувствуется, хотя слишком часто в погоне за ударными, меткими формулами он впадает в дешевую хлесткость.

Глеб Струве.

JOSEPH B. SCHECHTMAN. *European Population Transfers 1939—1945*. New York. Oxford University Press. 1946. 532 pages. \$5.00.

У этой книги много недостатков, и за всем тем это поучительная и полезная книга. Она дает сводку материала, иногда разбросанного по малодоступным изданиям, — в частности, по иностранным газетам 1939-1945 годов. Несмотря на близость к нам описываемых событий, время, протекшее между составлением книги и ее опубликованием, придало ей по преимуществу исторический характер. Трагедия трансфера мирного населения, сопровождающая заключение войны, затмевает и количественно, и качественно трагедию трансфера предшествующих лет. Достаточно одной цифры: по признанию, сделанному Вышинским на парижской конференции, за полтора года в одну Польшу перемещено было из СССР свыше миллиона людей и в обратном направлении — сотни тысяч украинцев, белоруссов и др. Приходится, поэтому, быть признательным и автору и издательству за появление работы кропотливой и малоблагодарной, — в значительной мере устаревшей еще до своего появления в свет.

Три четверти книги посвящены трансферу немецких меньшинств, возведенному Гитлером в речи к рейхстагу 20-го февраля 1938 года и методически осуществленному во время овладения центральной, восточной и южной Европой. В некоторых случаях тех же немцев перемещали дважды в противоположных направлениях: из Литвы и обратно — в Литву. Специальные главы посвящены технике переселения и ее экономике, подготовке мест поселения, финансированию и культурно-политическому «освоению», или германизации перемещенных.

Часть книги говорит о трансфере и репатриации и не-немецких меньшинств: финнов, шведов (в Эстонии), болгар, румын, мадьяр, кроатов. Фактическому материалу, часто очень ценному, автор предпослал главу о проблеме меньшинств в Европе в промежутке между мировыми войнами. Заключительная глава посвящена трансферу в прошлом и в возможном будущем. Не скроем, что, на наш взгляд, это наиболее слабые части книги.

Автор не делает из трансфера «фетиша»; не видит в трансфере «универсального метода решения всех меньшинственных проблем». Нет, по мнению И. Б. Шехтмана, в одних случаях будет достаточно справедливого обращения с этническим меньшинством со стороны государства при наличии международного билля о правах. В других — лучшим методом будут двусторонние договоры между заинтересованными сторонами, которые обеспечат соответственным меньшинствам их права. В третьих — могла бы действовать усовершенствованная процедура международного надзора согласно формуле Лиги Наций. И советская политика в отношении к национальным меньшинствам представляется автору тоже удовлетворительным решением. Все эти способы автор допускает и даже предпочитает их трансферу, который является «не идеальным решением, а необходимым злом», все же одобряемым и рекомендуемым И. Шехтманом.

Известно, что желание быть свободным от предубеждений иногда приводит к добровольному отказу от убеждений — стремление ассимилировать многое и разное, «объять необъятное», приводит к синкретическому сочетанию противоположного. Автор правильно отмечает, что «авторитетные юристы и исследователи проблем меньшинств согласны в том, что безусловно насильственное перемещение совершенно несовместимо с демократическими представлениями о правах человека. Есть что-то глубоко возмущающее в идее, что людские существа могут быть без всякого разбора перемещены или обменены подобно вещам или скоту без возможности протеста или жалобы. Среди подлежащих эвакуации наверняка находятся такие, для которых оставление отечества и поселение в другой стране является невыносимой трагедией» (474).

Несмотря, однако, на эти прочувственные слова, «необходимость» заставила автора все же принять и оправдать описанную им трагедию. Искусство, с которым наци осуществляли свои трансферы, повидимому, поразило воображение автора, и увлекло и его, врага наци, на путь признания «необходимого». *Not kennt kein Gebot* — служило оправданием Германии, когда она начала первую мировую войну. Та же ссылка на необходимость может служить оправданием любого преступления.

Автор не претендует на оригинальность своих взглядов и добросовестно приводит все, что мог найти в защиту своей установки, цитируя всех авторитетов, — которые так или иначе подтверждают его точку зрения: от Монтандона и Зангвиля до бывшего президента Хувера и от генералиссимуса Сталина до префекта Трансильвании и президента Бенеша.

К сожалению, автор не избежал предвзятости в отношении к противникам трансфера: он не только не привел полностью их аргументов, но многих из безусловных авторитетов даже не назвал по имени. Достаточно сказать, что он не удосужился упомянуть о резко отрицательном отношении к трансферу одного из основоположников нового международного права, Вудро Вильсона. Вы напрасно стали бы искать в книге Шехтмана извлечений из исторической речи Вильсона 11 февраля 1918 года.

Вопреки тому, что упорно утверждали, национальная проблема не была разрешена в 19 веке. И после первой мировой войны многонациональные государства не исчезли, несмотря на перекройку карты мира. Не исчезнут они и после второй мировой войны, невзирая на все трансферы. И в таком случае проблема международной охраны меньшинств останется.

К защите индивидуальных прав человека и гражданина права меньшинственных групп не свести, — разве только пройти мимо ассимиляции меньшинств большинствами, которая всегда будет в той или иной мере насильственной, даже если ее будут выдавать за «добровольную» и «естественную». Когда на, так называемой, мирной конференции в Париже американский делегат ген. Бидел Смит говорил, что «для гражданина Соединенных Штатов трудно понять желание продлить существование расовых меньшинств вместо того, чтобы их поглотить», — он, может быть, и правильно передавал психологию характерную для американцев, но и то далеко не для всех. Но опросите миллионы принадлежащих к меньшинствам расы, исповедания, языка, национальности в южной и восточной Европе, и не только там, и вы получите совершенно иной ответ — и более человеческий, на наш взгляд.

Как бы технически ни удавались отдельные трансферы населения,

аморальные по существу, они способны лишь загнать вглубь чувства возмущения и протеста против нарушения элементарнейших прав человека и национальности. В этом смысле почти всякий трансфер служит не разрешению национальных проблем, а их осложнению и тем самым углублению вражды и возможности возникновения международных столкновений. По закону «аппетит приходит с едой» — или, пользуясь выражением атомной эпохи: по закону «реакции по цепи», — морально-политическая санкция одного перемещения влечет за собой оправдание и последующих, ему подобных.

Если нужна иллюстрация к этому «закону», ее представляет практика нынешней Чехо-Словакии. Во время войны ее министр иностранных дел, сын прославленного Томаса Масарика, в письменной форме удостоверил, что разработанные чешским правительством в изгнании «очень неотчетливые планы относительно обмена населения наверняка не включают евреев». Когда же чехи практически приступили к перемещению немцев и мадьяр, они поставили и перед еврейским меньшинством альтернативу: либо переместиться в Палестину, либо перестать быть меньшинством и полностью ассимилироваться с господствующим большинством.

М. Вишняк.

Soviet Russia Since the War. By the Very Reverend Dr. Hewlett Johnson, Dean of Canterbury. Boni & Gaer, New York, 1947, pp. 270.

«Когда я думаю о Советском Союзе, я представляю себе нечто великолепное, возвышающее душу и высоко плодотворное, и вижу в нем не врага религии, а, напротив того, союзника всего лучшего, что есть в религии». Такими словами д-р Джонсон, настоятель кентерберийского собора, заканчивает свою новую книгу о России. Высокое положение автора в англиканской церкви открывает ему доступ к широкой публике; одна из его предыдущих книг разошлась в двух миллионах экземпляров. Стоит, поэтому, присмотреться к данным, положенным в основу выдаваемого им СССР блестящего аттестата.

Автор недавно провел в России три месяца, с мая по июль, но которого года? Заглавие книги наводит читателя на мысль, что это было в минувшем 1947 году. Автор тщательно обходит вопрос, но, не по недосмотру-ли, приводит данные, неопровержимо доказывающие, что это было в 1945 году, т. е. до окончания войны. Данные эти таковы. В беседе со Сталины автор говорит в будущем времени о тех английских выборах, которые дали большинство

трудоустройственной партии. Описывая избрание католика армянской церкви, он подчеркивает, что на выборах присутствовал. Оба же упоминаемые события произошли летом 1945 года!

По существу, книга связывает в одно целое разнородный материал: записи о беседах с советскими людьми, высокопоставленными или рядовыми, но без лести преданными Сталину; путевые заметки о поездках в экзотические части СССР, а именно в Грузию, Армению и Узбекистан, и обзоры некоторых социальных и культурных мероприятий советского правительства. Беседы производят впечатление правдивости: Сталин, патриарх Алексий и другие говорят то самое, чего от них можно ожидать. Путевые заметки красочны. Обзоры неровны: некоторые, в особенности обзор хозяйственной системы, из рук вон плохи, другие, например, общественной медицины, живы и реалистичны в том смысле, что в них делается необходимое различие между плановыми заданиями и действительностью.

Тем не менее, в целом книга представляет великолепный образец той литературы, которая задается определенной целью — представить западному человеку СССР в качестве общества своеобразного, но высоко прогрессивного и во многих отношениях заслуживающего подражания. Достигается это проекцией деталей на поверхность, искаженную во многих направлениях.

Первое искажение: термины «русский» и «коммунистический» отождествляются. В книге довольно правильно изображается то, что в СССР официально почитается свободой, но вся концепция приписывается русскому народу. Утверждается также, что русские так же преданы доктрине марксизма-ленинизма-сталинизма, как западные люди — современной науке.

Второе искажение: по всем спорным вопросам безоговорочно принимается и подается читателю официальная версия. Джонсон безапелляционно утверждает, что советская экономическая система вывела народы России из нищеты и дала им приличные условия существования, что советская промышленность в сущности принадлежит рабочим, которые этим гордятся и потому работают не покладая рук, что советский народ принимает решающее участие в планировании, что этот народ располагает свободой печати, собраний и союзов, свободно избирает своих представителей и потому действительно живет в условиях демократии, даже что американская печать принадлежит многократным миллионерам и отражает только их взгляды.

Третье искажение: все бросающиеся в глаза недостатки и недочеты ставятся на счет германскому нашествию; не будь его, в советской России подлинно была бы тишь, да гладь, да Божья благодать.

Четвертое искажение: те же недостатки прикрываются умелым сплетением рассказов о них с предвосхищениями блестящего буду-

шего. Городское население очень скучено — но исполнится план, и всем будет довольно места. Транспорт хромает, — но вот будут построены каналы, соединяющие «пять морей», и тогда все будет отлично.

Пятое искажение: многие неприглядные стороны советской жизни подаются читателю так, что черное начинает казаться белым. В советской России нет цензуры, восклицает автор. Верно, но потому, что монополия орудий печати, установленная в пользу партии, делает подлинную цензуру ненужной. Женщин не принудили, а уговорили массами пойти на работу в промышленности. Что не принудили, в общем верно; но автор не упоминает о том, что женщины были побуждены пойти в промышленность низкими ставками заработной платы, делавшими существование семьи на заработка одного члена невыносимым. Автор даже умудряется подчеркнуть, что колхозники ничего не платят государству за земли, которые оно им предоставляет, но не упоминает о том, что земли эти были принудительно отняты у колхозников государством, в прямое нарушение обещания, данного в аграрном кодексе 1922 г. Автор подчеркивает, что советское кооперативное движение — самое мощное в мире. Это было бы так, если бы советские кооперативы можно было считать подлинными кооперативами, т. е. организациями, основанными на свободной самодеятельности членов, чего, конечно, нет.

Седьмое искажение: в сравнениях с прошлым, достижения этого последнего приписываются советской власти. Автор расхваливает последнюю за социальное страхование — которое, однако, было введено в России в 1912 году. Автор отмечает, в числе прогрессивных мероприятий советского правительства, введение подоходного налога, который, как известно, был введен еще в 1916 году. По финансовой части автор вообще попадает впросак; он утверждает, что советский бюджет основан на прямом обложении, тогда как его основой является налог на оборот, типично косвенный.

Помимо этого семимерного искажения, книга изобилует прямыми ошибками о прошлом и настоящем России. Автор уверен, что в царской России женщины не имели никаких прав, в частности, что их можно было против их воли постричь в монахини; что Сталин был наказан шпицрутенами, отмененными за 16 лет до его рождения; что злостной клеветой является утверждение о массовой смертности в годы повальной коллективизации — он, очевидно, не читал блестящей книги Лоримера. Он рассказывает о том, как, тотчас же после разрешения выбрать патриарха, таковым был выбран Алексей! Он клянется, что в советской России нет никакой инфляции — его опровергло советское правительство, проводя реформу 14-го декабря 1947 года. Он отрицает всякие посягательства этого правительства на проливы — очевидно, он не читает повседневной печати. Русские имена система-

тически искажаются. Три раза упоминается Суворов, и все три раза он фигурирует, как Суворов.

Одна из ошибок автора очень знаменательна. Говоря об озере Севанга в Армении, Джонсон утверждает, что оно — самое высокое из больших озер мира. На самом деле, озеро Титикаха в южной Америке расположено в два раза выше и в четыре раза превосходит своего армянского собрата по площади. Пустяки, скажет, быть может, читатель. Суть, однако, вот в чем. Свое славословие в честь армянского озера автор понятно позаимствовал у какого-либо советского авторитета, связанного социальным заказом наших дней, т. е. обязательством утверждать, что, во всех табелях о рангах, Советский Союз стоит на первом месте. Повторив явно вздорное сообщение, от кого то услышанное, автор выдал своему труду аттестат неоновательности. Он, конечно, ничего не прибавляет к тому, что мы знаем о советской России.

Н. С. Тимашев.

ПОПРАВКИ :

В 17-ой книге «Нового Журнала», в главах из книги Б. К. Зайцева «Жуковский», следует читать: на стр. 5-ой, 1-ая строка сверху, — «Ока» вместо «Она»; на стр. 9-ой, 15-ая строка сверху, — «Варя» вместо «Вера»; на стр. 25-ой, 3-ья строка сверху, — «1800» вместо «1880». В статье В. И. Коварской, на стр. 230-ой, после 8-ой строки сверху пропущены следующие слова: «... являются так называемые тотемные шесты. Их еще много...».

ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

Указатель содержания первых 17 книг “НОВОГО ЖУРНАЛА”

(1942—1947)

Цена: \$ 0.25

Выписать можно из конторы журнала:

NEW REVUE, 112 West 72nd Street New York 23, N. Y.

ENdicott 2-4800

ENdicott 2-9893

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Периодическое литературно-политическое издание

•

Цена одной книги 2 доллара 75 центов.

Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

•

Адрес редакции и конторы:

Mrs. M. E. ZETLIN, 112 West 72nd Street,
New York 23, N. Y.

Telephone: ENdicott 2-9893
ENdicott 2-4800

Там же принимается подписка
